НЁМАН

1/2010
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. А. Губарь*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 13.01.10 г. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,37. Тираж 3799. Заказ 123.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

В начале пути

Повесть «Предыстория» была написана Владимиром Короткевичем, скорее всего, в конце 40-х или в начале 50-х годов, когда он был студентом русского отделения филологического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, когда искал себя как художник, писал на русском и белорусском языках.

Повесть состоит из трех достаточно самостоятельных в сюжетном отношении частей. Это произведение — одно из первых крупных творений Владимира Короткевича, и является как бы праматериком будущего творчества классика отечественной литературы. В нем затронуты многие идеи, темы, мотивы, сюжеты и образы, которые позже писатель активно развивал в последующих произведениях.

В центре авторского повествования студент, а затем магистр Свайнвессенского университета Ян Вар, автор исследования «Вопрос о культуре, насаждавшейся насильственным путем». Характер героя, «яркого романтика в жизни», раскрывается в его размышлениях о судьбе своего народа, в отношениях с возлюбленной, аристократкой Нисой, в отношениях с другими людьми. Он достойно ведет себя на дуэли с гвардейским офицером Рингенау, решительно защищает крестьян от издевательств управляющего имением, спасает Яна Косу, одного из руководителей народного восстания. Повесть затрагивает важные моменты национально-культурных и социально-политических отношений в обществе с колониальным правлением и возрожденческими стремлениями народа.

В заключительной части описывается казнь участников восстания 1863 года. Здесь писатель использует семейное предание о Томаше Гриневиче, предке со стороны своей матери, которого, как одного из руководителей восстания 1863 года, расстреляли в Рогачеве.

В повести «Предыстория» раскрылись многие характерные черты творчества писателя. Это и патриотический пафос, и историческая проблематика, и романтическая поэтика, и масштабность мышления писателя, его стремление осмыслить универсальные проблемы бытия, отношений между людьми и народами.

Публикуется повесть по рукописи, хранящейся в домашнем архиве Владимира Короткевича.

Анатоль Верабей

ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

*Предыстория**

Повесть

Это было много столетий назад в неведомой далекой стране, в которой жили мудрые, честные и трудолюбивые люди с сильными руками, ловкими и могучими телами и светлыми головами. Эти люди жили на неудобной земле, кое-где плоской, как блин, и заболоченной, покрытой в сухих местах вековыми деревьями, густым и дремучим бором, кое-где гористой и скалистой, везде неудобной для житья. Откуда они пришли — неизвестно. Самые старые деды слышали в детстве от таких же старых дедов о сильном и жестоком племени людей, закованных в железо, говоривших на чужом языке, которые напали на этот народ, начали грабить и жечь его села, уничтожать людей и от которого это племя, питая ненависть к кровопролитию и убийству ушло в эту страну, благо было куда уходить, благо была просторна земля, благо везде на ней одинаково светило солнце и одинаково тянули свои лепестки к небу цветы. И вот они пришли в эту страну, поднялись на горы и увидев бескрайние леса, решили остаться здесь, зная, что лучшая защита труда человека — в природе страны. Край был велик и просторен, но совершенно нелюдим и страшен в своей медвежьей глуши. Огромные просторы болот дышали на людей вековой своей сыростью, своими густыми туманами, своей безжалостной мошкарой; вековые леса со стволами, которые не могли обхватить руками десятеро взрослых юношей, не поддавались топору, сопротивлялись людям, пели над их головами ночью грозную и воинственную песню бури; твердые скалы, на которых тщетно пытались найти люди малейший признак земли для того, чтобы посадить злак, были лишены дорог, лишены влаги, лишены зелени, лишены жизни. Впору было опустить руки, впору было сдаться натиску природы и идти искать себе пристанища в другом месте или влачить жалкое существование, постоянно опасаясь грозной и жестокой природы. Но эти люди любили жить и умели трудиться, трудиться для жизни, для счастья своих светлоголовых детей, для будущего их, светлого и яркого, как отблески солнца на скалах этих гор. И хотя и велик и безмерен был их труд, но они взялись за него. День и ночь мужчины ровняли скалы, день и ночь носили женщины в долины этих скал болотный мокрый ил, день и ночь люди отводили воду болот в реки и ручьи, бегущие к далекому-далекому морю, по берегам которого они когда-то шли, день и ночь эти люди рубили вековые деревья, на которые страшно было даже взглянуть, а не то что рубить, и то, что не мог сделать топор, делал брат человека — огонь. Много лет трудились они — эти люди. Их засасывала трясина безбрежных болот, поля их покрывали обломками камня горные обвалы, деревья от бури и порывов дикого ветра падали на их жилища, дикие звери выходили из чащи лесов и уносили в свое логово детей и женщин. Страшной была эта борьба, но люди жили и побеждали, и ничто

* Публикуется в авторской редакции.

не могло остановить их на их пути. Против них было всё, и они боролись со всем и побеждали всё. Годы проходили в едком дыму от горящих пней, в непрерывном стуке топоров, в резких звуках от каменного обвала, катящегося вниз. Самые глубокие трясины они забрасывали обломками скал доверху, а сверху оставался болотный ил и перегнившие кочки и корни болотных трав и толстый слой торфа. Горелый лес покрыл пеплом большие пространства, и почва стала пригодной. Долины были заполнены илом и стали хороши для разведения садов, таких больших, каких не имел никто. В этой постоянной борьбе закалялись и крепли тела и души этого народа, люди привыкли своим великим трудом украшать жизнь И дети их были крепки и сильны, умели и любили трудиться. Праздная леность была неведома им, и они трудились как пчелы. Одному нельзя было побороть бескрайние леса, скалы и болота, и люди росли в сознании, что жить можно только вместе, что человек отдельно от других — ничто, а вместе с ними — всё, что нужно быть кулаком собранных воедино пальцев. Народ был дружен как никто и с честью выходил из всех испытаний, которые ставила перед ним природа. В ночь, одну ночь, бурную и темную, вода прорвала шлюзы плотин на реках и хлынула на равнину. Казалось, что через несколько часов вся страна превратится в одно бушующее море, но народ за эти несколько часов исправил все плотины и вырыл выход для будущей воды в Большую реку. Много раз лесной пожар окружал посевы и хижины их безжалостным горящим кольцом, но народ выходил с топорами и широкими просеками преграждал ему путь, весь народ, могущий сделать то, чего не мог ни один. И их труд вознаградил их: широкими и просторными сделались поля, буйно шумела и красовалась на почве, удобренной торфом и золой, не страдающей от засухи из-за почвенных вод, золотая пшеница и литая, словно из меди, рожь. Хижины, чистые и удобные, рубленые из золотой сосны с янтарными каплями смолы в углублениях, могли надежно противостоять ветру и непогодам, были обузданы разливы рек, и почва стала так высока, что уже не боялась их, были сглажены скалы, и в расселинах их, защищенных от холодных ветров, каждую весну белой кипенью вдохновенно цвели сады, алые маки и розы поднялись вокруг хижин и буйно обвил их стены сочный зеленый плющ. Сытая и гладкая скотина бродила по изумрудным заливным лугам по пояс в сочной траве, роняя белоснежные капли густого молока. Край был сказочно богат, несметно зверя водилось в густых лесах, не сведенных еще и наполовину. Словно жужжание пчел на их пасеках, раздавались песни их детей, краснощеких, ловких и сильных, радостных и веселых. По вечерам на улицах плясали молодые парни и девчата, радостные и веселые, пели и хохотали так, как только могут хохотать люди, знающие, что такое труд до сладостной боли в мускулах.

Люди умели жить, смеялись восходу солнца, любили светлое небо их страны, любили эту землю, которую они своими руками превратили в цветущий сад, любили свои густые леса с их девственной мощью, свои светлые поля, свои луга, покрытые разливом цветов без конца и края, любили своих детей, своих жен и невест, любили лес и сады, дремлющие в птичьих трелях, — любили вечное дыхание жизни, свет ее и ее любовь. Ими руководили люди, которые сами трудились лучше всех, лучше всех веселились, лучше всех понимали все многообразие их труда, люди с золотыми руками и золотыми головами. Эти люди распоряжались и управляли работами и должны были быть вождями на войне — ибо самые старые люди слы-

шали от других стариков, что на свете есть война, и в доказательство этого показывали орудия, не похожие на орудия труда, орудия, которыми неудобно было срубать деревья и нельзя было вскапывать землю. Старики знали, что если узнают об их жизни, об их счастье, об их великой радости жизни, те, другие, «одетые в железо» враги, — все рухнет, и они говорили об этом молодежи.

Девушки и юноши широко раскрытыми глазами с отвращением смотрели на эти плоские длинные ножи, могущие врезаться в тела людей, в святое тело человека, источать из него кровь, которая так бурлит в пору любви, которая предупреждает их о том, что они уже могут рождать детей, своих детей, которые затем будут неловко топать за ними по дорожке огорода между гряд и маленькими пальчиками выдергивать рассаду, которую только что посадила мать, которые вырастут, будут трудиться, которые потом (смешно даже подумать) приведут в дом чужую женщину, чтобы во внуках повторить дедов и прадедов и их самих. Эти ножи могут врезаться в тело возлюбленного, могут исковеркать его, лишить силы, лишить способности с улыбкой встречать солнце — нет, это слишком жестоко, этого не может допустить человек, если он не сумасшедший. И они, стремясь забыться, отходили от стариков и весело плясали в тени векового дуба свои веселые, беззаботные танцы, которые были похожи на их жизнь — бурны, прекрасны и целомудренны. И так проходили их дни, полные труда, и ночи, полные любви. Они улыбались солнцу, цветам, деревьям, птицам, щебечущим в зелени дерев, прекрасной и зеленой весне, своей родине. И одного только не было у них — своего письма, своей книги, на которой мудрые люди могли бы беседовать со своим народом. Они слишком много трудились, их души удовлетворялись тем, что они творили красоту вокруг самих себя. У них не было своих книг, но зато были песни, похожие на песни жаворонка на рассвете, которые он поет над росистыми зелеными лугами, песни, звенящие радостью жизни, света, солнца над их милой землей. У них были чудесные легенды их земли, у них были сказы, полные мудрости, и танцы, полные грусти и веселья. Когда они веселились, их бессмертная душа, душа человека, изливалась в песне, когда они грустили — они опять пели песни. Песней приветствовали они появление Человека на свет, песней они приветствовали его созревание, песни радости пели они, когда трудились, песни они пели во время отдыха, пели, когда совершалось великое таинство свадьбы, таинство продолжения рода себе подобным, и когда они умирали (а умирали они без горя и боли, с сознанием жизни, прожитой недаром, отходя в смерть, как в объятия сна), — они тоже пели песни о том, что человек умер, но в детях он возродил себя и вечно будет жить в них. Песней они встречали зарю и песней же провожали день. Но книг у них не было. Они появились бы тогда, когда народ их расчистил землю и сделал ее похожей на сад, и они создали бы их, пройди еще некоторый отрезок времени, еще отрезок безопасной жизни. Но случилось не то… А пока что их певцы довольствовались тем, что песни их поет народ, что песни их помогают ему в жизни и труде. Они жили, трудились, смотрели в женские глаза, ласкали детей, плясали с цветами в волосах, пели песни и, главное, беспредельно любили жизнь и человека. И старались сделать жизнь прекрасной. Все было бы хорошо и безоблачно, если бы не пришли сильные и злые враги, извечные враги их, люди, закованные в железо. Самые старые деды уже не помнили их, но по их рассказам сразу узнали, кто они есть.

В один летний день, когда солнце уже скрылось за черной стеной бора, из леса выехали два всадника на измученных, словно покрытых мылом конях. Их лица были коричневы, как кора, они обросли густыми волосами, и глаза из-под кустистых бровей смотрели, как гады, затаившиеся среди кустов. Лица их пересекали белые полосы, которые иногда бывали у лесных людей, если на них нападали дикие звери и делали на теле раны, которые потом заживали. Кони были черные, покрытые сверху такой же черной броней, оставлявшей открытыми только их жилистые и массивные ноги. Всадники тоже были закованы в железо, и руки их поэтому напоминали черное кольчатое брюшко змеи, на поясах были привешены такие ножи, какие показывали когда-то старцы, и другие, более короткие, с ручками из какой-то белой кости и золота, напоминавшими кресты. И такие же рукоятки были нашиты на плащах, небрежно ниспадавших с плеч. Они были усталы и, очевидно, долго ездили по лесу. Остановившись у крайней хижины, один, более высокий, грубо потребовал себе воды. Лесной народ всегда соблюдал закон приема гостей — они всегда принимали их хорошо, угощали всем, чем могли, даже неприятных им, как эти двое, ибо смертельной обидой для всей страны был плохой прием гостя. Они сняли заблудившихся странников с коней, усадили их за стол в саду, угостили плодами, свежим ржаным хлебом и медом с мелкими кусочками сот, душистым и пахучим, как цветы, но незнакомцы отодвинули это и потребовали хриплыми голосами вина. Повинуясь капризу гостей, они дали им столетнего меда, который они пили сами редко, ведь они были пьяны жизнью, природой и любовью. Гости начали пить и горланить песни. Один из них толкнул другого под бок и с наглым смехом указал на красавицу дочку хозяина, стоявшую невдалеке в белом платье и напоминавшую яблоньку в цвету. Изрядно пьяных железных людей усадили на коней, ибо они не пожелали проспаться на месте, и отправили восвояси. Они уехали, и хозяева облегченно вздохнули. Вскоре после этого лесорубы нашли невдалеке в лесу одного из гостей, низенького. Грудь его была пробита каким-то широким оружием, он уже начал гнить, и медведи съели те части тела, которые не были защищены железом. Это были плохие люди, если один товарищ убил другого. Следы от трупа вели к страшной «Волчьей трясине», которую люди пока еще не могли осушить. Без сомнения, второй в пьяном виде залез в болото, и оно засосало его вглубь вместе с конем. Прошло много месяцев, прошел год, и все было по-прежнему тихо и спокойно. Так же рождались здоровые дети, так же любили друг друга люди, так же целовались в цветущих садах юноши и девушки, так же люди обуздывали силы природы, радовались солнцу и цветам, цветущим лугам, лесам, звенящим на рассвете птичьим трелям, так же смеялись дети, так же кипела их жизнь, такие же были деревни, утопающие в садах, и дома, обвитые плющом, такие же песни пела молодежь на отдыхающих вечерних улицах, когда последняя алая полоса заката угасала в синем ночном небе. И такие же были звезды в бездонной ночной вышине, и так же любили жизнь счастливые и здоровые люди. И это продолжалось до тех пор, пока в страну не вторглись враги. Они появились из черной чащи леса, неизвестно откуда, как и те первые два, только на этот раз их было значительно больше, их было так много, что когда первые всадники проехали половину расстояния от хижин до леса, — хвост колонны еще терялся в лесу. Они были одеты в такую же железную одежду, кони ржали и храпели, и передний всадник держал в

руке громадное алое полотнище с портретом какого-то человека в венке из колючек, а не из цветов, какие носили лесные люди. Они неслись, как буря, и черные кресты на их белых мантиях были похожи на пауков, зловещих и страшных. Пели рога, и эти люди производили какие-то странные крики, вроде: «Хух! Хух!» Они построились черным клином, черными были их лошади, их железная одежда, черными были перья на их наглухо надетых шлемах и хищно чернели кресты на их белых мантиях. Это было так уродливо и страшно, что люди отводили глаза. Это были три цвета, которые не любили лесные люди. Кровавый цвет хоругви, белый, мертвенный цвет, такой, какой бывает у умерших, и черный цвет смерти. Этот клин летел на деревню, и когда они были невдалеке, в руках их заблистали, неведомо откуда взявшиеся длинные, плоские и широкие ножи. Они ворвались на улицу так, как врывается огонь в лес, опустошая все. Они приблизились к людям и на ходу врезались в толпу, как нож врезается в масло, их руки мелькали, как руки лучших лесорубов в лесу, когда они рубят деревья. Кони не боялись врезаться в толпу, очевидно, они были приучены к этому. Люди еще недоумевали, когда на белую стену дома хлынула чья-то кровь — и женщина, женщина, которую они почитали, как богиню, святая мать человечества, эта женщина упала на песок с раздробленным черепом и начала царапать песок скрюченными пальцами. Это было так страшно, что люди даже не сразу поняли, что произошло, а затем бросились бежать в смертельном страхе, бежать не в лес, который мог бы дать им спасение, а в свои хижины, которые им казались надежнее всего. Они бежали, еще не понимая всего ужаса происшедшего, а враги следовали за ними. Они гнались за этой беспорядочной толпой и рубили убегавших, так что когда улица сделалась пуста, на ее желтом песке везде алели пятна, как на их знамени, и везде лежали тела с черепами, рассеченными напополам, истоптанные и обезображенные копытами вражеских коней. Люди, успевшие спастись, заперлись в своих хижинах. Но и тут произошло невероятное. Чужеземцы оскорбили святость домашнего очага, они подожгли многие хижины и убили выбежавших хозяев, а в другие ворвались и вытащили людей на улицу. Кровь текла рекой, бежала ручьями по ступенькам хижин, и враги деловито рубили стариков, женщин и детей. Они тут же, на виду у других, с громким хохотом валили на землю сопротивлявшихся девушек и женщин, срывали с них одежды, насиловали их на виду у их женихов и мужей, а когда те рвались из их рук, чтобы спасти честь любимых, убивали. Через пару часов деревня пылала как свеча, везде, точно подстреленные белые пташки, лежали убитые и опозоренные прекрасные девушки рядом со своими милыми мужьями и женихами. И кровь их смешалась, кровь, которая должна была смешаться только в их детях. Наглые руки железных людей вытаскивали из горящих хижин добро, рвали его на части, и это напоминало стаю волков, дерущихся у трупа убитого ими оленя. Часть рыцарей погналась за теми, кто успел убежать из деревни, рубила убегавших, и ни один из жителей не успел добежать до леса. Тогда враги вытащили из огня бочки с вином и медом, разбили их и начали свой отвратительный пир среди горящих хижин и трупов. Связанных жителей, ничтожную кучку, бросили тут же в пыли, и когда напились, начали резать и их. Разгоряченные вином, пламенем пожарищ, бойней и солнцем, пылавшим вовсю, они, уже обезумевшие, начали подставлять свои шлемы под струи крови, хлещущие из перерезанных шей жертв, и пили эту кровь, выливали содержи-

мое шлемов на руки и лицо. Страшные, похожие на диких зверей, все в крови, с горящими глазами — они были ужасны и, казалось, неуязвимы. К полудню они совершенно перепились и, попадав среди мертвых, сами мертвецки пьяные, заснули, будто сделали доброе дело. Ушла из огня только одна девочка, которой удалось спрятаться в кустах, и она поспешила в соседние деревни, чтобы поведать о том страшном, необъяснимом, что постигло деревню у леса. Ей удалось добраться туда без препятствий. Деревни снялись с мест и перекочевали вглубь страны. А в опустошенной деревне, после того как враги двинулись дальше, было мертво как на кладбище, или правильнее, как в могиле. Черные дымящиеся руины тянулись там, где был ряд цветущих хижин, обожженные стояли сады и везде лежали трупы убитых. Некому было плакать над ними, мать не рыдала над трупами детей, не утирал своей седой бороды отец, не плакали дети над родителями своими, некому было плакать, ибо все были мертвы, только вороны, которые, очевидно, всегда следовали за черной стаей врагов, каркали над пожарищами. И было все мрачно, горе и смерть ворвались в светлый мир любви и надежд. А враги как буря врывались в соседние деревни, и везде было то же самое, только народ при виде этих свор бежал в леса, не ожидая нападения. Но теперь бежать было некуда, да никто и не хотел оставить страну, которую он создал своими мозолями. Даже если бы они ушли, враги все же рано или поздно, нагнали бы их и там. И в народе заговорила гордость: нельзя было оставить врагам землю, которую они полили своим потом, которую они сделали светлой и счастливой, на которой жили их деды и должны были жить их внуки и правнуки. Нельзя было отдать им на растерзание свое счастье, свою жизнь и жизнь своих детей. И в народе заговорила злоба, и в народе родилась месть. Да будет проклят тот, кто возбуждает ее в людях, да будет проклят тот, кто уничтожает плоды человеческих рук и его бессмертного светлого ума. И люди решили, что если звери терзают людей, то их нужно убить, даже если эти звери — люди. Страшен бывает гнев народа. И с этих пор за черными зверями следили десятки внимательных глаз. А железные люди рассыпались по всей стране, везде грабя, уничтожая и сжигая хижины, и везде царили кровь, ужас и ад. В деревню у Глубокого брода они ворвались перед вечером и все жители, не ожидавшие набега, были убиты у своих хижин. И опять хижины были сожжены, сады вырублены. К ночи они, по своему обычаю, перепились и повалились, мертвецки пьяные, вперемешку с трупами. В это время из лесу появились люди, угнали их лошадей, в то время как другие принялись за избиение спящих. Их дубины действовали как нужно даже через самые крепкие панцири, через которые с трудом мог бы проникнуть меч. Когда в лагере черной своры поднялась тревога — было уже поздно. Они не имели той подвижности без своих коней и куда они ни метались — везде встречали кольцо огня и гневные, суровые взоры людей лесной страны. Тогда, как это всегда бывает с слишком жестокими людьми, они проявили себя как трусы и начали кричать, но люди, потерявшие так много, не имеют в сердце жалости. Короткий бой превратился в страшное избиение, и в лужах крови отражался дымный огонь пожарищ. От страха у обреченных началась медвежья болезнь и стало трудно дышать от запаха, который присоединился к запаху гари. Вскоре с ними было покончено, из всех врагов не был пощажен ни один. Так кончилась эта страшная резня у Глубокого брода.

Казалось бы, все кончилось, но это было не так. Старики знали нрав этих людей, и по всей стране мчались гонцы с приказом прекратить ковать заступы и начать ковать топоры и мечи. Излишки орудий труда тоже перековали на мечи, и страна, запылавшая огнем гнева, вскоре вооружилась вся. И опять около года страна была спокойна, и зарастали понемногу раны, нанесенные нашествием, только никто не мог вернуть убитых жен и детей, только никто не мог залечить раны, открывшиеся в душе народа. Время — лучший доктор для души, понемногу люди стали забывать об ужасе вражеского нашествия, лица «железных людей» тоже притупились, но народ был уже не тот — он не мог веселиться как прежде, чувствуя меч, занесенный над его головой, чувствуя, что змея, затаившаяся где-то далеко за безбрежными пущами, каждый миг готова опять ужалить страну. Песни стали не те, люди всех возрастов готовились к тому, что деревни опять запылают. Юноши, любимой забавой которых стало теперь фехтование тупыми мечами, огрубели, и в глазах их появилось что-то такое, чего не было раньше — гордая и суровая твердость. Они решили не отдавать врагу своего неба, своего солнца, милой земли своей, улыбок женщин своей страны и биться за них до последнего и лечь костьми — если этого потребует их народ.

* * *

Опасения их не были лишены основания. Когда наступила следующая весна, вновь над страной нависла угроза. Дозорные, которых теперь было много в темном лесу, донесли, что враг приблизился вновь к границам страны и скапливает в один кулак свои черные своры на расстоянии двух переходов до деревни, сожженной ими в свой первый набег. И тогда распорядитель работ взял на себя роль Верховного вождя, а от его ставки темной ночью пронеслись гонцы с горящими факелами в руках. Они летели по всей стране, неся в руках горящие ветви и стуча по дороге в окна всех хат с криком: «Огонь! Огонь!» И везде во тьме хлопали двери и выходили черные тени людей с блестящими полосками мечей на плечах. И везде мчались к Темному Бору отряды всадников, и везде кузнецы клепали косы, ковали мечи и топоры, и огонь бухал в трубы кузниц, разносясь яркими искрами в ночи. Эта рать людей в белых рубахах без лат, только с железными полосами, прикрывавшими грудь, с мечами, топорами, вилами, косами, сидящая на лошадях, была сильна своим желанием драться до смерти, своей волей, своим железным гневом, который должен был пасть на головы врагов, своей ненавистью к врагам милой земли. Две ночи стояли войска у Темного Бора, и на третий день враги явились. Они высыпали из леса, как и раньше, стремясь дорваться до богатств страны, но встретили на опушке леса железный отпор, железный заслон, мешавший им. Они отощали от долгих странствий по лесам и горели желанием пить кровь, желанием жрать. Но лесные люди дрались не за хлеб, а за свою светлую древнюю землю, готовые всегда окропить ее своей кровью, как раньше поливали ее своим потом. Они бросились на врагов, как лесной пожар на чащу деревьев, и руки их, привыкшие рубить лес, теперь рубили врага. Те слишком поздно поняли, что тот народ, который видели двое их сородичей, стал уже не тем, а когда поняли — перестраиваться было уже поздно. Десятками клиньев врубилась в их ряды конница лесных людей, и хотя латы их были крепки, но трещали, как яичная скорлупа, под топорами тружеников. Лязг мечей,

топоров, вой убиваемых врагов и крики победы с той и другой сторон слились в многоголосый рев. Кружились в водовороте битвы и постепенно падали штандарты врагов и, наконец, самое знамя их с ликом человека в терновом венце упало, подрубленное парнем, у которого враги год назад убили невесту и сердце которого было теперь сделано из камня. Все слабее становились крики: «Хух! Хух!», и все более властно царствовал над полем вопль: «Огонь! Огонь!»

Бой у Темного Бора длился весь день. Весь день трубили рога, ломались мечи и копья, храпели и ржали кони, лилась кровь, и весь день опускались равномерно на головы людей, молотя войско, как цепы хлеб. И везде падали люди, и кровь хлестала на черную землю, взрытую копытами коней. И из всех захватчиков не ушел ни один, все пали, костями засеяв землю, которую они хотели поработить. Вперемешку лежали черные фигуры железных людей и белые, чистые фигуры лесных людей. А годы шли, и спокойствия не было. У Темного Бора враги были уничтожены, но каждую весну они появлялись все вновь и вновь, и вновь лилась кровь, и вновь вороны налетали на землю в лесу, многочисленные и жадные, как саранча, всегда готовые жрать, пить, убивать и жечь. Они ползли, объедая все на своем пути, и бороться с ними было так же невозможно, как с саранчой. Они вторгались в цветущую землю, а позади себя оставляли черную, дымящуюся пустыню, где не звенели песни, а только кричали вороны и матери рыдали над трупами сыновей, павших на поле боя. Закаты были красны, как кровь, пролитая лесными людьми, тревожной стала жизнь. Их разбивали в одном месте — они появлялись в другом, движимые рассказами о богатстве этой земли, жаждой к богатствам и крови, готовые сами подвергнуться мучениям для того, чтобы мучить других. Много пало тружеников на полях сражений, много было разорено весей и маленьких городков, уже появившихся в этой земле. Прошло пять лет со времени сражения при Темном Боре, и эти пять лет были полны кровью, пожарами и нашествиями, не такими крупными, как тогда, но заставлявшими страну вечно держать напряженными свои мускулы. И через пять лет случилось страшное. Железным людям, очевидно, стало невмоготу терпеть присутствие богатого, плодородного края за темными лесами, и теперь все силы черной страны ринулись на край лесных людей. Они смяли легкие заслоны у Темного Бора и рассыпались по стране, как саранча, уничтожая, грабя, насилуя, убивая, сжигая хижины, превращая в руины цветущие веси и города. Они шли яростно и злобно, и было их так много как никогда. И везде бухали в небо языки пламени, и когда они проходили, то за ними оставались только руины и пепел пожарищ и дым над развалинами. Рать их топтала горящие хлеба, и везде царили крики, смерть и ад. Страна пылала, везде неслись гонцы с факелами и все — стар и мал выходили навстречу врагу. Страна встала как один, но силы были слишком неравны, и из множества стычек большинство было проиграно. В середине месяца вишневого цвета крестьяне семи деревень с Тихой реки встретили головной отряд рыцарей и разгорелся бой, единственный крупный бой, выигранный лесными людьми. Рыцари налетели на них всей силой своей кавалерии, но те, быстро построившись в цепь, начали косить ноги лошадям железных людей, как в обычное время косили траву. И тогда началось ужасное: передние летели с коней через голову, налетавшие кони задних топтали их, с фланга, из леса ударили конные отряды лесных людей, ударили одним мощным кулаком и заставили врага обратиться

в бегство. Железные люди бежали в смертельном ужасе и с ходу врезались в бездонную трясину. Передние подминались под задние ряды, смещались в один поток и начали проваливаться. Не прошло и полутора часов, как из трясины только кое-где торчали острия копий. Страна поднялась, но это была единственная большая победа: счастье не улыбалось больше хозяевам страны, разгром следовал за разгромом. Захватчики двигались вперед, исходя кровью, но все же двигались. Ряды их поредели наполовину, но и страна-жертва была обессилена. Тогда с мужеством отчаяния вождь собрал последние силы и объединил их в один мощный кулак, грозный и ужасный. Все наиболее сильные парни и мужчины стали в ряды, вооружились и двинулись навстречу врагу. Все, кто только был способен держать в руке топор, все юношество, все дети и старики, все женщины решили драться до последнего... Невдалеке от места сражения при Темном Боре еще первыми поселенцами была расчищена от леса большая поляна. Думали ли тогда деды, что это место, на котором был ими посеян первый хлеб, станет полем горя и позора для народа их милой земли. Были собраны воедино на этом поле силы обеих сторон. Начинали желтеть хлеба, жаворонки заливались над полем, которое должно было стать полем смерти.

……………………………………………..

Не прошло и суток, как все было кончено, и хлеб, за который сражались люди, был обильно полит их потом и кровью их и засеян трупами павших. А враги рассыпались по стране. Они вырубили сады у стен городов, которые еще не сдались врагам, отравили источники, загадили храмы этих людей, поклонявшихся солнцу, Человеку, Женщине — самой большой святыне, которая сберегла и выносила в себе все человечество. Настали страшные времена. Жалкие остатки войска лесных людей тщетно пытались сопротивляться.

После битвы на Чистом Поле, где погиб цвет Лесной страны, лучшие ее юноши, лучшие ее мужи, где были безвозвратно сломлены силы края, он не мог уже больше сопротивляться, не мог дать никакого отпора сильным и злым врагам. Лучшие, красивейшие, сильнейшие пали на поле брани, и некому было их оплакать, некому было уронить теплую слезу на холодные тела защитников страны. В месяце Цветущих лип последние остатки войска страны столкнулись с черными сворами и, прижатые к трясине, окруженные со всех сторон, должны были все пасть на поле боя смертью храбрых. Они дрались с мужеством отчаяния, эти полудети (ибо взрослых мужей уже почти не было в стране), смело бросались на сомкнутые перед ними копья врагов и погибали как львы, смело и честно. Когда ясно было видно, что смерть не пощадит никого, — сам вождь Ян Вереск содрал с древка тяжелое знамя, тканое золотом, и отдал его своему сыну — великому певцу своей страны, и приказал ему уйти с этим знаменем через трясину, во что бы то ни стало спасти знамя или утопить его в бездне болота, но не отдать его врагу. Сын поцеловал отца, у которого по рано поседевшей бороде вдруг потекла одинокая крупная слеза, обнял его и, попросив прощения у войска за то, что оставляет его в последний смертный час, скрылся в чаще, которой поросли берега этой страшной топи. А войска дрались с отвагой людей, обреченных на смерть, раненые смертельно поднимались и шли на врага, не выпуская до самой смерти из рук, окровавлен-

ных и изувеченных, стального лезвия меча. Они были рады, что их реликвия далеко, что она, если и погибнет, то не в руках врага, их знамя, священное знамя Бранибора,под которым они через год после сражения под Темным Бором разбили войска этих наглых собак и гнали их до границ своей страны, знамя, их золотое знамя с черным силуэтом скачущего всадника, который мчался **Вперед**, туда, куда так же быстро мчалась их страна, их святая земля до прихода этих собак. Их знамя, они верили, что оно еще поднимет народ — и дрались смело и стойко. А враги все наседали, знамя Бранибора было далеко. Солнце клонилось все ниже и ниже и зашло за черные тучи. А солнце их славы уже зашло, и черные тучи врагов уже окружили маленькую кучку людей в белых одеждах. Все было кончено. Падали последние воины, все туже сжималось кольцо врагов вокруг них, и когда оно сжалось почти совсем, в кольце стоял один Ян Вереск, даже не стоял, а полулежал. Стояла только одна его нога, другая, согнутая, упиралась коленом в землю и вся истекала кровью. Хохот пронесся в рядах врагов, и сильнее всех хохотал высокий рыцарь в черных латах с коричневым лицом, изуродованным белыми шрамами, тот, которому так доверчиво оказали гостеприимство жители страны и на которых он в благодарность обрушил кровь и ад. Он хохотал, захлебываясь, а у человека, стоящего на колене, звенело в ушах, наливались кровью глаза, тело все слабело и слабело, и последние отблески жизни угасали в глубине души. У высокого лицо дергалось от смеха, он слез с коня и подошел к безопасному теперь врагу, как входят в клетку ко льву, которого каждую секунду грозит оставить жизнь. Хохот стал еще пуще: «Магистр, черт возьми, это почти символ». Лицо магистра горделиво искривилось, и он процедил сквозь зубы: «Что, волк, стоишь? Стой, стой, так же, как ты сейчас стоишь на коленях, так мы поставим на колени весь мир». И он ударил Яна в лицо. Черный туман клубился в голове, кровь из рассеченной головы слепила глаза, боль терзала человека, но человек поднатужился и встал. Залитый кровью, с выбитым глазом, с левой рукой, лишенной пальцев, из которой хлестала кровь, с телом, на котором было по меньшей мере полтора десятка ран, опирающийся на меч, — он был так страшен, что враги отступили в сторону, и круг сделался шире. И в кругу стояли две фигуры, одна черная и страшная, и другая, обессиленная и затравленная. И не успели рыцари даже броситься вперед, как в воздухе, точно молния, мелькнул меч и донесся глухой звук удара. Фигура магистра еще с секунду постояла прямо, а затем начала клониться все ниже и ниже, голова с левым плечом скользнула вниз и упала на землю, прежде чем он сам рухнул на нее, грузно ударившись всем телом, закованным в латы. Враги остолбенели, и теперь хохотал человек, хохотал безумно, хохотал до тех пор, пока кровавая пена не выступила у него на губах. Глаза смотрели безумно и сквозь бороду, запекшуюся в один кровавый комок, вылетали брызги крови и вместе с ними колючие, безумные слова: «Эгей, вы, черные собаки. Вы раздавили мою страну, мой народ, вы наступили на солнце наше грязной ногой. О, наше солнце. Где ты? Где ты? Но…выступит знамя (он глотал собственную кровь, заливавшую ему рот)… явится знамя Бранибора. Трепещите, псы. Я — первый Ян, но много таких… явит вам… наша земля, черные собаки. Вы будете хохотать так, как хохотал недавно… этот человек, эта свинья, которая поела нашего хлеба и заплатила… нашей кровью. Ложь. Он теперь заплатил за это своей кровью. Ложь, что погибла наша земля. Она встанет. Грядет и на вас девятый (подбежавший рыцарь

ударил его мечом в грудь, и он последним своим дыханием выдавил вместо слова «вал» имя сына, который теперь где-то спасал знамя Бранибора) … грядет и на вас девятый… Ян. Глаза его закатились, и он стоял как призрак этой изувеченной несчастной страны, весь покрытый кровью, гордый и непокоренный, подняв кверху окропленный кровью магистра меч. На него набросились, и он упал. Последние искры сознания пробежали в его голове и он умер. Но долго еще рыцари секли его мечами, топтали ногами и яростно плевали на труп Вереска.

А в это время сын его стоял на высоком каменистом острове посреди болота и смотрел туда, где вершилась страшная трагедия смерти. Слезы текли по его лицу, и слова мести шептали его губы. Он держал знамя сложенным у своего сердца и взывал к чести Бранибора, к своей горькой до боли, обездоленной земле. И в это время случилось невероятное: на горизонте рассеялись черные как сажа тучи и заходящее солнце уложило на поле последнего сражения свои алые как кровь лучи. Это продолжалось мгновение, не более, последний алый краешек солнца скрылся за горизонтом, и на обездоленную землю пала душная черная ночь. Солнце Бранибора закатилось, бросив последние лучи на место, где погибла ее сила, на место этого кровавого и страшного побоища. Ночь, страшная ночь позора и смерти, нависла над страной. О, солнце Бранибора, куда ты скрыло свои лучи, оставив народ в этой черной ночи сирым и обездоленным.

* * *

И Ян шел по стране, где нигде не слышалось смеха, где везде царили слезы и ад мучений, где половина людей была мертва, а другая плакала над трупами. А рыцари бесчинствовали везде, и страна была в беде, и некому было защитить ее, ибо все храбрецы погибли на поле боя и смерть простерла над землей свои черные крылья. И везде он видел только горе и слезы. В Светлой веси рыцари повесили все население за ноги на ветвях священной рощи, где когда-то отдыхали первые лесные люди, прародители этого народа, когда прибыли в эту страну. Деревья стояли голые и обожженные, лишенные листьев, камни были на месте веселых хижин, и дети, недавно радовавшиеся жизни, лежали в пыли с проломленными черепами. Смерть была везде, и горе, и боль, и больше ничего. Маленькие отряды восставших уничтожались, и негде было скрыться от беды, горя и разорения. В священном Браниборе шесть самых древних стариков сами взошли на костер, чтобы не сдаться врагу, и все население, женщины и малолетние дети, заперлись в хижинах и сожгли сами себя. Ян видел обгорелые трупы, привязанные к столбам. Старики горели и проклинали старость, лишившую их силы.

С ужасом шагал Ян по этой несчастной земле.

* * *

Расправившись со всеми, на все нагнав страху, враги принялись создавать новую жизнь, черную, как их латы, черную, как смерть. Оставшиеся жители были обложены невыносимой данью, иссушающей душу народа, как само это постыдное рабство. Нищета и прозябание стали уделом народа. Враги вырубили сады, уничтожили хижины и посевы, залили страну

кровью непокорных, уничтожали самых сильных рабов, чтобы народ стал слаб и робок. И везде, везде где только можно, они кровью и потом народа строили вороньи гнезда своих замков. Им мало было земли для этих своих башен, и они, отпилив основной ствол самого древнего тысячелетнего дуба, построили замок и там, назвав его поэтически «Фогельзанг». Но не птицы пели там, а раздавались крики пытаемых людей. Замки торчали везде, наводя ужас на деревни. Страшной и нелепой, как в кошмарном сне, стала жизнь рабов, ибо каждый миг рыцарь мог ни за что ни про что убить, замучить, изувечить раба, потерявшего звание Человека. Страшен был их удел. Люди стали рабами — что может быть позорнее этого, что может быть недостойнее этого… и, однако, это было, и об этом нельзя было молчать. Умерло все, не умерла только бессмертная душа народа, которая как искра таилась под руинами, готовая каждую минуту вспыхнуть пожаром. Так, в дыму и огне, проходили годы и века, семь раз за это время вспыхивали восстания, потрясавшие всю страну, и тогда, как свечи, пылали замки захватчиков, а народ, давно забывший прежнюю свою незлобивость, вытаскивал из них черных собак и убивал на месте. Семь раз, после долгой и кровопролитной войны, из-за лесов приходила помощь, и восставший народ топили в собственной крови, семь раз остатки войск клялись отомстить. Семь раз из каких-то тайников вынималось древнее знамя Бранибора и бесследно исчезало после каждого поражения. И так в огне и крови проходили годы и века. И все семь раз по странной случайности вождя восставших звали Ян. И народ помнил предсказания вождя их, который был первым Яном, и ждал, когда свалится на рыцарей тот таинственный девятый Ян. Последний бунт во главе с Яном восьмым был так страшен, столько пролил крови угнетателей, так всколыхнул страну, что враги почувствовали необходимость реформ. Страна к этому времени стала уже не та, как ни стригли народ, но под конец, опасаясь гнева его, отступили, и дань стала умеренней, народ креп, набирался сил. Рыцари уже давно не жили в замках, изменилась обстановка, «другие времена — другие песни», пытки теперь применяли только в Тайном Совете, где восседали потомки самых родовитых семей захватчиков, всё было чинно и добропорядочно, но эта скрытая ложь, это скрытое лицемерие пуще чумы разъедало души народа. Людей уже нельзя было удержать силой, и поэтому все было прикрыто лицемерной лаской унии, добровольного союза победителей и побежденных. Но они сами понимали, что такой слабой уздечкой нельзя долго сдерживать оплеванную душу, возмущенное сердце народа. Нужно было придумать цепи покрепче, и их наконец нашли. Отделение, которого требовала страна, могло совершиться только тогда, когда те могли доказать наличие у них высокой культуры, существовавшей до покорения этой страны. Этого, к сожалению, не было. Четыре столетия эту культуру выбивали всеми способами, сжигали народные инструменты и самих певцов (так погиб второй Ян — сын Вереска, один из величайших поэтов страны), никем не записанные песни погибали в крови людей, которые слагали их. Не было своих книг, и в этом была главная беда несчастного народа. А у победителей была мощная и сильная культура, у них были древние книги, сказания и рассказы, записанные их алфавитом, на их языке. У них были древние-древние повести и эпосы, пусть звериные и человеконенавистнические, но они возникли так давно. И вот поработители начали требовать, чтобы культура этой покоренной страны, ее литература, ее песни развивались из их культуры, чтобы культура победителей стала культурой

побежденных, чтобы культура угнетенного народа питалась соками культуры ненавистных им угнетателей. Студенты университета в Свайнвессене (ибо так теперь официально называлась Светлая весь), студенты других, более мелких университетов и школ, подняли голос за отделение страны. Страна подхватила их призыв, но почва у студентов была выбита из-под ног уже тем, что они не имели своей национальной культуры, своей литературы и воспитывались на том утверждении, что самая высокая культура у потомков черных собак, а признавая ее превосходство, они должны были признать их превосходство и во всех других отраслях жизни и покорно признать себя побежденными, ибо их родной язык с давних пор был бесписьменным говором. Культура, древность и сила ее стали оружием порабощения страны у угнетателей и освобождения у угнетенных. Но угнетенным было нечем бороться. Студентов разогнали, большая часть их погибла в рудниках, многим был закрыт путь к образованию, а значительную часть расстреляли в подвалах Тайного Совета. Страна опять наполнилась стонами и кровью, расстрелы следовали один за другим, население репрессиями старались загнать в их черные норы, в вонючие переулки предместий, где они должны были жить. Но народ, снова разбитый и уничтоженный, сжав зубы, ждал своего часа, часа расплаты. Когда золотые и пурпурные кавалькады врага гарцевали по улицам, в темных переулках нищие, высосанные работой люди грозно сжимали кулаки, и недобрый огонек загорался в их глазах: «Скорей бы. Когда же явится этот девятый Ян?»

По ночам горели усадьбы врагов, подожженные неведомой рукой, пылали их амбары и скирды хлеба. Огонь разгорался все сильнее.

К[огда] ж[е] я[вится] э[тот] 9-й Ян?

Горожане ломали здания канцелярий, вслед скакавшему врагу слышались явственные угрозы, появлялись на стенах белые листки. Их срывали, но наутро они появлялись в десять раз больше. Сжимались кулаки, кипела злоба. Когда же придет этот девятый Ян?

Горняки рубили породу, умышленно вредили и портили в штольнях, скидывали в только что пробитую дудку надсмотрщиков, пели песни, когда их расстреливали. И в глазах их стоял один и тот же вопрос: «Когда же придет этот 9-й Ян?»

Студенты пели в университете дерзкие песни, избили ректора-врага, полиция расстреляла их в актовом зале (большой Ауле), на месте. И когда пуля попадала ему в грудь, он, глядя в небо, синевшее за готическими стеклами университета, вопрошал мертвыми глазами: «Когда же придет этот 9-й Ян?» По всей стране мелкие бунты сотрясали воздух, проворные руки убивали в переулках солдат, за кружкой вина в кабачках велись неспокойные дерзкие речи, ловкие руки прятали оружие. Связанная, обездоленная, несчастная страна вопила, звала, вопрошая, как из единых уст: «Где ты, где ты теперь, 9-й Ян, приди, отзовись на наш крик, помоги!».

Первая глава

Ян Вар шел по улицам Свайнвессена в самом радужном настроении, и для этого у него были веские причины. Во-первых, солнце сияло, как никогда, вырвавшись из царство холода и зимы, было тепло, весна бушевала на улицах, обдавая лицо свежим майским ветром, мягким и теплым, как ласка матери. Во-вторых, была окончена его работа, его научный труд, прочитав который, ректор университета Бертран Ка́нис пожелал говорить с ним наедине и в конце концов признался, что работ, подобных этой, он за все время своего ректорства не встречал. Труд был действительно очень серьезен и, как сказал отец ректор, весьма подходил к моменту, был очень актуален, не теряя при этом своего значения и для будущего. Это был «Вопрос о культуре, насаждавшейся насильственным путем». В-третьих, с университетом было покончено. Он любил науки, но это многолетнее сидение за древними каменными стенами, в сырости и пыли фолиантов ему уже надоело. Страстно хотелось на свободу, хотелось видеть мир, лететь куда-то, раскрыть объятия этому ветру, который так страстно и нежно врывался ему в грудь. Отец ректор и научный совет предложили ему остаться при университете для научной работы. Шапочка бакалавра — за прошлый труд, не такой, правда, серьезный, была уже позади, а впереди были новые труды, и как следствие, новые ступени научной иерархии. Это, незачем скрывать, льстило ему, но он хотел прежде увидеть мир, который был ему почти неизвестен, а потом… Что ж — потом он подумает. Его ценят, им дорожат, и если он даст согласие Совету немного позже — это не будет поставлено ему в вину. Он скажет, что хочет подготовиться к новой работе и, в конце концов, даже просто отдохнуть. Ведь имеет же он на это право? В-четвертых, он любил и имел все основания думать, что любит не без ответа. Между ними была, правда, большая пропасть в лице ее отца, гордившегося тем, что он потомок древнейшего феодального рода страны, но ведь через эту пропасть сравнительно легко переступить, если любишь. Он добьется согласия отца, а если и нет, то ведь у молодости в запасе есть ночь и пара быстрых лошадей, и товарищ в переулке, прикрывающий отступление. Как она улыбнулась ему вчера вечером в сквере, что у храма Мадонны! Нет, жизнь чертовски хороша, хороша сама по себе, а особенно хороша, если в ней есть она, ее фигурка в белом платье, ее нежное лицо, ее белокурые волосы и голубые глаза с черными ресницами и бровями (какое странное сочетание — не правда ли?). В-пятых, он просто-напросто был очень молод, и молодая кровь, как пьяное вино, радостно бросалось ему в голову, бурлила, бродила, и казалось, еще минута, и он станет поздравлять незнакомых прохожих с тем, что стоит майское утро и солнце сияет над городом, начнет петь и размахивать руками. И он бы сделал это, если бы перед ним вдруг не оказалась калитка собственного дома. Ему не хотелось уходить с улицы, и он еще пару минут постоял, вдыхая грудью воздух, напоенный сиренью. Улочка была небольшая, вымощенная широкими каменными плитами, дома то высовывались почти на самую улицу, другие то отступали вглубь, раскинув перед фасадом несколько деревьев, чаще всего фруктовых, обсаженных кругом сиренью. И все это сейчас цвело, белело, благоухало, везде слышалось жужжание пчел, сновавших туда-сюда. Было очень и очень хорошо жить на свете в такое прекрасное майское утро, а впереди предстоял еще не менее прекрасный вечер, который он проведет с нею. Он оторвался от своих мыслей и толкнул калитку ногой. Скрип ее радостно отозвался в его сердце, потому что всегда встречал его, когда Ян проходил домой. Впереди дорожка расширялась, обходя

куст сирени, весь в белом, как девушка, и чем-то очень напоминавший его любовь. От него сладко пахло цветами, обрызганными росой, и Яну вдруг захотелось отыскать свое счастье с пятью лепестками, но он отогнул ветку, склонившуюся над дорожкой, постоянно мешавшую ему проходить при его высоком росте. Белые колонны крыльца, деревянные, покрашенные белой краской. Ян через три ступеньки перемахнул лестницу и, пройдя маленьким коридором, свернул налево, в свою комнату. Комната раньше была большой, но книги все прибывали и прибывали, их было уже так много, что пришлось отгородить от комнаты один уголок и, поселившись там, остальную часть уступить книгам. Это был его мозг, его счастье, его жизнь, в которой он вырос, которая его воспитала. Девять десятых его дохода шло на книги, и сам он давно стал их пленником, их рабом. Комнатка его с большим светлым окном в сад, расстилавшийся за домом и изрядно запущенный (некогда и некому было за ним ухаживать, только соседи, хозяйничавшие в нем, как в собственном, иногда следили за плодовыми деревьями, все же остальное росло как хотело — буйно и безудержно, предоставленное само себе), была светла и уютна. Стены были голые — ни обоев, ни картин, кроме портрета матери и Альбрехта Бэра Великого, первого трубадура и певца страны, которым Ян восхищался, да старинной рапиры, не висело на них. Кровать стояла в правом углу у окна, тяжелый стол с креслом громоздился рядом с ней, стоял шкаф для одежды и полка с любимыми книгами. Больше не было почти ничего, кроме ковра на полу, заглушавшего шаги и потерявшего свой первоначальный цвет от старости, да мраморной статуэтки девушки, приложившей палец к губам и белевшей в левом углу на старинной резной подставке-шкафчике. И везде были разбросаны книги, книги и рукописи — на столе, на шкафу, даже просто на полу, масса их лежала кучей в углу. Ян писал новую работу о старинных рукописях страны — первоначальных творениях ума победителей. Работа была сделана на три четверти, но дальше двигалась что-то плохо из-за того, что теперь Ян был постоянно на танцах и балах у отца **той**. Ну что ж, работы полежат — они не к спеху, благо он решил немного отдохнуть и посмотреть на мир не через страницы книг, а собственными глазами. Когда Ян вошел в комнату, кто-то поднялся с его постели и бросил в пепельницу окурок сигары. Это был товарищ Яна по университету Вольдемар Бага, нескладный парень, напоминавший медведя сдержанной силой своих движений и большой неловкостью в обращении с мелкими вещами (вот и сейчас окурок выпал из пепельницы, и уголок бумажного листа уже начинал тлеть). Ян потушил окурок и, ликвидировав опасность пожара, присел к столу. Бага сидел, впившись в книгу и, видимо, был не намерен начинать разговор, пока не проглотит несколько оставшихся листов.

Странный парень был этот Бага, весь какой-то корявый, словно его срубили наспех, торопясь выпустить в свет, с руками, напоминавшими по толщине ноги, грудью, как кузнечные мехи, с вечно спутанной гривой каштановых волос и тяжелыми бровями, нависшими над глазами. Напрасно стали бы мы искать в его лице что-либо красивое. Рот был вечно сжат в свирепо-юмористическую улыбку, нос, как обломок скалы, неловкий и массивный, висел над губами, красивы были, пожалуй, только ресницы, длинные, густые и черные. И между тем, он нравился девушкам неистребимой веселостью своего характера, способностью находить смешное даже в самых грустных обстоятельствах. Пожалуй, один Ян знал, что иногда на этого веселого сильного парня находили припадки беспричинной страшной тоски, и тогда он пил, пил несколько дней страшно, после чего становился опять тем же саркастическим Багой, которого знали все. Но причин этих запоев не знал

даже Ян, хотя был к нему ближе всех. Бага не любил ректора и попов, самого верховного правителя страны и самого мелкого стражника его, не любил мещан и фанатиков, не любил даже университет («Панургово стадо» — а ректор в нем главный баран, и все за ним идут, во всем положившись на его потерянную совесть»), а пришел в него только из-за огромных залов архивов и подвалов, где хранились бесконечные сокровища науки, в книгах он рылся как крот, чихая от пыли, не ходя из-за них на лекции, а если и приходил, то постоянно думал о чем-то своем, не обращая на профессора никакого внимания. Странно было только то, что он несомненно привязался к Яну, хотя тот и был ярким типом романтика в жизни. Слова у Баги были такие же корявые, как и сам, если он не воодушевлялся и не был немного пьян, но зато тогда — Ян это сознавал — говорил так, что ему мог позавидовать и Цицерон. Они во всем были различны внешне. Ян, высокий и стройный, с лицом, похожим на лицо старой греческой статуи, с огромными глазами и ликом бога, был абсолютно отличен от Баги, тоже высокого, но по форме напоминавшего квадрат, большого и грузного, как мамонт, с лицом, рубленым из куска металла, с разлатыми бровями. Они были сходны, как, предположим, олень и зубр.

Эта странная пара сидела некоторое время молча, потом Бага отбросил синий том в сторону и уставился на Яна глазами, в которых было столько детски-простодушного, что Ян удивился. Глаза были синие-синие, невероятной глубины, и оставалось только пожалеть, что брови вечно скрывали их, что сам Бага вечно ходил с опущенной книзу, как у бугая, головой. Потом где-то в их глубине загорелось лукавство, и он свирепо рявкнул на Яна, без всякого предварительного приветствия: «Ересь!» Не понявший Ян переспросил его. «Ересь, — еще свирепей рявкнул Бага и прибавил: — А если судить по этой записи, то ты — свинья».

Ян расхохотался — слишком уж неожиданным был переход Баги в состояние гнева.

А Бага рассвирепел и, схватив книгу, ткнул в чистый лист, где Ян, по своему обыкновению кратко записал впечатление. «Читай, бессовестный». Ян удивленно пожал плечами и прочел: «Что касается взглядов автора на культуру, то он, по-моему, прав. Есть племена, способные создавать красоту только вокруг себя, но не проявившие себя в книге. Эти народы воспринимают красоту как нечто, я бы сказал, практическое. Они создают песни, красивые изделия собственных рук, в которых проявляется полностью их душа так, что книге не остается ничего. Они воспринимают чужую литературу, так как сами насадили ее и, пожалуй, неспособны ее создать».

Бага наклонился к книге и, тыча в нее пальцем, заговорил со скрытой угрозой:

— Эта запись свидетельствует только о том, что ты дурак, такая глупая запись, глупее рожи Каниса, а глупее уже трудно представить. Ведь, кажется, умный человек, а пишешь такое…Ты знаешь, я опасаюсь, не в состоянии ли кратковременного помешательства ты это записал… а? Отвечай же, дубовая башка. Или ты был пьян, как капеллан храма 11000 мучениц.

Ян облокотился на стол и спросил Багу спокойно:

— А разве я не прав? Взять для примера хотя бы наш народ. Какие он создал старинные красивые песни, как неповторимы народные костюмы, кое-где еще сохранившиеся? Или наша мебель, пузатая, сочная, красивая как сама жизнь, напоенная ее толстой прелестью, — ведь руки мастеров, делавшие ее, были истинно руками художника. Наш народ талантлив, но он неспособен вложить свою душу в книгу. За эти столетия, как мы покорены, не появилось ни одной книги, автором которой был бы лесной человек, у нас

нет азбуки, а если ее и придумывали, то она не приживалась… Разве я не прав? Если так, то скажи — в чем?

— Эх, Ян, Ян, глубоко же засела в твою голову наша премудрость. Да понимаешь ли ты, что если у нас нет литературы, то это не вина нашего народа, а его беда, его вечная горечь. Как ты смеешь думать, что наш народ дурак, другое дело, что наш народ угнетен, что ростки его культуры сразу душили, не давая выйти на свет. Эти собаки покорили наш народ, хотят лишить его языка, но он пока что не думает петь свои «красивые песни» на языке покорителей, а поет на своем. Его затоптали в грязь, огнем выжигали малейшие проявления его ума, его желания заговорить в книге на своем родном языке. Ты помнишь, что сталось с Симоном Лингвой, который сочинил первый этот самый «не прижившийся» алфавит. Помнишь? Скажи мне, что ты помнишь?

— Его сожгли и…

— И его книги тоже. А ты мне можешь поручиться, что та самая «еретическая рукопись», из-за которой его прикончили, не была написана на нашем языке? Нет? Вполне ясно, что алфавит, которым не написана ни одна книга, мертв. И вот творцов этих книг предусмотрительно уничтожали. Перечислим-ка мы этих авторов алфавита, а ты отвечай, что ты знаешь об их судьбе… Фаддей Острогорский...

— Убит неизвестными в своем доме.

— Каноник Тирский?

— Задушен в келье у подножья распятия.

— Кастусь Береза?

— Казнен за исповедание ереси на главной площади Свайнв[ессена].

— Да, и даже вышла книга его на родном языке, и алфавит ее был не рунический, а наш. Жаль, книга эта была изъята отовсюду, и автор погиб на костре из своих книг.

— Владимир Брама?

— Выпил по ошибке яд.

— Вот именно, по ошибке. Плюс к тому получив удар кинжалом в живот, как было установлено. Это, очевидно, тоже за то, что шрифтом Березы написал книгу, сожженную врагами.

— Янош Чабор?

— Повешен за участие в восстании шестого Яна.

— Очевидно, за написанный им и распространенный гимн восставших.

Вот можно и прекратить на пяти попытках создать эту литературу, хотя можно было бы насчитать больше этих начинаний, пресекавшихся огнем и кровью. Как видишь, менялись только методы — от сожжения к повешению, суть та же. И ты будешь еще что-либо говорить теперь, бесстыжие глаза? Да народ-то кровью заплатил за эти попытки, кровью и дымом костров, а ты, Ян, вместе с нашим народом, понимаешь, нашим, оскорбил и меня, жестоко и несправедливо.

Ян начал сомневаться, не пьян ли, в самом деле, Вольдемар Бага, но высказать ему это в глаза побоялся. Вместо этого, он положил на плечо Баги руку и сказал ему нежно:

— Вольдемар, дорогой мой, ну хорошо, положим, я не прав, положим, я сморозил глупость. Но почему теперь, когда можно напечатать книгу на родном языке и за границей, никто не возьмется за это дело?

— За границей. Гм… неужели ты думаешь, что сейчас можно выехать за границу простому человеку — не аристократу, или… без высшего образования.

Ян заерзал в кресле.

— Вот, Бага, почему бы им этого не сделать, богатым нашим или нашей знати, или, в конце концов, студенту или профессору, или тебе, или мне?

— Ян, ты еще вдобавок совершенно в обстановке… разобраться не можешь. Наша знать — наши враги. Они не лесные люди, нашей знати дороже своего языка своя шкура и деньги. Я беден, и таким людям, как я, это не по зубам, тебе, пожалуй, тоже.

— Но почему?

— А потому, что ты вместо того, чтобы делать нужное дело, пишешь идиотские статейки и выступаешь в не менее идиотских диспутах перед идиотами-профессорами, к тому же и филистерами. Твой Ка́нис недаром носит свою фамилию. Он самая настоящая собака, к тому же еще и с ожиревшим лычом свиньи. Что такое наши профессора? Единственный славянин из них — Тихович. Да и тот дрожит за кажое свое слово и потому говорит общими фразами, вроде «наша земля шарообразна», «ослы отличаются глупостью, а Канис умом». Вдобавок к этому он, известный ученый, заколачивающий уйму деньжищ, живет скупердяем, скрягой, отказывет себе в куске, ходит в простой одежде — все копит на черный день.

— Да, он скуп, но ведь он обаятельнейший человек.

— А живет как свинья. Я с моей бедностью и то одеваюсь лучше, чем он. Нельзя терять уважения к себе — гадость получается. И живет в халупе, и жена его такая же. И детей нет, все, очевидно, от боязни лишних затрат.

— Вольдемар…

— Кстати, не выношу я этого мерзкого имени. Я так записан в документах, но я Владимир, и имя мое честное, славянское, не залитое кровью. Что? Ты разве ничего не говорил? Вот, черт, галлюцинации мучают, пристали. Эх, Ян, Ян! Что это ты с собой делаешь? Тебе с твоим несомненным талантом уже сейчас наполовину забили мозг дерьмом. Ян!! Ведь ты же чудесный парень. Я это тебе без лести говорю. Но что ты делаешь? Гадость, дерьмо. Станешь ты, в конце концов, сущим вторым Канисом и будешь сидеть в кресле над дурацкими книжонками, страдая геморроем. Ох, опомнись, Ян. Да имей я твой талант — я бы горы свернул. И как ты можешь со своей страстью к красивому общаться с твоими некрасивыми единомышленниками? Я тебе не советую этого делать. Я знаю, тебе импонируют их внешне красивые поступки и их красивые слова. Да, они говорить умеют, но вглядись в них глубже — мрак, гниль, маразм, вонь, — с головы вонять начали. Я не буду тебе говорить о них. Подумай сам. Я уверен, что когда-нибудь ты сможешь стать нашим. Будь красивым и в своих поступках, Ян.

— Бага, дорогой мой. Ну помоги же мне, быть может, я и стану «нашим».

— Э, нет, браток. Человек должен своей головой до всего дойти. Что я тебе могу дать, если я пока и сам всего лишь скептическая скорлупа. Я не знаю пока, чего я хочу (исключая, конечно, освобождения Родины), но зато я знаю, чего я не хочу. А не хочу я глупости, подлости и насилия. Думай, Ян, в чем могу — намекну. Но думай, если ты сам додумаешься, крепче будешь.

Несколько минут оба молчали. Ян таскал с полки книги тонкими пальцами и, не раскрыв их, ставил обратно. Бага закурил новую сигару и, лежа на кровати и пуская дым в потолок, шевелил большим пальцем правой ноги, вылезшим из дырки в носке. А за окном цвели сады и щебетала в зарослях сирени какая-то глупая пичуга. Бага перевернулся на правый бок и спросил:

— Кстати, ты сегодня к ней идешь или нет?

— Да, иду.

— Ну-ну, так сказать, счастливо. Только… ну ладно, это потом. Ты знаешь, надо идти и не хочется.

И как человек внезапно решившийся на что-то (Ян иногда так вставал утром), Бага поднялся и стал обувать сапоги, правый из которых был болен какой-то неизлечимой болезнью и скалил от одышки зубы. И вдруг взгляд его остановился на портрете Альбрехта Бэра в латах и мантии с арфой.

— Вот еще тоже зверя повесил на стену.

— Бага, этого человека я бы просил не задевать.

— Да какой он человек. Бессердечный зверь и садист.

— Ну… это уж слишком. Ты в своей злобе даешь явно неверные оценки. Это же величайший лирик Средневековья. Ну что ты нашел, например, зверского в таких стихах:

Как хорошо у замка башни черной
Ждать шага той, кому поет земля,
Как лани бег, ее шаги проворны,
И песню ей **одной** поют поля.

Ты только пойми, как это хорошо для той поры. Где еще писали тогда так? Ну, Бага? Что ж ты молчишь?

— Мне грустно, Ян, что ты изучал литературу по хрестоматиям. Придется мне подарить тебе книжонку, купленную у букиниста. Она столетней давности. Только деньги ты мне верни. Это как раз будет мне пообедать.

— Бага, чудный мой. Вот спасибо. Оставайся обедать со мной.

— Э, нет, уволь. Еще скажут, что я дружу с тобой из расчета. Я уж лучше пойду домой. До свидания, мой ангел с рогами.

— До свидания, мой черт с нимбом.

— Да не очутишься ты в положении того студента, который съел обед, а потом обнаружил, что в кармане его не монета, а пуговица.

— Да не очутишься ты в положении родившей вдовы.

— Салам, сын льва (а стишок тот дочитай до конца)

— Салам, кит вселенной (прочту).

— Ну, ладно. Всего тебе хорошего.

С этими словами Бага вышел, и через минуту откуда-то с улицы донеслись обрывки его голоса. Бага порол кому-то разную ерунду, потому что с улицы сразу раздался смех.

Вторая глава

Бага, пошутив с дородной соседкой у калитки, отправился по улице к своей квартире в студенческом квартале на окраине. Он шагал неспешно, благо спешить было некуда: университет был закрыт по случаю майских праздников, и все студенты садили майские деревья, кто уехав домой, а кто на многочисленных площадях города. Бага шел привычной своей походкой, неся огромное тело плавно и без толчков. Даже походка была у него странной. Руки, заложенные за спину, были неподвижны, будто их связали невидимой веревкой. Бага шел, с видимым наслаждением вдыхая запах сирени, а временами чадный жирный запах харчевен, попадавшихся то и дело навстречу. Бага знал, что везде он получит тарелку супа и битки, но не хотел изменять своему хозяину, который иногда снабжал его обедом безвозмездно, «за шутки». Его харчевня «Утоли моя печали» находилась неподалеку. Когда-то там была крепостная стена, потом ее снесли, и осталась только башня с брамой, к которой и прилепился веселый трактир. Название его произошло от иконы Божьей Матери, торчавшей под запы-

ленным стеклом без лампады уже черт знает сколько времени. По вечерам, когда из закрывающегося кабака выходили орущие песни люди, достаточно утолившие свою печаль, Мадонна смотрела на питухов из-под стекла сурово, как будто сердясь, что вместо молебна слышит одну ругань и пьяные песни. Лет пять назад кабак собирались снести, чтобы к иконе под крышей был свободный доступ, но потом раздумали: толстый хозяин платил церкви десятину своих доходов, а икона-то столько дать не могла. Посему питухи продолжали утолять свою печаль, а Мадонна смотрела все более сердито, хотя, возможно, это копоть залегла в рельефном ее лице.

Он уже подходил к харчевне, как вдруг увидел сцену, которая его заинтересовала: из костела святого Яна Непомука вышла худая женщина со складками у рта. Она несла гробик под мышкой, крышка его чуть откинулась, и оттуда было видно худое и желтое детское личико с заострившимся носом.

За женщиной на порог вышел ксендз и начал что-то визгливо кричать, поднимая одной рукою полы сутаны, будто он переходил лужу, а другой потрясая в воздухе. Он ушел обратно, а женщина, будто ей вдруг изменили силы, опустилась у стены и припала к холодному камню щекой, нервно всхлипывая.

Бага подошел поближе и тронул женщину за плечо. Та обернулась не сразу.

— В чем дело, дорогая?

Она всхлипнула одним ртом:

— Михасик умер.

— Сын, что ли?

Утвердительный кивок головой.

— Сын? Это жалко, — сказал Бага, присаживаясь рядом. — А отчего?

— Горло заболело. Да он бы выжил, панок, только хлеба не было. Ходила собирать, но разве найдешь теперь? Все голодные.

Женщина, видимо, обрадовавшись, что нашла человека, который ее выслушает, лихорадочно заговорила:

— Свой хлеб давно уже съели, у других тоже нет, продать нечего. Хотела заработать, так силы нету.

— А муж что же?

— Муж… муж (она взглянула на него подозрительно). Нет у меня мужа… Пропал муж.

— Эх, бедолага.

— И вот Михасик. Я спрашиваю Бога: за что, за что ребенку так мучиться, пусть бы уж лучше мне, а он, мой птенчик, лежит весь красный, пищит только. Головка болит у него, моего сердечного… И… и умер, умер Михаська.

— А ксендз этот чего орал?

— Принесла ребенка отпеть, а он плату запросил. А у меня денег нет ни гроша. Пан, говорю, сделай милость, неужели ему и на том свете мучиться неотпетому, как в жизни мучился. А он не стал отпевать. Иди, говорит.

— И ты смолчала. Тоже мне пастырь.

— Что ж делать, пане. Он говорит: не надо детей рожать, раз отпеть не можете. Будто я его на муку, на смерть родила, будто только ему и родиться, чтоб умереть потом. Да кабы муж…

Женщина осеклась и замолчала. Бага решительно поднялся и, подхватив гробик, пошел к костелу:

— Идем.

В костеле стоял полумрак, было тихо, только двигалась где-то в притворе черная фигура причетника да у распятия распласталась черная фигура ксендза. Сквозь окна падал цветными пятнами свет на распятие, и фигура Христа была в цветных лоскутьях и напоминала арлекина. Лицо было багровым, как от неумеренного возлияния.

«Вот комедия», — подумал Бага и положил руку на плечо ксендза.

Тот взметнулся и с удивлением посмотрел на решительного парня с гробиком и давешнюю женщину.

«Какая у него, однако, препаскудная рожа, — подумал Бага, глядя на лисью рожу ксендза. — Кажется, его фамилия Милкович. Хорошо, что мы одни здесь. Даже религию они нам свою навязали, паскуды. И этот ренегат здесь. Вот еще божья гнида».

Молчание продолжалось недолго. Высокомерный ксендз не выдержал и спросил:

— Что такое?

— Произведите все, что нужно над этим гробиком. Я ручаюсь, что в убытке вы не останетесь.

Ксендз утвердительно кивнул головой, но не удержался, чтобы не прибавить:

— Вы напрасно к ней так милостивы. Этот ребенок — сын преступника, а она — его жена.

Бага обернулся и, встретив испуганный взгляд женщины, сказал про себя: «Вот оно что», — и вновь обернулся к ксендзу.

— И притом, я ей уже ясно говорил: если нет денег — напрасно рожать детей. Эта шлюха…

— Не надо, отче, кончайте отпевание.

Ксендз не заставил себя просить и произнес со слезами в голосе несколько фраз о младенце, коего Господь взял к себе, пленившись его невинностью.

А женщина подумала, что лучше бы он остался в грешном мире.

Ксендз закончил отпевание и, когда женщина, взяв гробик, двинулась к двери, даже пожал Баге руку. Рука его была похожа на только что пойманную рыбу. Не найдя в ладони Баги желаемого, он съежился, и его лисьи глазки забегали по фигуре Баги. Он еще не верил, но Бага спокойно двинулся к выходу. Тогда он окликнул его:

— Постойте!

— В чем дело, отче?

— А… вознаграж…

— Если я не ошибаюсь, вы говорите о плате, — любезно осведомился Бага.

— Да (ксендз хихикнул), я говорю именно о ней.

— Вы получите ее в другом месте.

— В каком именно?

— На том свете.

— Позвольте, как же это, Господь с вами. Вы, выходит, прохвост. Это… это свинство. Какая же это плата, черт возьми.

— Господь ничто не оставляет без воздаяния, отче, как вы нас учите. Так и тут. Перед вами блаженство.

Потерявший самообладание ксендз взвизгнул и выдавил: «Это не плата. Это… вы свинья».

— Помилуй бог, как же это. Быть может, вы совершили первое в жизни благое дело и тут же хотите его погубить. Я не могу допустить этого. Ну ладно, извините меня, отче.

— Вы этого не сделаете. Я позову полицию.

— Что вы, отче.

— Вы не уйдете. Эй! Кто там есть?

Глаза Баги гневно сверкнули из-под бровей:

— Ладно! Хватит чикаться. Если вы позовете кого-либо, я тоже знаю, что делать. Вы, святой отец, как посмотрите, ежели я, которого вы лаяли непотребно в храме перед образом Христа, доложу об этом епископу? Святой пастырь перед распятием обзывает женщину словом, которое Христос, как я помню, не применял к той блуднице, которую хотели побить камнями. Вы, пастырь, торгуетесь, аки те торговцы, которых Он изгнал из храма. Вы произнесли «черт возьми» — да простит меня Господь за повторение даже такого кощунства. Ах, вы… Гадство какое. И еще, когда я говорю о вознаграждении в Эдеме, осмеливаетесь бросать: «Какая же это плата?» Вы сумасшедший, что ли? Ну плачет по вам монастырь, батька. Правда, тетка? Он же говорил все это?

Женщина, остановившаяся на пороге, чтобы подождать благодетеля, поспорившего с этим опасным ксендзом, простодушно подтвердила: «Да, говорил».

Тогда торжествующий Бага бросил:

— Ну вот. А ругателя не уважают даже в епископстве. Понял, батька?

Ксендз, озлобившийся и напуганный одновременно, потер нервно руки, выбросил вперед жирный кулак, опять спрятал его и захихикал, заискивающе заглядывая Баге в глаза.

— Я надеюсь, пан не сделает этого. Мы поладим с паном.

— Ну, вот и хорошо. И запомните, если вы станете искать эту женщину, чтобы расплатилась, то... Кстати, вы знаете, что такое студенты университета из квартала святого Доминика.

— Как же, это мне известно, пан… Сам был когда-то.

— Сомневаюсь. Хотя по нынешним временам. Так вот это… да вы знаете, самые буйные ребята Свайнвессена, и ежели вы попытаетесь притянуть эту бедную к суду, то скоро у вас в доме, не в храме, нет, не останется ни стекла в окне, ни бревна в стене. Понятно?

И Бага направился к выходу с женщиной. Ксендз испепелил их взглядом, но связываться с «доминиканами» было опасно.

* * *

Когда они вышли и женщина тщетно попыталась припасть к руке Баги, он спросил:

— У тебя родные есть?

— Есть. Да только далеко они, в Жинском краю. Не доехать, да и Михасика надо похоронить.

Бага вдруг вспомнил, что у него в кармане три золотых, которые собрала на книги братия из квартала Доминика и поручила ему купить. Черт с ними, подождут пихать в башку эту ересь. Лучше рассказать, как провел этого ксендзишку. Умный смех дороже книжек всех. Сначала он хотел дать два золотых, а один оставить, но когда полез в карман, рука, будто застеснявшись вдруг, достала все три монеты, и он, взяв руку женщины, положил их в сухую кисть: «Хватит на похороны и дорогу».

— Хватит… хватит. Господи, да как же это… Господи… Паночек миленький…

— Брось ты, дорогая.

Когда первые восторги прошли, он вспомнил, что у него осталось еще несколько монет за книгу, которую он отдал Яну. Плохо. Выходит, чужие деньги отдал, а свои оставил.

— Ты сегодня ела?

— Нет, не ела.

— Ну так вот — на еще, иди и поешь хорошенько.

— За что? Панок!

— Ты меня, тетка, панком не зови. Я со сволочью рядом даже в звании стоять не хочу.

— Браток… родненький. Да что же это… Ведь мне ж никто помощи… Нельзя мне, муж преступник… Боже мой, браточек!

И она опять хотела поцеловать ему руку.

— Ну ладно, ладно.

И передав ей гробик, он спросил:

— Как звать-то тебя?

— Агата.

— Ну, хорошо… Иди, иди. Да, еще вот что. Ведь отберут стражники деньги-то. Спрячь.

— А дулю им. Спрячу так, что не найдут. Тебя-то, браточек любый, как звать-то, как?

— Багой зовут.

— Бага! Бага! — повторила она. — А им, сволочам, я ничего, так спрячу. Прощайте, па… браток. Дай Бог вам счастья, здоровья, любви хорошей.

Когда растроганный Бага отошел шагов на десять и оглянулся — она стояла на перекрестке и грустно качала головой над гробиком. Потом встряхнула головой, отерла кулаком слезы и твердой походкой пошла, исчезла за углом.

Бага не чувствовал себя просветленно, это было для него дело довольно обычное, и с сожалением посмотрел на икону и пучок прутьев над дверями «Утоли моя печали». Потом крякнул, грустно подумав о сосисках, которые так искусно приготовляет хозяин, толстый Гавличек.

Но приключения Баги не были еще окончены в этот день. Едва он отошел на полсотню шагов, как вдруг его остановил какой-то сухой молодой человек с вегетарианской физиономией. Он был подчеркнуто изящно одет, шляпа сбита на затылок, в углу рта чудом держался слюнявый огрызок сигары…

— Разрешите прикурить.

— Пожалуйста.

Мутный, табачного цвета глаз уставился на Багу, другой был прикрыт словно человек, подмигнув, решил, что и с одним глазом красиво и удобно, — так и оставил его в закрытом виде. Потом он промямлил, пуская носом дым.

— Недурная погода, не правда ли?

— Да ничего. Позвольте пройти.

— А вы не возражаете против конфиден-сиаль-ного р-разговора?

— Слушайте, не валяйте дурака, — и Бага, отодвинув плечом человека, двинулся вперед

Но человек, прыгая с правой стороны, устремился за ним.

— А вы з-знаете, с кем вы сейчас были?

Бага остановился и сжал кулаки, но человечек не испугался. Он сунул руку в карман и промолвил:

— Вы были с женой государственного преступника, с Агатой Жинской были вы. Вот. Весьма подозрительно такое знакомство. А вы слыша-

ли, что по приказу Тайного Совета эти люди подлежат… э-э… отчуждению некоторому, так сказать, со стороны… э-э… общества? Им нельзя помощь оказывать.

Губы его извивались, как два розовых червяка, и Бага подумал, что хорошо бы дать этому парню, очевидно, переодетому полицейскому «дрозду», хорошего «раза» по морде, но благоразумно не сделал этого, а спросил:

— Слушайте, подите к черту. Какое вам-то дело до этого?

— Нам… э-э, извините, до всего дело. Вы поговорили на улице с кем, а у нас уже все в бумажечке, вы с проституткой, а мы уже наутро все и знаем, вплоть до привычек ваших альковных. Вы-то, положим, к ним не ходите, но… Вы вот сегодня к Яну Вару зашли, а уже мы и знаем. Ну так вот, знаете ли вы, что мужа этой женщины за… бунт (он подчеркнул это слово значительно) бросили в тюрьму и ему… э-э-э, казнь грозит. Ну-с, знаете…

Багу поразило не это, его поразило, что и Ян под присмотром, его чистый Ян, надежды на спасение которого из лап Ка́ниса он лелеял. Вот пойдет он вечером *к ней*, а за ним — липкие глаза филера, сыщика. И он ответил, не подумав: «Знаю… все знаю».

— Знаете, а заговорили… и мелочь сунули. Не много, а все же. Хорошо, что эти ваши гроши мы у ней отняли, — и молодой человек протянул Баге ту мелочь, что он дал Агате на обед. — Нехорошо, нехорошо, за нарушение постановления вы подлежите суду...

Бага понял одно: Ян под сыском, женщина без обеда, хорошо, хоть три золотых спрятала, и еще он понял, что не может сдержаться. Этот человек внушал ему непреодолимое отвращение, и Бага сорвался. Он ударил «дрозда» по руке, и монетки звякнули о мостовую.

Тогда молодой человек, который, очевидно, и придрался к Баге, чтобы вынудить на что-нибудь незаконное этого студентишку, вежливо взял его за рукав и попросил следовать за ним в «…э-э, сыскную канцелярию». Злой как черт, Бага расхохотался и, взяв «дрозда» за руку, предложил ему убираться восвояси. Но что-то блеснуло перед его глазами, и руке стало горячо: «дрозд» полоснул ножом. Бага вырвал нож, швырнул в сторону, взял филера за воротник и одним ударом свалил на мостовую. Тот встал и тут же полетел опять. В третий раз он кинулся, и Бага с наслаждением сунул кулаком в фатовское лицо, подумав: «Эх, ударил». В ту же минуту двое здоровенных стражников схватили его сзади за руки. Он вырвался, ударил одного ногой в пах и бросился бежать. Но одноглазый подставил ему ногу, и он тяжело брякнулся всем своим огромным телом на тротуар, а еще через минуту сыщик и второй полицейский уже крутили ему руки. Бага ревел, кричал, пытался рвать ремни, но его взвалили на телегу вместе с полицейским, которого он подбил, и повезли к серому зданию сыскной канцелярии. Бага плевался, ругался на всю улицу, дергал ногами. Возмущенные слова рвались с разбитых губ: «Проклятые! Проклятые!» В канцелярии его избили, потом посадили в клоповник и дали на ужин бурды с черствым овсяным хлебом. Это не были сосиски Гавличека, но Бага не ел целый день.

Назавтра он предстал перед судом. Ленивый судья, ковыряя пером в ухе, приговорил студента Вольдемара Багу за непотребное поведение на улице, в результате чего один искалечен и один избит, за неподчинение приказу властей, за сношение и помощь семье осужденного бунтаря, к полутора месяцам тюрьмы.

Третья глава

Ян еще раз прислушался к смеху Баги и, когда он утих, принялся разбирать несколько новых пачек книг, которые принесли утром. Он посмотрел на томик Альбрехта Бэра, повертел его в тонких пальцах и бережно отложил в сторону. Прочесть его он собирался потом, когда справится со всеми мелкими делами, отложить его «на десерт». Томик был небольшой, написанный убористыми мелкими черными буквами, в потертом коричневом переплете с разводами, бумага груба, — от него так и веяло стариной. Альбрехт Бэр смотрел с первого листа сурово, лавровый венок падал ему на глаза, и они казались огромными и злыми — тогда не умели изображать людей, черт возьми. Ян прошептал:

«И дремлет сад под трели соловья».

Потом он откинулся на спинку кресла и засмеялся тихо, ласково и довольно. Чудный подарок сделал ему Бага. Чудный, чудный Бага, незлобивый медведь, уютный и милый человек был бы, если б не его навязчивые идеи о ненависти к железным людям, этого национализма, изрядно пахнущего косностью. Что ж, он, Ян, понимает это — он тоже любит свой народ, но что делать, если он так беден духовно, если у него даже письменности нет. Ну пусть в прошлом были разбои и кровь — ведь это было средневековье, а теперь время не то и люди не те. А если правители и казнили народных героев, то ведь на них напали, а они защищались как могли. Нет, Бага явно перегибает палку. Ну зачем ему, например, так ругать Ка́ниса и профессоров. Ну пусть они даже и кабинетные крысы, но ведь полторы сотни работ отца-ректора тоже чего-то стоят, он работал всю жизнь, разве это не важно. К тому же на самом деле человек, который мог бы быть высокомерным, он так хорошо обходится со студентами и с ним, Яном, вечно за руку, кланяется гораздо ниже, чем они ему. Бага назвал его «проституткой», ну какая же он проститутка. Даже когда приходится ему по долгу службы быть жестоким… и то. Как он плакал недавно, когда пришлось исключить за бунтарские помыслы Карла Марека. Нет, нет и нет. Что-что, а в этом деле надо отдать ему должное, человек он неплохой, а ученый… О! Конечно, Ян был с ним кое в чем не согласен, но у каждого свои взгляды. И Ян с видимым наслаждением встал с кресла и начал развязывать пачки книг. Скоро они, разобранные, лежали на кровати и кресле и просто на полу. Тут были философские сочинения, беллетристика, книги классиков, исторические сочинения, несколько книг по истории церкви и государства. Только одно его несколько разочаровало: в самом низу пачки он нашел две книги «Заговор дожа Марино Фальери» Крабста и «Крещение как таинство» архиепископа Но́ра. Это были книги, которые Ян не любил, но мошенник книгопродавец уже в третий раз прислал их экземпляры, пользуясь тем, что Ян из деликатности не возвращал их и платил хорошо за макулатуру, которую никто не покупал.

Ян вдруг разозлился: «Ну хорошо же. Этот мошенник думает, что можно безнаказанно драть шкуру. Я ж его разнесу». И Ян, захватив книги с собой, направился на кухню, где старая и подслеповатая Анжелика кормила мальчишку посыльного. Мальчишка ел торопливо и жадно, покачивая под столом босыми, в цыпках ногами. Который уже раз давал ему Ян на ботинки, но деньги пропадали в большой и голодной семье. Анжелика сидела, опершись на руки и, пригорюнившись, смотрела, как парень жадно обсасывал мозговую кость.

Ян спросил у хлопца, пойдет ли он опять к книгопродавцу. Мальчишка промычал что-то, отрицательно покачав головой. Приходилось идти самому, и Ян выбежал из дому, позабыв сесть за Альбрехта Бэра.

* * *

Вернулся он уже довольно поздно и едва успел зайти к тетке, которая жила в трех комнатах дома и почти никогда не выходила из них. Она сильно болела последние три года, и жизнь ее сделалась похожей на прозябание. Сразу после смерти родителей Яна, умерших от чумы, когда Яну было два года, она переселилась в Свайнвессен и жила тихо, никуда не выходя. Ян находился под присмотром Анжелики и ее двоюродного брата Петра, отставного солдата, который лет пять назад уехал в свою деревню в Жинский край страны. Там он и жил, изредка присылая с оказией разные сельские продукты. Ян любил дядю Петра и с той же оказией отправлял ему в деревню турецкий табачок и вина.

Тетка мало вмешивалась в воспитание Яна, она сидела в своих четырех стенах и читала-читала-читала. Лишь изредка Ян приходил к ней и копался в разных интересных вещах в ее комнатах. Он отвыкал от нее, и тетка, видимо, чувствовала это. Она гладила его по голове, пичкала разными вкусными вещами, но даже и это делала как-то неловко, неумело. Ян был очень чуток и уже лет в девять понял, что тетка так ведет себя с ним, будто в чем-то виновата. Ясное дело, она его видела гораздо реже, чем чужая Анжелика, как было не чувствовать себя виноватой. Тетка была странной женщиной, она не любила разговаривать ни с кем, кроме Анжелики, и слушалась ее во всем. Несколько раз Ян случайно слышал даже, как в комнате у тетки раздавался кричащий голос Анжелики и оправдывающийся голос тетки. Когда это было в последний раз? Ах, да, тогда еще Ян вступил в аристократический яхт-клуб. Это были чудные дни, но потом Ян увидел, что там он — белая ворона со своим незнатным происхождением, и, разругавшись с советом клуба, ушел. С тех пор председатель клуба Гай фон Рингенау стал его постоянным и жестоким врагом. Ян плевал на это, Ян считал, что он аристократ духа, и не желал вязаться со всяким знатным дерьмом. Он добьется своего не через предков, а своими заслугами.

Да, Ян был незнатен и небогат. Первые два года после смерти отца и матери он жил с теткой и Анжеликой совсем бедно, но когда Яну было четыре года, верховный правитель устроил празднества по случаю подавления последнего отряда повстанцев в горной Каменине. Их вождь Вышеслав Карнай, который когда-то поддерживал восьмого Яна, был казнен. Была устроена большая лотерея, и тетка выиграла первый приз: дом и десять тысяч двойных золотых. На проценты с этих денег они и жили до сих пор.

И было у тетки еще несколько странностей: она не любила слепых нищих, боялась черных тараканов и держала комнату на чердаке вечно запертой, не пуская туда Яна. Когда-то она сильно отшлепала его за попытку пролезть туда по крыше. Ян все же увидел пыльный и пустой чердак, а тетка так разволновалась при мысли о том, что Ян мог разбиться, что расплакалась. Ян просил прощения и обещал, что больше не будет лазать по крыше. Обещание он сдержал. И вот уже три года тетка не выходила из комнаты и, сидя в кресле, думала о чем-то. Иногда на нее нападали припадки деятельности, и она начинала ходить по комнатам, двигать вещи, наводить порядок. Ян никак не мог допытаться: какая у нее болезнь. Она не говорила, и Ян стал, в конце концов, думать, что и болезнь ее такая же странность, как и все остальное.

В комнате стоял полумрак и пахло чем-то очень приятным: тетка душилась старыми и крепкими духами. В глубине комнаты Ян увидел в кресле пожилую, когда-то очень красивую женщину. Это и была тетка. Она не

слышала стука двери, глаза ее были устремлены в одну точку и странно расширены. Она, по-видимому, не думала ни о чем, а просто находилась в состоянии оцепенения. Потом взгляд ее медленно осмыслился, сузились глаза, и она кивнула Яну:

— Здравствуй, дитя. Ты что-то очень поздно сегодня.

— Извините, тетя, но я сегодня сходил отругать этого мошенника… и вернулся поздно.

— Хорошо. Ну, как дела в университете?

— Все хорошо, тетя, Ка́нис похвалил мою работу.

— Все хорошо? Да.. да… это хорошо… Ну ладно, иди. И знаешь что, принеси мне почитать что-нибудь, это я уже прочла.

— А что принести, тетушка?

— Принеси… ну, хотя бы ту хронику Дюперье.

— Но вы уже ее читали, тетя. Я принесу вам что-нибудь новенькое.

— Да, да. Или лучше пришли с Анжеликой. Так ты говорил, что тебя похвалил Ка́нис?

Уходя, Ян обернулся и опять заметил то же выражение виноватости в ее глазах. И Ян подумал, что ведь это легко исправить. Я и сам пойду, у меня хватит деликатности уйти, когда нужно, если я увижу, что ей хочется покоя. Зачем же это: иди… иди… пусть мягкое, но все же.

Он лег на постель, на которой еще сохранилась вмятина от могучей спины Багги, и постарался заснуть. Он дремал уже давно, но еще чувствовал окружающее. И незаметно в его существование вошло что-то тревожное и странное, что — он не мог понять сам. Заболело сердце. Ему показалось, что Бага вошел в комнату и стал ходить по ней. Он ходил, как всегда низко нагнув голову и сложив руки за спиной, но теперь на них были надеты кандалы. Бага силился снять их. Губы Яна шептали в полудреме: «Чтобы снять. Эх, будь он умнее, будь он гениальнее, он догадался бы». Ян подошел к нему и снял оковы. Тогда Бага стать пить и рычать: «Хр-р, хр-р».

Ян очнулся и сел на кровати. Часы тревожно прохрипели в столовой и с натугой ударили восемь раз. Ян еще раз тряхнул головой, чтобы отогнать неприятные впечатления от сна, и с тревогой подумал: «Кажется, я опоздал. Ну и будет же мне нагоняй сегодня».

Ян вскочил как ошпаренный и бросился переодеваться в соседнюю комнату. Ломая ногти, он вкалывал булавку в галстук, натягивал тесную обувь и под конец, еще не застегнув фрак, выбежал из комнаты, промчался коридором и выскочил на улицу.

Четвертая глава

До дома отца Нисы, графа Замойского, было далековато и поэтому Ян добрался до него все же с опозданием. Широкие ворота были открыты, на деревьях вдоль аллеи к самому подъезду вела цепь китайских фонариков, пять белых колонн дома казались призрачными от света луны, блистали огромные цельные окна, гремела за ними музыка и носились огромные тени танцующих. Пригласить Нису на первый танец было уже невозможно, и Ян довольно спокойно поднялся по лестнице наверх. На полпути он задержался перед зеркалом и остался доволен осмотром. В зеркале отразился человек, одетый до той степени изысканности, которая еще не предполагает фатоватости. Над белым воротничком виднелось лицо, тоже не

фатоватое, с умным выражением глаз, белокурыми непокорными прядями над лбом.

Он впервые осознал, что он, пожалуй, красив, и был рад этому. Удивительно было бы, если б такое совершенство, как Ниса, полюбила неумного или же хотя бы некрасивого человека. Ян спокойно поднялся наверх и вошел в залу. Пары медленно двигались в полонезе, блестел паркет, сияли люстры, захватывало дух от красоты туалетов, полуобнаженных плеч женщин, щегольских мундиров военных. В третьей паре шла она с человеком, который был Яну менее всего приятен. Он еще раз посмотрел, чтобы убедиться — не ошибся ли. Да, это был Гай фон Рингенау. Проходя мимо Яна, она едва заметно кивнула головой и сердце Яна сразу затрепетало и стало легким и теплым. Что ж, он сам виноват, что опоздал. Разве ее вина, что этот Гай подошел раньше. Чтобы сократить время, Ян стал слоняться по тем частям зала, которые были отделены арками, и присматриваться к тем, которые не танцевали. Он сразу выделил среди них старичков, сидевших за зеленым столом, перезрелых девиц с маменьками, затянутых в слишком уж яркие не по возрасту платья, и кучку молодых дипломатов в черных фраках с чинными и кислыми минами, считавших ниже своего достоинства вертеть ногами посреди залы. Это занятие скоро наскучило Яну и он подошел к куче поэтов, сидевших у стены в креслах и слишком увлеченных каким-то интересным спором, чтобы танцевать. Это была по большей части многообещающая молодежь, но среди них сидели и двое-трое «маститых». Как раз в то время, когда Ян подошел, спор возобновился с особой силой. Сидевший у стены в кресле лирик и писатель философских стихов Руперт-Березовский, который вследствие роковой ошибки своего прадеда носил в себе кровь двух народов, молодой человек с темным лицом и бурей кудрей, закинутых назад, кричал что-то низенькому, одетому в довольно мешковатый фрак «балладнику» Герцу:

— Вы, сударь мой, просто напороли ересь! Из-за того только, что наш предок Адам пахал землю, вы предлагаете мне писать хотя бы иногда стишки, подражающие песням этих дикарей. Дудки!

— Да я и не хотел этого сказать, — оправдывался Герц, который был трусоват, и теперь, сказав необдуманно что-то смелое не по чину, спешил разуверить других. — Я только…

Но лирик, который спешил развить свои мысли, боялся, чтобы его не перебили, и поэтому, не слушая Герца, продолжал саркастически:

— Извините, но я не нахожу там ничего хорошего. Эти песенки попахивают заношенной рубашкой и не более лиричны, чем урчание в брюхе у такого вот лирика, который, сочиняя оные песни, нежно чешет перстами зад.

Молодой человек с изрядно помятым лицом, с сетью морщин, идущей от глаз, презрительно промолвил:

— А разрешите спросить, господин Руперт, вы что, никогда этих манипуляций не производите? Или, может быть, удаляетесь в темную комнату, чтобы почесать там, где чешется? Наш крестьянин по крайней мере откровенен. Он не прикрывается фразой, он искренен. А вы со своей лживостью и лицемерием просто жалки.

Руперт, видимо, разозлился и брякнул, злобно шевеля губами:

— Видимо, вы забываетесь, пан Марчинский, что вы не в своих излюбленных кабаках и веселых домах, а в приличной гостиной.

Марчинский усмехнулся:

— А можно мне спросить, прилично ли говорить в гостиных о заношенных рубашках, ворчании в брюхе и этом самом жесте. Если же вы считаете,

что в гостиной можно говорить о веселых домах, то мне только остается сожалеть о гостиной.

Поднялся галдеж, Яну был противен этот Руперт, отрекавшийся от песен своего народа, и он из духа противоречия пробился в центр и тоже стал ругаться с лириком (Марчинский смотрел на него с удивлением и недоверием). Ян оживленно жестикулировал, и под конец Марчинский тоже ввязался в спор, причем они вдвоем весьма скоро отделали Руперта. Когда полонез кончился и Ян пошел туда, где сидела Ниса, Руперт вдогонку одарил его «теплым» взглядом и потом навалился на Марчинского:

— Вы, сударь, очевидно, также неразборчивы в приобретенных друзьях, как и в подругах. Водитесь с разными лицемерами, которые в трудах своих консерваторы, а на деле отдают радикальным душком.

Марчинский отделился от стены и двинулся к Руперту.

— Вы подумали, прежде чем это сказать? Я боюсь, как бы вам не пришлось горько каяться. Вы мне за это ответите. Я у вас требую удовлетворения.

— Гм, — произнес важно Руперт, откидываясь назад, — вы знаете, что я принципиальный противник дуэлей.

— Дрожите за свою шкуру, — сжав зубы, сказал Марчинский, — так я же вас заставлю, я вас заставлю.

И он рванулся к Руперту, чтобы влепить пощечину. Тот закрыл лицо рукой и втянул голову в плечи. С мест повскакали люди — разнимать поэтов. Марчинскому помешали ударить, схватили за ноги. Тот постоял минуту, красный, с закрытыми глазами, и прошептал глухим голосом: «Пустите, я больше об это дерьмо не стану марать рук».

Руперт встал и поспешно ушел на другой конец зала. Марчинский вышел в парк и там бессильно опустился на скамью.

Яну не повезло. Когда он подошел к Нисе, она посмотрела на него лучистыми глазами и сказала, что очень просит извинить ее, но она не думала, что он придет, и обещала три танца Гаю фон Рингенау, но если он не уйдет скоро, то мазурка и все последующие танцы его. Яну ничего не оставалось, как тоже извиниться и сказать, что он не уйдет. Он хотел по крайней мере посидеть с ней рядом, но заиграл оркестр и Гай в форме капитана Свайнвессенского гвардейского полка галантно подскочил к Нисе. Та успокаивающе кивнула, и танец начался.

Ян опять побрел по залу и (все пути ведут в Рим) опять пришел к той же кучке поэтов. Там все еще спорили, перемывая кости Марчинскому, но, увидев Яна, перевели разговор на другое. Ян сел в одно из кресел, что стояли вокруг стола, и закурил. У колонны два молодых человека с грязными ушами подмигнули друг другу, и один из них заговорил преувеличенно громко, чтобы все могли слушать. «А все же я согласен с Рупертом. Эти свиньи способны только копать землю. Мужичье, хамы. И добро бы они дали нам что-нибудь, а то они питаются нашими соками. Все наше. Наша наука, наши песни, наши изобретения, наша философия, даже язык и тот наш».

Они явно нарывались на скандал, что было в последнее время делом обычным. За этим следовала обычно дуэль или попросту избиение в темном переулке. Ражые парни с молодецкими лицами, в распахнутых плащах, нарывались на споры с учеными и поэтами, которые имели несчастье быть славянами и потом «в справедливом порыве народного гнева» бывали искалечены, а то и вовсе убиты. Этих парней объединяла какая-то тайная мощная организация, помогавшая им навязывать драки и благополучно избегать полиции и возмездия настоящей толпы. Ян раздумывал: стоит ли ему вя-

зываться в их спор, но тут к нему на помощь неожиданно пришел мощный союзник. Парни как раз прохаживались насчет того, что славяне ничего не дали поэзии покорителей. И тут в воздухе хлопнуло как из револьвера одно коротенькое слово: «Ложь!»

Все обернулись в недоумении и увидели черноволосого, среднего роста человека с огромными, жадно блестящими глазами и впалыми щеками.

Ян сразу узнал его: это был Шуберт, поэт, только что отсидевший два года в страшной Золанской цитадели. Шуберт подошел быстрым шагом к спорившим.

— Вы, господа, занимаетесь пустым чесанием языка. Я сожалею, что я принадлежу к угнетателям. Это препротивная штука. Как вам не стыдно так говорить о народе, который только пробуждается! А вы, молодые люди, стыдились бы говорить о вещах, в которых вы ни черта не понимаете. Половина наших ученых — они, сколько поэтов, и первоклассных поэтов, выступало на нашем языке, а остальные наши поэты — из лучших, из лучших, слышите, а не какая-нибудь шваль, брали их мотивы, их песни и создавали гениальные вещи. Это хорошие люди, и я предпочел бы говорить с ними и сражаться с ними, но не с вами. А они поднимутся, и вы попомните мои слова, когда они погонят нас с вами в шею, и будут правы. Наши фабричные с мануфактур это понимают. Мы слишком долго сидели на чужой шее, чтобы надеяться на прощение, мы обкрадывали их и материально, и духовно, и еще думаем, что они будут к нам милостивы. Нам скоро придется горевать по этому поводу, а но народ нас не простит. У них есть песня о собаках, которые охраняли двор разбойника. Эта песня заканчивается хорошими словами: «Они должны помнить, что когда люди врываются в дом разбойника, то вешают на одном с ним дереве и его собаку». Эти собаки — мы, и мы охраняем разбойника. Нас повесят на одном дереве, и там вы сравняетесь с теми, кому сейчас лижете пятки.

Напуганные этим потоком слов, поэты исчезали из угла, и под конец перед взволнованным Шубертом остались только Ян да мирно похрапывающий в кресле самый старый поэт страны — Лепесток. Он сидел в своем старом зеленом с золотом мундире, отвалив нижнюю губу , безмятежно спал под аккомпанемент спора и оркестра.

Шуберт закашлялся и сел в кресло. Неровный, пятнами румянец появился на его впалых щеках. Потом он прохрипел:

— Ушли, забоялись, трусы проклятые. Как шлюхи, вцепились в богатую страну и рвут подачки. Пенештишики, подарочники, грызут горло всякому честному человеку, если он против их хозяев. Своих убеждений у них кот наплакал — идут за тем, кто больше платит. А сейчас боятся. А вы не боитесь?

— Нет, — сказал Ян, — я не боюсь, да и чего бояться.

— Ну как чего, тюрьмы, например.

— А за что, ведь, кажется, никто не запрещает высказывать свои мнения, а уж тем более слушать чужие

Шуберт посмотрел удивленно.

— Вы еще наивны, молодой человек, хорошо, по-детски наивны. Много бы я дал, чтобы так же верить в жизнь и людей, как вы. Свои мнения. Ого, наши феодалы, наши денежные мешки, многое бы дали, чтобы совсем лишить людей собственного мнения.

— Но ведь вы, например, высказываете их, не боитесь.

— Эх, друг мой, я отсидел уже два года в Золане, я болен чахоткой, и наверное, скоро умру. Если б вы знали, какой это ужас и одиночество сидеть

в каменном мешке. И главный ужас, что нельзя рассказать никому, что нельзя писать, что ты один и не можешь ни с кем поделиться мыслями. А они там большие и горькие. И полнейший ужас невысказанного. Тысячи диковинных замыслов родились и умерли в душе от молчания. Я надломлен, я уже старик, несмотря на мои сорок пять лет. Я вышел, наконец, но я не могу писать. Они кастрировали мою мысль, мою фантазию, они убили во мне поэта. И главное то, что я и здесь чувствую себя одиноким. Так вы не боитесь? Вы хороший юноша, я это вижу по вашим глазам. Вы слушаете старика, а то все другие бегут от меня как черт от ладана. Вы думаете, что в Тайном Совете сидят дураки. Это верно, но и дуракам иногда приходят в голову умные мысли. Они не трогают старого больного человека. Зачем им нужен лишний мученик, о котором могут вспомнить люди. Пусть лучше поэт Шуберт умрет в постели с ночным колпаком на голове. Но я их перехитрил. Когда дерево догорает — оно разбрасывает много искр, от них может начаться лесной пожар. Пусть не от всех, но от одной искры может. И вот я хожу потихоньку и разбрасываю искорки да искорки. Они сделали глупость, и поэт Шуберт перехитрил их. Я умру, но перед смертью еще сделаю что-нибудь. Они думают, что если я не пишу — я безвреден. А я хожу и разбрасываю искорки. Вот. А вы кто такой, молодой человек? Вы не поэт?

— Нет, я, к сожалению, за всю жизнь не написал ни одной строчки. Я бакалавр университета, Ян Вар.

— Вы молодец, дитя мое. Поэту в наше время нечего делать, и многие талантливые люди ходят как последние бронтозавры по заплеванному лицу планеты. Древняя поэзия железных людей умерла, наша поэзия — труп. Мы слишком долго жили паразитами, мы моральные паразиты, своего народа у нас нет, от него мы так же далеки, как и от китайцев, к примеру. Иссяк главный источник великой реки, потому что мы с высокомерием отвернулись и от наших людей, и от вас, покоренного народа, который мог бы быть нашим братом, если бы мы не наплевали в колодец. Ужасно пусто и холодно в мире, молодой человек. Когда я лежу в постели и смотрю в окно — каждый холодный луч звезды колет мое сердце. Иногда звезда вдруг вспыхивает, и мне кажется, что это несется с далекой звезды сигнал о помощи. И потом думаю, что свет шел оттуда десятки лет, и даже если это сигнал, то те люди, которым грозило бедствие, уже давным-давно мертвы. Так и я. До тюрьмы я старался извиниться перед вашим и моим народом за прошлое. Я писал историю и, чтобы отдохнуть, любовные стихи. Вторые любили, первые проклинали, и они всегда съедали все мои средства. Но я должен был их напечатать. Я писал, а передо мною стояли тысячи обиженных нами ваших предков. Я должен был оправдаться сам и осудить притеснителя. И вот я писал. Какой это ужас, когда сотни замученных при жизни стоят в ночи перед тобой и тянут худые руки. Я думал, что передо мной еще треть жизни, что, расправившись с предками, я перейду к потомкам, и тут за оскорбление верховного правителя принца Гиацинта Нервы, деда нашего теперешнего Франциска Нервы, меня бросили в тюрьму в Золанскую цитадель. Я не завершил всего. Как вы думаете, забудут ли меня.

— Я думаю, что нет, — ответил Ян.

— Вот-вот, — подхватил Шуберт, и глаза его заблестели еще сильнее. — Меня не должны забыть. Я много сделал. Призраков с каждым днем было все меньше и меньше, но оставшиеся так жалобно смотрели на меня. У меня, кажется, галлюцинации, я сильно развинтился. Но я все же крепко вздул этих предков. До меня все доходило поздно, как свет от звезды в окно. Народ кричит, он дает сигналы о помощи, а до меня доходят отданные им десять

лет назад. И я вздул их врагов — всех этих Рингенкопфов, Штайницев, этого Фридриха фон Лёве, этого прохвоста Лотария Рингенау, этого прохвоста Альбрехта Бэра, муза которого носит окровавленный меч и пьет кровь из шлема. Я разрушил их романтизм в истории, кто-нибудь другой потопит их сейчас.

Ян приподнялся и осторожно заметил: «Вы знаете, я уже второй раз слышу неодобрительный отзыв о Бэре, а ведь это мой любимый поэт».

Шуберт внимательно посмотрел ему в глаза и, покачав головой, сказал ласково:

— Я вам не верю, юноша. У вас честные глаза, значит, вы не читали Бэра таким, какой он есть. Читали, наверное, приглаженные книжонки о нем. Так нельзя. Это был страшный, кровавый зверь, тупое и злобное животное. Вас прельщала красота его стихов? Милый мой, это не красота, а красивость. Его стихи почти точно повторяют песни, которые поет ваш народ и автором которого он зовет Яна Вереска второго, замученного этим Альбрехтом. Он прицепил к ним кровавые человеконенавистнические концовки и пустил в свет. Вы знаете что-нибудь о Ланах?

Ян помедлил немного:

— Гм-м, кажется, знаю. Это, как я помню, какой-то народ, вымерший в средние века.

— Да, мой сын. Надо к тому добавить, что этот ближайший сосед более счастливый, чем вы. Он к моменту своего покорения крестоносцами имел уже литературу и письменность. Это его не спасло. Достаньте-ка когда-нибудь хронику Мерсе. Это очень скучная в начале книга подымается в середине и конце до подлинных высот пафоса и красоты. Он был франк и поэтому объективен и к нам, угнетателям, и к вашему народу. Так-то, мой дорогой. Я не буду вам говорить о недостойном облике этого лицемера, прочтите-ка лучше сами и убедитесь. Особенно историю о ста орехах. Прочтите и сделайте вывод — что такое народ, живший без языка. Кстати, читайте и спрашивайте ее осторожно — за одно прочтение этой вещи садятся в Золан.

Шуберт вдруг надрывно закашлялся и сплюнул в платок. Потом виновато усмехнулся и сказал Яну:

— Простите меня, я погорячился. Я не должен бы так сразу. Но чем обожать грязь, так лучше уж знать. Помучаетесь немного, и оно будет лучше. И проводите меня до дверей. Мой кэб ждет, а мне уже трудно будет добраться до него.

И они медленно двинулись к выходу. Шуберт поминутно останавливался и говорил, глядя в зал. Потом, взглянув на Яна, произнес:

— Кстати, молодой человек, вы зачем сюда ходите? Уйдите вы с навозной кучи! Или приходите посмотреть на смешные и уродливые стороны жизни? Здесь такая неподражаемая коллекция дураков, уродов и несчастных, что просто смех берет. Вон видите, дипломаты. Они продают свою страну за границей и дешево получают за это, они говорят от имени своего народа (на что он их никогда не уполномочивал) то, что он сам никогда бы не сказал. Их красноречие, их лживые взгляды противны, как ничто. А вон Лепесток спит. Этот продал оптом и в розницу все мысли в своей голове, сочиняет торжественные оды феодалам и выскочкам из купцов. А вон генерал танцует, силясь показать, что он молод. Это жесточайший палач крестьян восставшей Боровинской страны — Гольге. Его фамилия соответствует его душе. Он послал нашему Нерве депешу: «Их войско хотело неба на земле, теперь половина из них в земле, а половина между небом

и землей». Когда он вернулся, ему рукоплескали дамы. Этот тоже торгует: собственной совестью. Есть слухи, что он продал также свой отряд, когда была венгерская война. За это он получил большие деньги и с тех пор очень богат. А женщины, боже, что такое женщины, эти существа, переболевшие в детстве «хлоросом», с талией, изувеченной с детских лет корсетом (половина из них не сможет из-за этого рожать детей). Но зачем им дети! Они живут для наслаждения, и больше им ничего не нужно и не важно. Это выродки. У них плохо развитые груди, прозрачные пальцы рук и ноги, не привыкшие ходить, слабые и белые — какие-то рудиментарные остатки вместо мышц. Слабые, ничтожные существа. Когда же придет настоящий, здоровый, красивый, жизнеспособный народ без печати вырождения на лице? Не бывайте здесь. И наша знать дрянь, а ваша и подавно. Лицемеры, скверные людишки, лижущие пятки угнетателям. Посмотрите кругом мудрым взглядом, посмотрите на нашу безмозглую армию, на наших тупоголовых канцлеров, на наших чванных феодалов, на нищих крестьян. Это же Родина, я родился здесь, я почти не видел нашего Эйзеланда. И вот в ней такое государство: нелепое, огромное, бессмысленное, неповоротливое, страшное, как кошмарный сон.

Встревоженный Ян с тоскою смотрел на вертящиеся пары, и ему уже казалось, что кенкеты и свечи светят тускло, дамы уродливы, а мужчины жалки. Они уже подходили к дверям, когда мимо них промчались по кругу разрумянившиеся Гай и Ниса. Шуберт посмотрел на них и расхохотался. Трогая Яна за рукав, он сказал:

— Видите, какая великолепная пара. Этот невероятный болван — гвардеец, выродившийся потомок того самого Лотаря Рингенау, с узким лбом, и с ним девушка, неглупая, кажется, но тоже изуродованная как властью своей, так и своим воспитанием. Это будут великолепные муж и жена, вот попомните. Они чудесная пара, как говорят — два сапога.

Ян был так зол, что готов был бросить этого человека и вернуться в зал, но Шуберт был очень жалок, и он только сказал ему подчеркнуто ледяным тоном:

— Вы меня извините, но насчет девушки вы, кажется, ошибаетесь. Это, если согласится ее отец, моя будущая невеста

Шуберт ужаснулся, он опять закашлялся и виновато сказал Яну:

— Извините, я второй раз сегодня оскорбляю ваши чувства, но я старик, я умираю и за эти полтора месяца еще ни разу не солгал. Мне поздно лгать, я на пути к тому свету. Я вижу людей с первого взгляда, поверьте моему опыту и силе обобщения: ведь я вижу людей «света» и знаю их характер и их привычки. Буду очень рад, если мое предсказание не исполнится, но вы честный человек, как я думаю, и лицемерить не собираетесь. Вы рабочий человек, если пишете труды, а это ведь трутни. Вы сами понимаете, что вам с ними не по пути. Если она хорошая девушка — уведите ее отсюда.

— Я так и сделаю, — хмуро буркнул Ян, сам не понимая, что его удерживало от грубости — жалость к Шуберту или его необычайно ласковый тон.

— А пойдет ли она с вами?

— О, конечно.

— Ну, дай бог, дай бог, — и он ласково погладил Яна по рукаву. — Сам не знаю, отчего вы мне так понравились, «припали к сердцу», как говорится в песнях. Я наговорил на десять жарких ораторов, а надо было бы опасаться. Ведь и у стен есть уши. Это я о вас. Вам надо бы беречься. Мне-то что. Когда небесный клерк подводит итог, тогда все уже суета сует.

И Шуберт, ведомый Яном, начал осторожно сходить с крыльца.

— Это кровохарканье на балу меня совсем обессилело. Кстати, вы извините, я опять забыл вашу фамилию. Я теперь ослаб памятью, если дело касается сегодняшнего дня.

— Ян Вар.

— Вар, Вар. Помните, был такой Вар, который угробил легионы в Тевтобургском лесу, кажется. — И он с ложным пафосом продекламировал: «Вар, Вар, отдай мне мои легионы. Так вы своих легионов не теряйте». Постойте. — И Шуберт вдруг встрепенулся так, что Ян испугался. — Вар, это не вашу книжку о культуре, насаждавшейся насильственным путем, я читал? Потом еще, кажется, о Софокле, саге о Нибелунгах. Ваши?

— Да, мои.

Шуберт посмотрел проницательно из-под бровей.

— Вы, Ян, сами не поняли, что принесли нашему (да, я смею сказать так) народу больше вреда, чем пользы. Ваш «Софокл» великолепен, он играет, но ваши другие вещи — ужасные вещи. Вы — поэт по духу, вы с любовью говорите о своем народе, но вы не верите в него. И вы своими книгами вышибаете почву из-под ног народа, когда говорите, что он не способен создать собственные книги. Вы убиваете свой народ. Но по паре сегодняшних фраз, брошенных вами, я вижу, что вы еще совершенно наивный политически юноша. Язык — это меч, дубина в руках простого люда, лишний козырь, а вы хотите, чтобы он играл без единого козыря против такого вот Нервы, официального представителя народности, у которого полны руки козырей.

— Но…

— Никаких «но», и не смейте противоречить. Растите, вы еще пока честны, но они вас развратят. Вы станете хотеть пенсий и вознаграждений. А истинный ученый и поэт никогда их не хочет и не ищет.

— Но я не считаю…

— Я не принимаю ваших доводов. Запомните одно. С волками жить — по-волчьи выть. Нельзя, оставаясь с мерзавцами, быть честным. Уходите. Эти подкупы могут хоть кого засосать. Да, кстати, если я не умру через неделю, заходите ко мне тогда. Я буду писать завещание. Не смейтесь, это не об имуществе. Есть у меня, как у Сократа, всего на 30 мин, но в голове зато есть. Я живу на улице Трёх мучеников мучеников… Прощайте.

Шуберт уселся поудобнее на сиденье, и кэб тронулся. Сначала он ехал мягко, но вскоре затарахтел по камням на улице. Ян, отравленный его горячими и убедительными тирадами, чувствовал себя совсем плохо. Его дурманило, он чувствовал, что сбивается с чего-то стойкого. Он медленно побрел в залу, и тут ход его мыслей был прерван — закончился 4-й танец и должна была начаться мазурка. Ян, хотя ему и было очень тяжело, пошел к Нисе и в тот самый момент, когда Гай, видимо, не на шутку увлеченный, собирался пригласить ее (распорядитель уже крикнул о мазурке), вежливо поклонившись Гаю, сказал:

— M-lle Ниса, наверное, передала вам, что этот и все последующие танцы — мои. Очень сожалею.

И Ян, взяв Нису за нежную кисть руки, повел ее по залу. Гай был слишком удивлен, чтобы рассердиться тотчас же, но уже через минуту побагровел и, не глядя на окружающее, пошел в курительную комнату.

А Ян только успел подумать: «Над словами Шуберта придется подумать завтра» — и весь погрузился в чарующую музыку танца и близости любимой. Они понеслись по залу, пугая всех своей стремительностью и невольно стали во главе круга. Бешено гремела мазурка, стук каблуков и звон шпор сливались в одно, а они носились впереди всех, окрыленные, сияющие, красивые, наполовину в воздухе, как боги.

* * *

В курительной комнате между тем собралось не менее изысканное общество. На оттоманке лежал с ногами угреватый истасканный субъект Лео фон Биркендорф и рассказывал сальные анекдоты. В его ровную речь врывались по временам раскаты хохота: это сидевшие возле него два брата-близнеца — Петер и Мориц Гартманы, наслаждались каждой неожиданной концовкой. На ручке кресла невдалеке сидел молоденький, краснеющий, как девушка, корнет Валентин Горн, по прозвищу «Лючия», и неумело курил длинный чубук. Из его розового рта вырывались клубы дыма, и он был доволен тем, что одет в красивый мундир, курит трубку и не зависит, наконец, от отца ни в чем, кроме ежемесячного пакета с деньгами. И в довершение всей этой компании, столь приятно проводившей время, у печки стоял угрюмый Гай Рингенау и, мрачно оттопырив нижнюю губу, думал о чем-то невеселом. Печь была нетоплена и приятно холодила спину. А за окном бушевал май, исступленно гремели соловьи в парке, прекрасная музыка еле доносилась, и под этот ласковый аккомпанемент спал на диване полковой лекарь Штиппер. И вдруг, когда все примолкли на мгновение (Биркендорф копался в памяти, чтобы отыскать анекдот позабористее), в комнату шариком вкатился румяный, со сладким личиком в курчавых бакенбардах поручик Лобковиц. Он хитро прищурился и бесцеремонно захохотал: «Видел, брат, видел, как тебе натянул сейчас нос этот «шпак».

Компания заинтересовалась:

— Что? Как? Когда? — послышались голоса.

Лобковец в ответ расположился поудобней и рассказал с многочисленными прибавлениями историю, которую мы уже знаем, не забыв прибавить «для остроты положения» несколько пикантных деталей. Компания хохотала. Рингенау подняли на смех. Он стоял красный, а Лобковиц без конца смаковал создавшееся положение, делал из него десятки хитроумных выводов.

Рингенау молчал, а потом, побагровев еще больше, вдруг ляпнул: «Я убью эту скотину».

Компания еще пуще расхохоталась:

— Ого, да ты, Гай, кажется, довольно сильно увлечен этой девушкой, похожей на задорную молоденькую свинку

— Ну, это ты перегибаешь. Она же хозяйка.

— Но она плюс к этому еще и славянка. Грязь тянет к грязи, Нису к этому «шпаку».

— Ты дурак, — назидательно сказал Биркендорф, — это наши друзья. Они не хамы, не холуи, многие из них больше эйзеландцы, чем мы. Наши враги — хамье и студенты.

— А Рингенау-то… Вот шутку учинил с ним этот беловолосый тип.

— Я убью его, — упрямо пробубнил Гай.

— Велика честь — убить этого «шпака».

— Господа, а ведь мы допускаем оскорбления от «штрюцков». А наш устав воинской чести…

Мориц Гартман ехидно процедил: «Я бы на месте Гая его наказал. А то уж это нагло — отбивать у нашего Ахилла такой кусочек», — и Мориц поцеловал кончики пальцев.

— Я убью его, — пробубнил Гай, и тут-то, наконец, на него соизволили обратить внимание. Все увидели, что Гай, пожалуй, действительно убьет этого парвеню, и значит, дело из шутки перерастает в серьезное. Этим делом и следовало заняться, благо было скучно и дуэль или избиение представ-

лялось приятным разнообразием. Все зашумели, и через две-три минуты у всех, а особенно у Гая укрепилось желание наказать дерзкого наглеца. Но план еще не оформился. Первым подал голос Петер.

— Господа, а каким способом осуществим месть?

— Дуэль, дуэль! — прокричали два голоса.

— Хорошо. На чем?

Поднялась буря выкриков, из которых, наконец, выделился голос Горна. Он, краснея, сказал:

— Пусть противная сторона выберет, а мы на своего Гая надеемся.

Согласились и на это.

Теперь стоял вопрос, как вызвать «этого аборигена» на ссору. Предложен был десяток средств. Спор о взглядах — не выйдет, он, кажется, правительственной ориентации, оскорбить национальное чувство — неудобно в доме, хозяин которого тоже славянин. Высмеять словесно — этот парень, пожалуй, ответит тем же и поднимет задиру на смех. Обвинить в непочтении к власти — нет, никто не поверит. К тому же он, как слышно, восходящая звезда. Они спорили минут пять. Проснувшийся доктор с интересом смотрел на эту сцену и, наконец, не выдержал — вставил свои три гроша:

— Мне кажется, надо задрать его не словесно, а просто… ну, толкнуть, что ли.

На этом и порешили.

— Ну, за дело, господа. Надо хорошенько проучить этого наглеца. Можно не до смерти.

— Кстати, он умеет стрелять или фехтовать? Нет? Ну, тем лучше…

Врач покачал головой:

— Вряд ли…

— Это все равно. Мы его отвадим от этого дома и дадим возможность Гаю спокойно строить куры с этой хорошенькой девочкой, — по-французски сказал Мориц Гартман.

Веселая компания достойных офицеров повалила из курительной.

Мазурка уже кончалась. Танцевали ее по старинке — долго, и все, уставшие и потные, уже гораздо менее старательно выделывали ногами замысловатые па. Но так же стремительно носились Ян и Ниса, так же горели их глаза. Ими любовались, на них засматривались, и даже прожженный Штиппер с сожалением подумал о том, что, быть может, этому парню придется остаться хромым или изуродованным. И ведь будь он одной нации с Гаем, будь он плюс к тому военным, все закончилось бы благополучно. Тем более жаль, что он ее, как видно, любит, а для Гая — это причуда. Ну что ж, пеняй, голубчик, на себя.

Как раз в это время прозвучали заключительные аккорды, и Ян, легко опустившись на колено, повел Нису рукой вокруг себя. Они шли к месту взволнованные и счастливые, красивые красотой молодости и счастья. Ниса гордо поглядывала на других, она была счастлива, что на них так смотрели. Они уже почти подошли к месту, когда увидели решительно приближающегося Рингенау, и Ниса невольно ближе прижалась к Яну.

Рингенау шел решительно, он не был намерен спускать этому шпаку, из-за которого его подняли на смех. Только бы рассчитать и наступить этому парню на ногу половчее. А потом… потом пройти и не извиниться.

Ничего не подозревавший Ян почти не смотрел на Гая, после этого жгучего танца он почувствовал, как устал, как жала тесная обувь на ногах. К тому же желчные и ласковые слова несчастного Шуберта исподволь говорили что-то в его душе. Он давно бы ушел, если бы рядом не стояла его милая-

милая яблонька в цвету. Он ласково посмотрел на нее и… вскрикнул от внезапно пронзившей ногу боли. Это было невольно, совсем невольно. Офицеры, которые «создавали фон», дружно захохотали, и, привлеченные этим, к ним начали оборачиваться лица, глядевшие с явным интересом. Затушевать все было невозможно, а Рингенау шел дальше со своей деревянной посадкой спины и головы. Красный от боли и волнения, Ян крикнул ему вслед:

— Эй, вы, сударь, постарайтесь дать объяснения, если вы не считаете свой поступок хамским.

— Что? — тупо обернулся к нему Гай.

— Потрудитесь объяснить причину своего хамского поступка.

Рингенау взбесился:

— Да вы знаете, шпак вы несчастный, мужицкое отродье, что вы разговариваете с офицером, с гвардейцем.

— Так вы считаете, что все офицеры должны так поступать. Поистине приходится пожалеть наше офицерство.

Рингенау двинулся вперед и… р-раз. В воздухе пронеслась его рука, не встретив ничего: Ян отступил в сторону. «Дуэль все равно неизбежна, — пронеслось в его мозгу, — а если так, то лучше уж действовать решительно». В следующую минуту он оставил руку Нисы и в воздухе прозвучали две хлестких пощечины. Голова Гая качнулась вначале в одну сторону, потом в другую и замерла с выпученными глазами: он явно не ожидал такого поворота дела. Потом его рука рванула из ножен шпагу, но тут на его пути встала Ниса:

— Господин Рингенау, вы, кажется, забываетесь. Это не площадь, и я не допущу расправы в своем доме.

Рингенау торопливо извинился и, хлопая шпорами, вышел из зала.

Яна позвал чей-то хриплый голос. Отойдя за колонну, увидел низенького, жирного, как кот, человечка в форме полкового лекаря и с ним двух шалопаев, очень похожих друг на друга. Это были Штиппер и Гартманы.

— Что вам угодно? — холодно спросил Ян.

Тогда лекарь конфиденциальным тоном сказал:

— Наш друг уполномочил нас условиться о месте встречи и способах дуэли.

— Это как вам будет угодно, — равнодушно ответил Ян.

— В таком случае, если это вас устраивает: на рассвете в 6 часов утра в лесу монастыря Франциска Ассизского.

— Хорошо.

— Рапира или пистолет? Предупреждаю вас, что если пистолет, то дальше чем с пятнадцати шагов Гай не согласится.

«Ага, предварительный сговор, — подумал Ян. — Вот сволочи. Из-за чего? Неужто из-за Нисы?» Но догадок строить было нельзя, надо было отвечать. Ян стрелял только вальдшнепов из старого ружья, пистолета не держал в руках. А рапирой пару раз баловался. И он сказал небрежно:

— Все равно. Я думаю — лучше рапира.

«Молодец, черт возьми, — подумал Штиппер, — так хорошо держаться. Парень не трус. Жаль будет, если Гай заколет его, как каплуна». Но вслух он этого не высказал:

— Вышлите ко мне двух своих секундантов, и мы условимся с ними. Сделайте это сейчас же. Ну, я пока раскланяюсь. До приятной встречи на рассвете.

— А оружие у вас есть?

— Нет.

— Хорошо, мы снабдим вас своим

Ян стоял и смотрел им вслед. Мысли метелицей кружились в голове, но особенно бушевало в груди негодование: «Подлецы, подлецы. Какова армия. Скоты, животные. И ведь обиднее всего умереть теперь, когда дома лежит незаконченный труд. А, дьявол с ним. Жаль только Нису».

В этот самый момент Ниса тронула его за рукав.

— Ян, что такое? Что тебе предъявил этот зверь?

— Дуэль, — коротко ответил он и не удержался от жалости при виде испуганного лица Нисы. «Как она за меня беспокоится, бедняжка», — подумал он.

— Ты извини меня. Я пойду отыскивать секундантов, — и он пошел искать первых двух знакомых.

А Ниса с грустью думала, что Ян, очевидно, совсем не любит ее, раз сказал, что будет дуэль, не успокоил ее. Перед перспективой бессонной тревожной ночи ее брала дрожь. Никогда еще в доме графов Замойских не зарождалось так открыто и не вершилось так быстро дело дуэли. К тому же ее мучила мысль, что она обидела Гая, и то, что Яна, может быть, убьют или, что еще хуже, — изуродуют. Что дело кончится именно так, она не сомневалась. И зачем он только дал согласие на эту дуэль. И тут же она чувствовала, что если бы он не согласился, она перестала бы уважать Яна. А так он стоял перед нею гордый, красивый, храбрый, лучший. Он своею красотой породил впервые в ее груди какое-то щемяще-сладкое чувство тревоги, радости и любопытства. Ей было приятно, когда он с нею — все равно — танцует или разговаривает. Хотя нет, когда танцует, это все-таки лучше. Но дуэль — он и не взглянул сейчас на нее. Странно. А в глубине души рождалось приятное чувство, что из-за нее люди ставят на кон свою жизнь. Она сама чувствовала, что это — дурная, нечистая мысль, она гнала ее, но та возвращалась все настойчивее и крепче, и под конец она со вздохом перестала сопротивляться ей.

Первого секунданта искать не пришлось: почти сразу попался навстречу Яну уже несколько пьяный Марчинский. Он улыбнулся Яну как старому знакомому: «А вы сегодня счастливее меня. Я только нарывался на дуэль, вы ее, как я слышал, получили, сами того не желая. Ну-ну. Но вы взрослый парень, и я посему предлагаю вам себя в секунданты».

— Да-да, благодарю вас, — подхватил Ян: — И, кажется, для этого дела нужен еще второй. Я очень вас прошу, найдите его.

— А его и искать не надо. Вон у колонны стоит ваш тезка Ян Паличка. Он храбрый парень и в этих делах дока. Здорово, Паличка!

Паличка поздоровался, узнав, в чем дело, сразу оживился.

— Ну да это здорово. Хорошо, что этот подлец Рингенау наконец нарвался.

— Скорее всего, дорогой мой, нарвался наш Вар.

— Это хуже, — искренне огорчился Паличка и шмыгнул носом. — Ну ничего, да спасет нас Ян Непомуцкий. Ну, давайте познакомимся.

— Да мы уж будто знакомы, — радостно сказал Ян. Ему уже не казалась такой неизведанно страшной предстоящая стычка с таким вот веселым парнем в роли секунданта. Паличка сразу понравился Яну: небольшого роста, плотненький, с толстым курносым носом, смеющимся большим ртом и крохотными серыми глазками, благожелательно смотрящими на мир.

— Вот и хорошо, — сказал Паличка. — Было бы здорово, если бы удалось укокошить эту свинью в павлиньих перьях.

— Вряд ли, — сказал Ян, и его веселое настроение несколько увяло — он боялся осрамиться.

— Хорошо, — весело сказал Паличка. — только для разговоров пойдем в курительную комнату. Так-то будет лучше.

В курительной комнате Ян изложил Паличке условия дуэли. И тот слушал, прерывая рассказ удивленными возгласами: «Свиньи, настоящие свиньи!» Забеспокоился он только тогда, когда Ян сказал, что будет драться чужой рапирой.

— Э-э, братец. А ведь так нельзя. Они способны на всякое предательство, а Гай скрытый трус. Они могут вам подсунуть рапиру недоброкачественной стали, и вы зашьетесь. Если рапира с незаметной трещинкой, а они могут сделать и это, или недостаточно закалена, я не поручусь и полушкой за вашу шкуру. А у вас нет рапиры?

— Я им ответил, что нет, потому что моя рапира (она висит у меня на стене черт знает для чего, ее принес мой друг Бага в подарок на именины, потому что у него не было ни подарка, ни денег) она старая очень.

— А какая фирма?

— Кажется, Марциновича.

— Дак это же чудесно, — восхитился Паличка. — Это крепкие хорошие рапиры, надежные всегда. Вот ее и возьмите. Это хорошая штука, и она равна по длине их гвардейскому образцу, так что все по закону будет.

Ян уже давно хотел что-то сказать Паличке, но стеснялся, и вот его прорвало:

— Слушайте, Паличка, сознаюсь только вам и нашему поэту, покажите, как держать эту рапиру и куда ею, черт возьми, тыкать, а то я в ней разбираюсь так же, как институтка в философии Спинозы.

Ян старался говорить грубо, как настоящий воин, но это у него выходило плохо, и он не выдержал, покраснел. Паличка не удивился и не испугался, как того следовало ожидать, а проговорил весьма спокойно:

— Знаете, Ян, перед смертью не надышишься. Держать рапиру надо вот так, как я сейчас держу эту трость. Повторите. Ну вот и хорошо. А за последнюю ночь все равно ничего не выиграешь и не выучишь. Посему погуляйте с девушкой, ежели она у вас есть, а потом ложитесь спать. Вот.

Ян возмутился:

— Но я же ни бе ни ме.

— Все мы были когда-то ни бе ни ме. Я вот когда родился, так грудь сосать не умел, а потом по интуиции так начал сосать, что все только диву давались, говорят. И ничего, жив Паличка, хотя сосать не умел.

Ян расхохотался, а Паличка продолжал:

— Главное, крепкие нервы и сон. А еще лучше, если бы вы воспылали к нему горячей ненавистью. Это сильнейшее орудие. Итак, сон и крепкие нервы — десять процентов, ненависть — еще десять, неопытность ваша, исключающая заученные приемы, а следовательно, предполагающая свои, новые, — еще пятьдесят, сила… постойте, покажите-ка вашу руку.

Ян заголил правую руку до плеча, и Паличка начал ее внимательно рассматривать, тиская сильными крепкими пальцами:

— Что ж, рука неплохая, хотя и белая, и интеллигентская, да ведь и у противника вашего не лучше, плюс к тому еще у вас даже лучше, видно, что ведете жизнь чистую и рабочую. Вот! Дельтовидная, бицепс, трехглавая мышца, лучевые и локтевые мышцы — все неплохо. Довольно сильная кисть. Кистью, значит, вы сможете ворочать неплохо. Это, право, лучше, чем я ожидал. Ежели вы устойчивы на ногах — это еще десять процентов в нашу пользу. Да чистая жизнь — пять процентов. Итого девяносто пять процентов, больше, чем у любого, самого отличного рубаки. Но только я вас должен

предостеречь, вы не очень радуйтесь. Он тоже силен, и его приемы опасны, хотя и избиты. Вот, слушайте…

Ян слушал с вниманием, повторяя слова Палички в уме, а Марчинский сидел на стуле, и на лице его застыло все то же выражение пресыщенности и скуки.

Когда Паличка кончил, он похлопал Яна по плечу и сказал: «Ну, мы сейчас идет к тем кабыздохам, вы пока танцуйте, а скоро домой. Утром мы за вами заедем. Помните мои советы.

— Благодарю вас.

— Э, благодарить будете, когда его повезут штопать в госпиталь Святого Маврикия. Если бы этому блудливому коту удалось отрезать кусок крайней плоти — было бы неплохо, но это, к сожалению, вещь трудная.

И Паличка подкрепил свое замечание известной фразой из «Кандида», искренне при это расхохотавшись.

— Вы оставайтесь тут, не провожайте нас.

Они ушли. Ян, почти успокоенный, смотрел, как во дворе они садились в обтрепанную карету. Он не знал о диалоге, который происходил в это время.

Марчинский, опускаясь на сидение, холодно спросил у Палички его мнение о Яне.

— Да так себе, невинный сахарный барашек, хотя, кажется, честный малый.

— Это да, но он пишет книжки о превосходстве культуры победителей.

— Ерунда, детское баловство. Эта история пойдет ему на пользу. Вот как постукает ему жизнь по всем соответствующим местам, как меня мой покойный пивовар батька, так он узнает, где раки зимуют и с каким перцем их надобно есть. Главное то, что он уже возненавидел этого Рингенау, значит, первый шаг есть.

— Он сегодня разговаривал с Шубертом.

— Ну? — удивился Паличка. — Это здорово. С этим дядькой, хоть он и потомок рыцаря, умному человеку нельзя поговорить и остаться таким же. Эх, этого бы Гая да укокошить, меньше было б работы.

— Эх, работа, работа, — вздохнул Марчинский, — почему это человек, если он не хочет жить как свинья, должен работать.

— Гм, а ты меньше пей, тогда и не будут приходить в голову неумные мысли. Ты что, хочешь, чтоб тебя Господь защитил и манной небесной накормил или чтоб коржики сами в рот сыпались? Нет, брат, Господь хоть уже и старый, и скупердяй, а дураков он не любит.

Он помолчал.

— А парню надо дать возможность кокнуть этого гада, меньше будет навоза, если кто-то примется чистить эти авгиевы конюшни.

Карета тронулась и въехала в аллею. Марчинский тихо спросил:

— Скажи, ты за этого Яна боишься?

— Боюсь, — откровенно сознался Паличка. — Он же полный профан в фехтовании. Но без нас ему было бы гораздо хуже. Я, кажется, достаточно его настроил. Да поможет ему Пресвятая мати.

— Ну дай Бог, дай Бог. Жаль будет, если погибнет.

Карета затарахтела по мостовой и заглушила дальнейший разговор.

* * *

В то время как Паличка и Марчинский только выходили из дому графов Замойских, Рингенау и Штиппер подходили к особняку первого. Он стоял в глубине большого парка, они медленно шли по аллее и заканчивали начатый разговор. Гай фон Рингенау, еще более сумрачный, чем раньше, сказал тусклым голосом:

— Я зол на него. До сих пор я нигде не встречал противоречий со стороны этих белокурых скотов. И поэтому я обрублю его уши и с отрубленными выпущу в свет.

Чрезмерная горячность, с которой Рингенау произносил эти слова, убедили врача, что тот сам себя ими успокаивает. «Боишься, бестия», — подумал Штиппер, но не сказал это вслух. А Гай продолжал:

— Нет, вы знаете, какая наглость. Эта морда смеет думать, что офицер нашей гвардии простит ему что-либо. Если он талант, то это еще ничего не значит. Я убил бы самого Альбрехта Бэра, ежели бы он осмелился затронуть мою честь. Я… для меня это легкая вещь. Этот щенок не умеет держать рапиру. Ну и повеселимся же мы, когда он испустит дух. Единственно, чего я боюсь, — это того, что придется на время бежать из столицы и лишиться ее удовольствий. Остальное все не страшно.

— Я боюсь, что это не так, — вежливо проговорил доктор. — Люди неопытные часто опасны, но… знаете что, не будем говорить об этом и постараемся развлечься до прихода секундантов.

Они как раз проходили по ровной, подстриженной лужайке перед домом. Дом был огромный и неуютный, из серого камня, похожий на казарму, от которой его отличала только огромная серая башня старого замка за новым неуклюжим домом, построенная несколько столетий назад (род Рингенау происходил от первого магистра, убитого Яном первым, и земли, на которых стоял замок и которые теперь поглотил город, извечно принадлежали ему).

Резкий стук дверного молотка — и обоих достойных господ пропустили в вестибюль, где висели рога и топился, несмотря на летнее время, камин (дом был сырой). Несколько переходов, и они очутились в небольшой комнате. Убрана она была довольно скромно, отец Гая был скуп.

Когда они уселись на диване, доктор доверительным тоном сказал:

— Так вот что я хочу вас сказать, милый Гай. Я знаю вас, вы храбрый мужчина и много еще принесете пользы нашей великой армии, нашему стальному государству. Я считаю поэтому, что вам незачем рисковать.

— Я не понимаю, о чем это ты звякнул.

— Очень просто. У этого парня нет оружия. Гм-м. А кто будет виноват, если рапира сломается, когда он будет парировать ваш удар. Вы, конечно, не успеете перестроиться и проткнете его. И кончено дело.

За окном мрачно зашумели липы, — как видно, налетел ветер. Гай зябко вздрогнул, подумал немного и нерешительно ответил:

— Нет, это вряд ли. Он не умеет фехтовать и тут мы еще снабдим его дерьмом вместо оружия.

— Да ведь он все равно фехтовать не умеет, зачем ему барахтаться. А если для него все кончится благополучно — не видать вам Нисы как своих ушей. Я понял, что вы так увлечены, что готовы чуть ли не жениться. Я не буду говорить о глупости того предприятия, что вы мне поведали по дороге. А если рана будет ваша, вы станете посмешищем, ваша карьера будет испорчена, вспомните о пощечинах. А ведь перед вами блестящее будущее. Слухи о войне все более просачиваются к нам, значит, осады, штурмы, прекрасные

полонянки. Ведь вам, в случае неудачи, не видать штаба. Поймите, что здесь нужно играть наверняка. У меня душа радуется при мысли о том, какую пакость мы подложим этому парвеню. Соглашайтесь, мой дорогой, ведь я искренне за вас болею. Поймите, на карте ваша будущность.

Гай еще колебался, но в этот момент в коридоре раздались шаги.

— Это секунданты, — твердо проговорил Штиппер, — соглашайтесь. Ну, что? Мы можем молиться за его душу.

— Разве что так, — с видимым облегчением проговорил Рингенау, и доктор поощрительно похлопал его по плечу.

Пятая глава

Широкий балдахин был похож на птицу, распростершую крылья над широкой и мягкой кроватью. Огромные окна были открыты, и от цветущих деревьев врывался сладкий до приторности запах. Балдахин скрывал двух существ. Близко к стене, закутавшись до шеи в атлас одеяла, спала женщина с маленьким ртом, длинными ресницами и нахально вздернутым носиком. Длинные золотые пряди ничем не заколотых волос рассыпались везде, и лицо даже во сне казалось сладострастным и хитрым.

«Настоящая Саломея, — подумал второй, мужчина критического возраста, очень здоровый, с жирным и свирепым лицом. — Как, все же, скоро они теряют себя. Вот и эта. Еще три месяца назад была такой стройной, тонкой, легкой на ходу, с нежно выточенными чертами лица, а теперь лежит рядом настоящая бабища, опустившаяся, спящая до полудня, или, если кутеж продолжался до двух часов, как вчера, то спит до вечера. Куда делись и походка этой фрейлины, и ее нежный голос, даже талия и та как-то расплылась. Бабища, чужая неприятная бабища. Вот уже ночь, а она дрыхнет. (Он еще раз критически осмотрел ее, поднявшись и опершись на левый локоть.) Лицо блестит, как будто смазано каким-то жиром, и рот во сне некрасиво приоткрыт. Она уже потеряла стыдливость, раздевается при нем так же естественно, как и при горничной, ходит по залам непричесанной или сидит в халате букой, держа в руках «Гептамерон» Маргариты Наваррской. Пропал звонкий смех, пропала дрожь, которую он ощущал когда-то, когда она замирала в его тяжелых первых объятиях. А что же будет дальше? Теперь она уже не дрожит, не умиляет (а это было приятно), она прижимается всем телом… Тьфу! И все же она за эти три месяца, как стала женщиной, приобрела невероятную опытность, приобрела способность расшевеливать его так, что если б рассказать об этом постороннему — он мог бы и не поверить. Да и не удивительно: горяча и страстна, как мартовская кошка.

Он лег, закурил и стал пускать клубы дыма. «Неплохо было бы отделаться от нее, но она приобрела каким-то путем влияние над ним. Из-за нее он дал отставку министру финансов, а ведь это была явная глупость: Лаубе был последним мостиком между ним и народом, который теперь ненавидел его еще больше. Нет, ее не бросить, и он это чувствовал вполне ясно. А ночь благоухала цветами, гремела звонкими руладами птиц, нежным томлением вливалась в души всех людей, но не в души этих двух.

В комнате было темно, мелькал огонек сигары. Женщина спала и видела во сне власть, мужчина был невесел, у него с похмелья гудела голова.

Мужчина был Франциск Нерва, верховный правитель страны, и ему исполнилось сорок лет, девятнадцатилетняя женщина была его последней и прочной фавориткой Миньоной Куртикелль.

Нерва думал. Ему вспомнлась молодость, жестокий и скупой отец. Он был глуп, был большой бабник (фамильная черта рода Нервы) и отличался поистине ненасытной жаждой к мучительству. Пытки и казни сделались так же часты, как насморки, совершались с преступной откровенностью. Отец погубил бы род Нервы. Нечего уже и говорить, что это он вызвал бунт взбесившейся толпы с разбойником Яном восьмым во главе. Они полетели бы тогда вверх тормашками, если бы он, Франциск, не совершил переворот. Правда, отец умер в комфортабельной тюрьме, специально для него построенной, и всего шестеро знают о том, почему его, такого здорового, вдруг хватил паралич. Как ему хлопала тогда чернь, когда он, красивый, двадцатилетний, объявил на площади о том, что для блага народа своего решил взять кормило в свои руки. Он повел себя умно, успокоил чернь подачками, напугал ее единственной открытой жестокостью — подавлением бунта. И то большая часть вины пала на полковника Гальге. Ему хлопали. Двадцать лет прошло, двадцать лет он, Нерва, царит в стране единым судьей и авторитетом. Он хитро повел себя: не казнил официально никого, все действия охранки строго скрывались, он подкупал одних, ссорил их с другими и держался. Он сковал умы ложью, швырял миллионы поэтам, писателям, философам, он знал, что это нужно. Он был умен и хитер, он не трогал теперь Шуберта, он успешно воевал. Отчего же прошла, закатилась, отлетела слава, отчего слышны вслед не аплодисменты, а проклятия, почему изменилось настроение народа? Они еще молчат, они боятся сказать что-либо, но каждый думает, и аплодисментов не слышно. Бараны. Что же теперь делать: сунуть им подачку в губы — мало поможет, устрашить жестокостями — рано. Но только строньтесь со своих мест, и Нерва утопит вас в крови.

Он полежал еще немного и, спустив ноги на пол и накинув халат, пошел в кабинет. Там за круглым, мореного дуба, столом, бессменно ждал его худенький секретарь, ничем не примечательной наружности и темперамента, но человек великой хитрости и лукавства, взятый Нервой из грязи и потому преданный как собака. Плохо было только то, что он слишком многое понимал, но, в конце концов, разве это плохо? Нерва видел, что секретарь гораздо умнее его, что он сильно пользуется государственной казной, но и это неплохо: будет лишний верный союзник. Как Нерва ценил их теперь, этих союзников. Потому-то и держался так долго на своем месте неуемный Хани Вербер. Он ко всему умел еще и модно, со вкусом одеваться. Вот и сейчас он был одет в коричневый мундир, расшитый на груди золотом как-то особенно искусно и красиво. Голова напомажена и кудрява, как у барашка, губы подведены, под глазами синие живописные тени. Нерва в сравнении с ним походил на медведя в своем халате, немытый, нечесаный, с огромной гривой волос на плечах. (Нерва любил рядом со своими разряженными придворными казаться скромным — когда-то это играло свою роль, но теперь и это не вело ни к чему. И Нерва с грустью подумал о том, что носил всю жизнь неудобную и некрасивую одежду из этих полудемагогических соображений.)

Он тяжело опустился в кресло и остановил неподвижный взгляд на лице Вербера. Тот смотрел секунду, не мигая, наглыми синими глазами, а затем будто смутился, опустил голову.

Но Нерве и это не доставило должного удовольствия, хотя он и любил пробовать силу своего тяжелого взгляда на окружающих. Он знал, что секретарь опустил глаза нарочно — его наглый взгляд не поддавался ничему. Поэтому он раздражается еще более. Нет, положительно он сегодня был не в духе. Посему буркнул мрачнее, чем обычно:

— Ну, что там у тебя еще?

— Ничего особенного, Ваше Величество. Несколько мелких дел, происшедших за сегодняшний день в самом Свайнвессене. Так себе, пустяк.

— Ладно, давай сюда.

Настроение чуть улучшилось. Вербер, очевидно, понял, что он совсем не расположен заниматься серьезными делами, и приготовил только самые занимательные. Он сидел большой, грузный, с чувственными алыми губами, приготовился слушать секретаря. А тот быстро ворошил бумаги и шептал как будто про себя: «Дело о Гвидо… дело Каски… Дело Шуберта... дело Крабста, дело Ка́ниса».

Нерва смотрел на него полуоглушенный, чертовски болела голова, а губы секретаря все мелькали: «Дело… дело… дело… доклад… прошение… дело… прошение».

— Кроме того, Ваше Величество, имеется около двух десятков дел крупных торговцев, которые мы отложим на завтра, если у Вас не будет других распоряжений.

— Подите к черту. Валяйте столько дел, сколько найдете нужным. Что там у вас о каком-то Гвидо?

— Вы знаете о нем, Ваше Величество. Это Гвидо Тальони, выходец из Италии. Он был арестован месяц назад за убийство провокатора Гаубана шелковой мануфактуре Вашего Величества. Мы подозревали, что он связан с этой неуловимой организацией «белых ножей», но он на допросе не сказал ничего. Сегодня над ним приведен в исполнение смертный приговор.

— Поторопились, — буркнул Нерва, — эти итальянцы сплошь фанатики. Они не выдадут дела даже при самой страшной пытке, но я не думаю, что он мог вынести бесперспективное сидение в течение нескольких недель в Золане или в казематах Тайного Совета.

— Да, они поторопились. Но дело не в нем. Если Ваше Величество пожелает — я расскажу о его смерти. Это похоже на героический роман.

— Давайте, это хоть немного будет разнообразить дела, которыми можно подавиться от скуки.

— Гвидо этот, как поговаривают, незаконный сын какого-то крупного магната. Когда ему было сказано это архиепископом Ко́ром, он ответил: «Нет ничего удивительного, что среди босяков встречаются незаконные, но если байстрюк сидит на троне правителя страны и держит древний меч магистра ордена, то это ничего хорошего не даст».

Молния проскользнула в глазах Нервы, но он помолчал и, давясь от гнева, проговорил:

— Жаль, что этого прохвоста убили, я бы содрал с него кожу живьем.

Нерва много слышал о сплетнях, в которых говорили, что он — незаконный сын, и хотя это и было неверно, всегда злился на слухи. Теперь он против ожидания скоро успокоился, и Верберу можно было продолжать доклад.

— Дело Каски… Ваше Величество.

— А это еще что? Новенькое что-либо?

Нерва знал, что в придворных всегда говорит почтительное удивление, когда они видят, что он помнит все дела, которые когда-либо решал, — эта феноменальная память приводила в удивление всякого, но никто не знал, как трудно она ему давалась, во-первых, и сколько у него было тайных осведомителей, во-вторых. И вот сейчас он, вполне удовлетворенный, уселся и приготовился слушать. Секретарь сделал удивленный вид и начал быстро листать страницы дел.

— Так вот, Ваше Величество. Этот Каска, выходец из Каменины, приехал в Свайнвессен четыре года назад. Вы уже знаете, что там опять неспокойно,

что Каменина готова к восстанию. Тамошние горцы самый неспокойный и буйный народ. У них уже сковано оружие, спрятано где нужно. Достаточно искры, чтобы вспыхнул порох. Для искры нужно одно — какая-либо крупная наша несправедливость, для этого нужен также ветер, который эту искру раздует, мой господин. У Вас на лице я вижу недоумение. Не хмурьтесь, это слова самого Каски. Месяц он сидел в каземате, пока мы вели допрос и собирали свидетелей: участников восстания восьмого Яна, приговоренных к пожизненному заключению.

Мы допрашивали его шесть раз за это время, и он все выдержал, но потом мы опоили его белладонной, и он во сне, в бреду начал метаться и говорить о какой-то женщине с крохотным ребенком, которую он ни за что, ни за что не хочет выдавать. Потом он бредил о матери, хотя ему сейчас уже пятьдесят. Мы спрашивали, как ее имя, трясли за плечо, а он молчал. Тогда мы пошли другим путем, мы стали допрашивать всех свидетелей, видевших его когда-либо. Они в большинстве молчали, хотя просидели по двадцать лет. Но там есть один замечательный человек, попавший в цитадель Лис, за участие в восстании и за пристрастие к авантюрам. Он мог бы для нас многое сделать, сейчас ему 37 лет.

— Как его величать? — сонно спросил Нерва.

— Георгий Кобылянский. Он подумал и вспомнил, что когда Яна восьмого и его жену взяли в Здаре Каменинской, то…

— Подождите, — в первый раз проявил нечто вроде волнения Нерва. — Я все понимаю. Тогда мы не следили за крепостью с реки. Черт возьми, я понимаю. Женщина с ребенком. Исчез ребенок, сын Яна восьмого, исчезло это проклятое знамя Бранибора.

— Да, Ваше Величество, Вы правы, — с грустью прошепелявил секретарь. — В Каменине порох, сын Яна восьмого, быть может, и есть тот девятый Ян. Горцы фанатичны и суеверны. Стоит там появиться сыну Яна со знаменем и все, все кончено. Проклятое волчье семя, проклятый род.

— А при чем этот Каска?

— Этот старик приехал, как я думаю, для того, чтобы найти этого сына и знамя. Если найдут — нам крышка. Восстание перекинется с Каменины на всю страну.

Нерва поднялся яростный, большой, как медведь, и не то сказал, не то прорычал:

— Черт возьми! Что говорит этот Каска? Ничего? Хорошо, законопатить его поглубже в каземат и не выпускать оттуда. Мы не дадим ему отыскать их. Он, наверное, один знает, куда они ушли?

— Нет, Ваше Величество. Четырнадцать лет назад за ребенком, как говорит Кобылянский, был послан слепой нищий. Тогда Каменина была покорна, а ребенок мал, и нищий не взял его. Теперь ему уже около двадцати лет, и Каменина бурлит. А где делся нищий — никто не знает. Может, уже умер, а может, и жив. От Каски нельзя добиться ничего. Если знает один Каска и не сможет разыскать, будучи в каземате, — это так и будет, если же жив нищий, то все кончено. Ребенок знамя сам по себе, и особенно в соединении с этой святой реликвией.

— Нет, не допустим. Каску беречь пуще глаза, допрашивать изредка — может, он и сломится. В Каменину гарнизон не вводить и сунуть им подачку — их древний герб, пусть на время утешатся. Простить долги, которые старше десяти лет. Хватит с них. Тюрьмы осмотреть, присматриваться к слепым нищим, поставить на ноги всю охранку и отыскать этого девятого Яна со знаменем во что бы то ни стало. Поняли? И старайтесь заигрывать с

чернью. Это пока, а затем можно будет посмотреть. Кобылянского выпустить и поставить на слежку, но не давать пока большого жалования — испортится. Если же будет ценен — держите при себе изо всех сил. Еще раз советую вам передать начальнику полиции и сыска, что он рискует головой, если в течение полугода не отыщет этого щенка. Скифы, волки! Они прячут свой помет, чтобы со временем показал зубы. Но мы пока еще правим, и руки у нас сильны. Пикеты на границе с Полонисой усилить и всех подозрительных осматривать. Ян девятый, Ян девятый, который по предсказанию должен смести нас. Но я его поймаю, я запру его в камеру и заставлю жрать собственный навоз от безумия. Они думают, что Нерва ослабел, но ведь слон только в сорок лет набирает полную силу. Мне сорок и я хочу увидеть, как мой будущий сын воцарится на твердом троне в спокойной стране. Да поможет нам Бог. Разработайте этот план поглубже, Вербер. Поняли?

Нерва после вспышки сразу как будто осунулся и уже довольно спокойно сказал:

— Ну что там у вас еще?

— Я хотел бы сказать, Ваше Величество, о Шуберте.

— В чем дело? Это о том безмозглом старикашке, который не отсидел в Золане, так, что ли?

— Так точно. Это очень опасный человек. Выйдя на свободу, он не унялся. Он смущает людей дерзкими речами. Слежка доложила, например, что сегодня на балу у Замойских он перепугал целое сборище поэтов дико убежденной речью о нашем будущем крахе.

— Так им и надо, — захохотал Нерва. — Эти людишки не стоят и ломаного гроша. Они пишут дурацкие стишки, над которыми смеются, потому что они избиты и навязли в зубах у всех, кроме них самих. Я бы всех их отдал за одного Шуберта, будь он на моей стороне. Это настоящая сила, и жаль, что нам пришлось ее сломать. Умница, хотя и дурак: слишком развязывает язык. Хватит о нем.

— Он очень опасен, Ваше Величество. Его надо немедля схватить и отправить в Золан.

— Вы много себе позволяете, Вербер, и я когда-нибудь вас повешу. Не дрожите, этот час еще далек. Но не приближайте его своими дурацкими рассуждениями, которые решительно никому не нужны. Не забудьте, что правитель — я, а вы подняты из навоза и уйдете в него. Поняли? — И уже примирительно добавил: — Будь вы на моем месте — вы со своими решениями довели бы страну до гибели в течение одного оборота солнца. В том-то и дело, что смотреть надо дальше, гораздо дальше, чем смотрите вы. Предположим, что мы посадим этого Шуберта опять в Золан. Он сдохнет там в один месяц, несомненно. Что дальше? Дальше начнется крик, что сатрапы (это вы и я) казнили лучшего поэта страны, замучили его в застенке. Чернь экспансивна и непостоянна. Начнут клеить подметные листы, сочинять дерзкие песни, и какой-нибудь фанатик в конце концов бросит клич, а сам постарается заколоть ножом пару верных нам людей. Зачем нам слыть мучителями, пусть он умрет спокойно. Но на язык ему, конечно, надо наступить. Золан не Золан, а предупреждение надо сделать, только осторожно, поняли?

— Он сегодня разговаривал с бакалавром университета Яном Варом. Это тот самый Вар, суть книжки которого я Вам изложил недавно и которая Вам изволила понравиться.

— Ага, с этим бакалавром. Это не страшно, он, видать, здоровый прохвост и лицемер, как и все они. Конечно, я не особенно склонен верить этим инородческим ученым. Как волка ни корми, а он в лес. Они все портятся под

конец или спиваются. Он уже послужил нам достаточно, а у молока портится вкус, когда с него снимут пенку и сливки. Он все ценное отдал, пора бы и прекратить на этом его научную карьеру.

— Рано, Ваше Величество. Ректор сказал, что он сейчас заканчивает новую книгу о старине и ожидается что-то хорошее.

— Ну, как знаете.

— Впрочем, Ваше Величество, сейчас его жизнь в опасности. Он повздорил с сыном магната Рингенау, и сегодня утром произойдет дуэль. Не прикажете ли прекратить ее — ведь это вещь запрещенная.

— Что вы, что вы! Я ничего не знаю. Чем я могу поручиться, что это не выдумка досужего ума? Пусть все свершится так, как хочет Бог. Книгу обработает за него в случае чего другой. Эта дуэль должна, слышите — должна окончиться плохо. Он не знает, быть может, что за убийство гвардейского офицера полагается Золан. Ну вот. А Рингенау за убийство назначить неделю домашнего ареста. Так-то будет лучше. Что дальше?

— Канис либерален со студентами. Донос педеля Зинна Плюнте. Этот Канис, хоть и следовало бы его звать скорее Азинусом, умеет ладить с этим беспокойным народом, и человек он беспринципный.

— Педеля за усердие перевести в штат Тайного Совета и после должной выучки выпустить филером. Все?

— Нет, господин. Еще дела епископа Крабста, пейзана из Жинского края Яна Коса, он же Ясинский, он же Ян Кривонос, он же Ян Черный Кинжал, прозвищ много, а душонка одна — мститель. И еще одно маленькое дельце.

— Ну-ну.

— Касательно студента университета Вольдемара Баги. Этот скот сегодня учинил дебош на улице, избил одноглазого и искалечил Фухтеля из полиции.

— Так чего же вы лезете ко мне с мелкими уголовными делами?

— В том-то и дело, что он учинил драку, когда его хотели взять. Он подал милостыню жене этого самого Яна Ясинского, он же Коса.

— Женщину взяли?

— Нет, упустили. Она исчезла, зато этот шельма схвачен. Ему дали полтора месяца тюрьмы.

— Мало, но раз уж сделано — быть посему. И все же он молодец, побить двоих здоровых парней это не шутка.

— Вы бы посмотрели, что это за силач!

— Вот-вот. Пусть теперь носит камни и использует эту силу как должно. А что там с Крабстом?

— Скандал вышел, Ваше Величество. Он пустился на мошенничество. Из сумм, данных церкви и университету, он хапнул треть. По справедливости, его бы следовало отправить на каторгу, лишив предварительно духовного звания.

— Нет, это нельзя — будут осложнения с церковью, себе дороже обойдется. Крабста оправдать, денег не взыскивать. К сему присовокупьте какую-нибудь красивую фразу и пустите по городу. Ну, например, дескать, Нерва сказал, что лучше оправдать сотню виновных, чем казнить одного невиновного. Это произведен эффект. Дальше. Это что, последнее дело? Прикажите подать шоколаду.

Взяв у лакея горячую чашку и прихлебывая шоколад, Нерва сказал, щурясь:

— Последнее — это о том самом бандите из Жины?

— Да.

— В чем там дело?

— Его уже пора удалить из жизни. Жду Вашего распоряжения.

Хитро прищурившись, Нерва спросил:

— Когда был последний допрос?

— Вчера.

— Ничего не сказал?

— По обыкновению.

— А сильный был допрос?

— С пристрастием. Он и сейчас в состоянии духа, близком к безумию, измучен до крайности.

— Гм, а что бы вы сказали, если бы объявить еще об одном допросе вечером?

— Напрасное дело.

— Как вы недогадливы, друг мой. Вообразите узника после допроса. Настроение страшное, хочется отдохнуть хоть немного или… умереть. Хоть самоубийством кончай.

— Тюремщик имеет скверную привычку оставлять веревку в камерах.

— Это очень скверная привычка. Вообразите состояние духа такого человека и вдруг такая находка… Вы еще не совсем потеряны для дела, Вербер, рад это заметить.

— Всегда готов служить Вашему Величеству.

— То-то. Если можно избежать казни, то почему бы не сделать этого, не мараясь лишний раз в крови. Слава богу, смертная казнь у нас явление редкое, случайное, нетипичное. Прощайте, Вербер.

Секретарь собрал бумаги и ушел, а Нерва, позевывая, отправился опять в залу с балдахином. Он был доволен собой. Прожженная бестия этот секретарь. Все сделано, и этого наследника со знаменем тоже отыщут. Весь розыск будет поднят на ноги. Жизнь уже не казалась Нерве такой противной. Надо будет жениться и иметь, наконец, наследников, могущих сохранить за родом страну. За окном заливались соловьи, мягкий полусвет проникал в спальню, и в нем лицо Миньоны Куртинелль не казалось уже таким опустившимся. Он смотрел на спящую глубокими хитрыми глазами. Она была все-таки соблазнительна, очень и очень соблазнительна. И ему вдруг захотелось посмотреть на ее тело. Одним жестом он откинул одеяло и, пораженный, замер: лунный свет сотворил чудо с раздавшимся за это время вширь и потерявшим упругость телом. Она была дьявольски, невероятно красива.

— Отстань, — проворчала проснувшаяся Миньона. Ей было холодно, хотелось спать и не было никакого расположения принимать его ласки. Но Нерва рассмеялся и, уже воспламененный, легко преодолел ее сопротивление и овладел ею.

Шестая глава

А в это самое время на другом конце города, в старом парке Замойских, вдалеке от дома, откуда разъезжались последние гости и где уже перестала греметь музыка, тоже заливались вовсю соловьи и легонько шептались кусты под порывами налетавшего ветерка. Усталые Ян и Ниса сидели на скамье и смотрели на реку, где творилось чудо игры волн и лунного света. Это был самый глухой и запущенный уголок парка. Деревья тут не постригались, нож садовника не выпалывал траву на дорожке, она вся заросла, кусты росли по обочинам как хотели и очень хорошо скрывали всякого, кто вздумал бы

забрести сюда. Над самой головой свешивались ветки сирени, благоухали, играли с ветром, мерцали каждым мокрым листом… И где-то невдалеке заливался на все лады, гремел окрыленно голос соловья, очевидно, очень старого и опытного. Пой, пой, соловей, греми сильнее! Тиорино-тиорино-ти-ти-ти-ти-тина-тин-тин-так-так-ти-а-тиа.

Небо от туч и от грусти чисто,
Дали под месяцем спят,
В сереньком свете мокрые листья
Пение птичье струят.
Ночь над землею раскинула тени,
Песней весенней объят
Весь утопающий в дымке сиреневой
Вешний взволнованный сад.

Пой, пой, соловей! Греми во весь голос! Хорошо, когда вот так — рука в руке и плечо к лечу. Налетит ветер, и вздрагивает тело вместе с сердцем. Пой, под ногами блестит трава, крошечные букашки, неизвестно почему не спящие, с любопытством смотрят на людей. Пой, блестит куст мясистого трилистника в стороне, и переливаются на нем капли, значит, эльфы пляшут над травой, играя радужными крылышками. Пой, вот тени от деревьев на траве, резкие черные, колеблющиеся — ведь всегда, когда цветет черемуха, дует ветер. Пой, пой — вон чуть выщербленный месяц повесил рожки среди ветвей. Пой, соловушка, — все отцветет, отлюбит, а ты пой. Диковинно растет трава, диковинно поют птицы — великое чудо творится на земле. Тропа к обрыву, как ее загадочная улыбка.

— Ян, что будет, когда не будет на свете нас?

— Все будет так же, любимая, так же будет цвести земля. Если бы нас могли увидеть с далекой звезды, то увидели бы через пять, десять, через миллион лет — свет медленно несется туда. Без конца и без края мир. За звездами и мы, стало быть, без конца без края, мы вечные. А здесь, здесь все так же хорошо, и здесь мы тоже вечные. Мы уйдем, придет другая жизнь. А разве это не хорошо? Мы носим в своей душе все: и звезды, и горе, и радость, и солнечный свет, и ту, пахнущую свежестью серую радость дождевых капель.

Он посмотрел на нее — она слушала его зачарованно, и лицо ее казалось диковинно красивым. Он снова посмотрел, она отвернула лицо в сторону. Этот безмолвный взгляд был единственным ответом.

Ян замолчал. Тогда она с тревогой обернулась в нему:

— Говори, говори, Ян, мне так хорошо слушать тебя.

Ян молчал. Она вдруг припала головой к его плечу и с отчаянием произнесла: «Ян, Ян, что же это завтра будет? И как грустно думать…

Она вдруг заплакала. Ян стоял растерявшийся, он не знал, как унять эти внезапные слезы, потом нежно погладил ее по голове и продолжал гладить до тех пор, пока плач не превратился во всхлипывания:

— Ян, я так боюсь, чтобы с тобой ничего не случилось. Что тогда делать? Ян, дорогой, не надо этой дуэли.

— Нет, надо, дорогая, мы слишком далеко зашли в ссоре. Ничего, все обойдется. Видишь, вон березка у забора. Наверно, ее еще молоденьким побегом глушил чертополох, а она вон какая выросла, и блестит, играет, листья зелененые и блестящие. И чертополох ей сейчас не страшен, даром что его так много у ее корней. Она живет и все. Так и тут, что бы ни вышло, как бы ни случилось, а мы будем жить. Бедная моя, хорошая моя. Ты меня жалеешь…

— Д-да.

— Ну вот и хорошо. Это самое лучшее. Когда я стану под шпагу, это будет моим лучшим воспоминанием.

Она отвернулась, долго смотрела на играющие со светом воды и вдруг сдавленно, мучительно произнесла:

— Ян, Я-ан, я не могу больше. Если завтра, не дай бог, случится что-нибудь — я умру от горя.

Она потянулась к нему всем телом, и он поцеловал ее в лоб, и поцелуй его был крепок и тверд, как у брата, целующего сестру.

— Хорошо, — ответила она. — Я еще никогда не желала бы так смерти этому Рингенау. Проклятый человек, животное.

— Однако ты, кажется, охотно танцевала сегодня с ним.

— Ну да, танцевала. Он неплохо танцует, но ты гораздо лучше.

— И это все. Ребенок ты мой, совсем-совсем глупенький.

— Я не глупенькая, ты действительно танцуешь лучше. Вот. И кроме того, ты хороший, а он дурной.

Ян почувствовал, что он стал гораздо старше нее. Как она наивна. Пойдет ли она с ним, не поддастся ли на уговоры отца и матери. Ведь это явный мезальянс для нее. Она еще совсем ребенок, а он… Ядовитая речь Шуберта ласково звучала у него в мозгу, он чувствовал себя отравленным.

Ниса вздрогнула, и тогда Ян сказал:

— Пойдем, становится холодно, ветер все свежее. Помнишь, как было душно вечером, видимо, будет гроза, да и тебя уже, наверное, ждут.

Он говорил это с тайной надеждой, что ходьба заглушит мысли, незаметно угнездившиеся на балу в его мозгу, и теперь ожившие. Она покорно поднялась и взяла его под руку. Ян смотрел на нее сбоку, чувствуя себя совсем больным от тревоги и любви. Они шли молча, прядь волос сбилась у Нисы на лоб, и глаза в глубине казались замкнутыми и погасшими. Как он сейчас любил ее, если бы она понимала, это дитя! Милая, тихая, добрая, — беззвучно шептали его губы. Становилось все холоднее и холоднее, тучки, пока еще маленькие и прозрачные, бежали по диску луны, а откуда-то с запада поднималась огромная тревожная туча, закрывая всю ту сторону неба. Они не спешили и все же путь показался им слишком коротким. Оба удивились, когда перед ними оказалась калитка, разделявшая парк и двор с фонтаном.

— Прощай, Ниса, — Ян взял ее за руку.

Она смотрела загадочно, и медленно отклонялась назад ее головка. А у Яна в груди поднималась целая буря противоречивых чувств — и радость, и боль, и тревога. И тогда он, не зная еще, что встретит, бросился к ней как пловец в воду. Их поцелуй был недолог, она почти сразу резко освободилась и пошла по аллейке к дому, где уже гасили огни. Она шла не оглядываясь, и скоро ее белое платье слилось с темнотой. Ушла.

А Ян стоял на месте, сам удивляясь собственной смелости, с широкой, если и не совсем умной, то, во всяком случае, очень и очень счастливой улыбкой на лице. Потом он сел (его не держали ноги), вцепившись в решетку высокой ограды, медленно начал говорить какие-то слова, которые относились не то к тучкам, не то к парку, не то к белой тени, исчезнувшей там, где пропадала во тьме аллея.

«Любимая, я никогда еще не любил тебя так. Уйдут народы, погаснут звезды, но вечно будут жить наши сердца. Вон наша березка стоит, блестя влажными листьями. Она живет, она вырастет в большое дерево. Разве может мне быть теперь страшна эта глупейшая дуэль, разве может мне быть страшным вообще что-нибудь. Нет, мне ничего не страшно, нет, прекрасна жизнь на земле, моя любимая».

Он бы еще долго шептал бессвязные слова, если бы его не привел в чувства стук дождевых капель, забарабанивших по листве. Тогда он огляделся, листья блестели от воды, жадно пила молодая трава, открыв огромные, жадные, как у молодых воробьев, клювики. Зеркало пруда невдалеке сломалось, побежало мелкой рябью, и небо уже не могло смотреться в него, по аллее уже текли струйки воды и вздымались от резких отвесных капель частые фонтанчики, низенькие и острые. Ян посмотрел еще раз на дом и припустился бежать по аллее. Под деревом, где было почти сухо, остановился и опять посмотрел на дом. Его не было видно, струи дождя хлестали по сирени, а Яну все казалось, что вдали исчезает ее белое платье.

Мы попрощались тихо у калитки,
И ты ушла, не поглядев назад,
А я стоял, промокший весь до нитки
И все смотрел в дождем залитый сад.
Ты в платье белом тихо удалялась,
Лежала на дорожке ночи тень.
И вся дождем омытая, сияла,
Благоухала мокрая сирень.

А дождь разошелся вовсю, он лил потоками, омытая сирень благоухала как букет и все живое в парке жадно пило-пило-пило теплую воду, лившуюся в таком изобилии.

* * *

Ян пришел домой весь мокрый и счастливый как никогда. Дождь прекратился на короткое мгновение, но потом забушевал с новой силой, когда Ян уже входил в комнату. Он с сожалением увидел, что с него текло как с гуся и на полу образовались потеки. «Завтра я уеду тайно, и значит, Анжелике придется убирать самой. Плохо выходит».

Он наскоро переоделся, положил на стол у постели несколько листов бумаги, придвинул чернила и сел к столу. Он хотел написать ей, но все это выходило так фальшиво, так ненужно, так непохоже на то, чудесное. Он встал и подошел к окну. За ним бушевал дождь, неслись длинные струи воды, падали на черную вскопанную землю. Из водосточной трубы, прямо из пасти дракона на ее конце лилась с гулом желтая молодая вода и падала в кадку, а через ее переполненные края лилась на землю. У самой стены дома образовалась от капель ложбинка, и в ней были видны белые камешки. Ян опять посмотрел в кадку и вспомнил, что там жила лягушка, невесть как туда попавшая. На дне было мало воды. Должно быть, солоно ей пришлось, пока не полил дождь. Теперь вода переполнила кадку, и лягушка уже, конечно, выбралась на волю. Яну все казалось родным, близким и тоже счастливым: и дом, и корешки книг, и сад, и струи воды, и лягушка, которая теперь свободна и прыгает где-нибудь по аллее. Он едва не расплакался от умиления. Все кругом улыбалось ему, и он тщательно искал, что бы это сделать хорошего и кому. Но кругом все спали, он тоже, как в полудреме, облокотился на подоконник и, радостный, стал смотреть в заплаканные окна. В голове у него стоял розовый туман, и он шептал что-то о неожиданно пришедшей первой любви. За окном падали потоки дождя, хлопала где-то отскочившая ставня, и музыка дождевых капель все сильнее и сильнее овладевала сердцем.

Любимая! Любимая!

Он стоял так довольно долго, потом вспомнил, что Паличка советовал ему хорошенько выспаться, но понял, что теперь это не удастся. Вспомнились слова Шуберта, и сейчас они прозвучали тревожно.

«А пойдет ли она с вами?»

Конечно, пойдет, сам себе ответил Ян и радостно засмеялся. Ему даже показалось странным, что Шуберт так говорил. Конечно же, конечно, она пойдет с ним, она будет с ним. И он в сердцах погрозил худому и высокому коричневому тому на полке, который сейчас почему-то олицетворял Шуберта.

Люди всего интереснее, когда они наедине сами с собой. Если бы кто-нибудь заглянул сейчас в комнату Яна — он наверное принял бы его за сумасшедшего. Ян то стоял, блаженно улыбаясь, то расхаживал по комнате, хмуря брови и грозя кому-то кулаком, то брал что-то невидимое в воздухе и нюхал, то шептал что-то, и при этом его лицо вдохновенно сияло. Он грезил, он галлюцинировал наяву.

Потом он уселся за стол, вывел крупными буквами «Завещание» и начал что-то писать, изредка встряхивая головой, чтобы убрать мешавшие волосы. Он писал такую грустную вещь, а лицо его между тем не хотело успокоиться. Он улыбался, подмигивал, грозил куда-то пальцем и опять писал. Какая-то крошечная частица его мозга писала сейчас, а другая ушла и смеялась в новом мире страстей и чувств. Вряд ли он сам сознавал с полной ясностью, что сейчас делает. Он только изредка обращал внимание на бумагу, стучал кулаком по столу и тут же опять улыбался. В голове его вставали приятные и неприятные картины, сценки, обрывки воспоминаний, просто мысли и мечты о будущем. Они боролись, но приятных было гораздо больше, они беспощадно изгнали все ядовитые слова Шуберта и затопили собой все. Как раз к этому моменту завещание было закончено. В это время пробило полчетвертого. «Боже, что я наделал? А советы Палички?» — подумал он. Он оставил перо и только тут почувствовал, как устал. Быстро раздевшись, он бросился на постель под холодную простыню и, ежась от прохлады, тихо и радостно засмеялся чему-то.

Спал он так же беспокойно, как и писал. Лицо его хмурилось по временам, он вздрагивал и открывал глаза, а потом глубже зарывал голову в подушки и, успев сообразить, что до утра еще далеко, опять засыпал. Только около пяти утра он заснул, наконец, тяжелым и крепким молодым сном.

* * *

Ему казалось, что он не успел поспать и пяти минут, когда его разбудили. Еще ничего не понимая, он приподнялся, сказал: «Сейчас, сейчас», — и улегся опять. Его потрясли сильнее и он, не открывая глаз, сказал совершенно осмысленно (это была его маленькая хитрость): «Я решил встать на час позднее, это никому не принесет вреда». Но кто-то был неумолим, Ян медленно выполз из облака сна и увидел Анжелику со свечкой.

— Пан, там вас спрашивают двое.

— Проси, — ответил он.

Анжелика ушла. Через некоторое время скрипнула дверь, и он увидел два лица: невыспавшееся и скорбное лицо Марчинского и улыбающуюся рожу румяного Палички.

— Ну, — сказал Паличка тоном доктора у постели больного, — как мы себя чувствуем?

— Да вот ничего. Кажется, немного побаливает голова.

— Плохо, идите примите ванну, потом хорошенько позавтракайте. Кстати, дайте и нам немного. У меня по утрам хороший аппетит.

— Капельку вина, — добавил Марчинский скучным тоном.

— Ну, ну, — сказал Паличка, — с утра хлестать. Вы видите, что он страдает. Ему дайте немного, а сами не пейте, ежели не чувствуете, что вам надо.

— Да нет, я не хочу. А почему «надо».

— А знаете, иногда сидит внутри у человека другой маленький человечек. Он перед опасностью вечно царапает по душе пальцем, и его обычно заливают вином: пей, дескать, скотина, и не рыпайся. Так вот, если он молчит, значит, и не трогайте его, нечего зря поить.

Анжелика принесла завтрак, вышла, и за дверью послышался ее голос, буркнувший довольно громко: «Шляются тут ни свет ни заря».

Ян смущенно извинился и добавил, что она очень добрая, вообще-то, старуха и только сейчас…

— Ладно, ладно, — захохотал Паличка, — правильно, нечего зря шляться. Ах, старуха, ах, языкатая, черт ее возьми совсем.

Оба секунданта принялись за еду, и когда Ян вошел после ванны (простого обливания из ведра на дворе), то увидел картину, которая не могла не понравиться. Вялый Марчинский сосал куриную ножку и прихлебывал вино из рюмки. Паличка же ел и пил с усиленной быстротой, и все булькало, скрежетало и кряхтело за его зубами в глотке. Он поел с ними и почувствовал себя совсем и совсем хорошо. Паличка с удовольствием смотрел на него и пошутил: «А что, бравые парни, побьем мы супостата?»

— Так точно, — ответил Ян. — Посмотрите-ка сей документ.

Паличка взял завещание, прочел, расписался за свидетелей и передал Марчинскому. Тот лениво подмахнул внизу какой-то крючок. Паличка взял у него бумагу и стал читать вполголоса: «Завещание. Я, Ян Вар, бакалавр университета в Свайнвессене, зная, что жизнь наша подвержена случайностям, и желая обеспечить за родными весь свой капитал, составил это завещание в присутствии свидетелей. (Паличка глубокомысленно улыбнулся и указал на себя и Марчинского.) Это значит, я-то свидетель и, значит, ручаюсь, документ, ишь ты… М-м-м. Находясь в здравом уме и твердой памяти… это очень хорошо, когда ручаешься, что у человека есть здравый ум и твердая память. У девяноста моих знакомых из ста этой роскоши не наблюдается… М-м-м. Что? Вы завещали сто золотых монастырю нашего тезки с нимбом на башке? Зачем? Кормить какого-нибудь толстого борова. Плюньте. Лучше раздайте эти деньги нищим, так-то оно будет полезнее, мой дорогой. Я зачеркиваю. Это тоже, это тоже. Ну зачем монастырям и церквям деньги. Они и так берут налог со всей нашей жизни, с рождения и смерти, крещения и женитьбы. А к этому еще и сотни праздников, которые вы за свою жизнь встречали. Так нельзя. С остальным вполне согласен… Перепишите, Ян.

В словах Палички чувствовались такое убеждение и такая безапелляционность, что Ян, сам невольно поддавшись его настроению, переписал завещание, приняв во внимание поправки Палички. Когда он заканчивал последнюю строчку, какой-то звук поразил его слух, звук, который он слышал уже давно, но на который не обращал внимания. Он сложил лист и поднялся с места. Паличка и Марчинский, уже давно одетые, ждали его. Когда он натягивал плащ, стекла опять тревожно зазудели, а еще через секунду донеслось: бум-м.

— А это еще что такое? — встревоженно спросил Ян, и Паличка равнодушно ответил:

— А черт его знает что. Это палит Золан — вещь небывалая… то ли салют какой, то ли (слышите выстрелы?)… Так вот, то ли салют, то ли сбежал какой-нибудь счастливец из 4-го равелина (там сидят самые важные), то ли они сошли с ума и начали расстреливать честных граждан не в подвалах Тайного Совета, а прямо во дворе Золана. Черт их знает, им все может взбрести в их тупую башку.

— А разве у нас существует расстрел? Ведь закон возбраняет смертную казнь над всеми, кто не вор и не убийца.

— Боже, какое блаженное неведение. Можно подумать, вы свалились с луны, — отвечал иронически Паличка. — Да у нас только крупные воры и убийцы могут быть прощены, а уж мелочи-то и надеяться не на что.

— Это арестант, — произнес Марчинский, и глаза его на мгновение вспыхнули. — Когда мы ехали по городу этот «бум-м» прожужжал нам уши. Рассказывают, что из 4-го равелина убежал какой-то смелый бандит и вот за ним сейчас охотятся. Должно быть, он не успел далеко убежать, и его так или иначе схватят.

— А пушка почему стреляет? — спросил Ян, оживившись.

— Дают знать. Крепость бьет тревогу.

— Неужто из-за одного узника стоило поднимать такую тревогу? — удивился Ян.

— Стоило, — сказал Марчинский, — вы ведь не слышали этих сигналов прежде? Нет? Ну так знайте, что это вещь крайне необычайная.

— Да, — задумчиво проговорил Паличка. — Уже восемнадцать лет как никому не удается бежать из Золана. Это, очевидно, какой-то необычайно смелый человек. Он бежал оттуда, откуда и червяк бы не вылез. Они бьют тревогу, слышите?

Снова прозвучало однотонное «бум-м» и зазудели комариным писком стекла.

Седьмая глава

Ночь, которую так тревожно переживал Ян, была гораздо менее приятна для другого человека на другом конце города. Этот человек лежал не на удобной кровати, а на охапке соломы на полу, и не в уютной комнате, а в камере 4-го равелина Золанской цитадели.

Уже четвертый месяц сидел здесь Ян Коса, съедаемый клопами, и все ждал, ждал чего-то, хотя надеяться ему было не на что. Он сделал многое за последние два года своей жизни. Он был в организации «длинных ножей» и отправил на тот свет, как выяснило следствие, около тридцати врагов. Они недосчитались и половины, и Ян был рад этому. Иначе его давно бы отправили на тот свет. Он укокошил барона Таннендорфа, он сжег весь хлеб в Жинском маентке самого Нервы, ограбил три почты, убил сборщика налогов — чего ему ждать. И в довершение, когда в Липицах вспыхнул бунт, его схватили как главаря. Все было бы хорошо, но обещавшие помощь хуторяне с Млатской долины в решающий момент струсили, не прислали помощь, предали бедняков в руки врага. Сволочи. А ведь они обязаны ему многим, он честно отдавал округе две трети добычи. Он знал, кто это сделал, знал, но сделать уже нельзя было ничего. А с каким бы он удовольствием рассчитался кое с кем из этих скотов. Теперь нельзя, теперь уже ничего не сделаешь, теперь жизнь кончена. За десятую часть этих преступлений грозила казнь, теперь вопрос только во времени. Это может случиться сейчас, а может и через месяц. Боже, лучше бы уж сейчас. Но они ждали, они требовали, чтобы он выдал «длинных ножей». Они считали их шайкой со страшным и наивным названием, а он знал, что это — свои простые парни, мужики, как он, и выдать их нельзя — нельзя ни за что.

Он лежал и скрипел зубами от ярости. Он не мог больше ходить, ноги делались ватными и не держали его. Восемь шагов вперед, восемь назад, от

параши у двери к правому углу у окна. Это страшное дело, еще хуже допросов. Он скоро опустился, его большое тело органически не выносило бездеятельности. Это ужасно. На допросах веселее, там на тебя кричат и ругаются, а ты отругиваешься. Там муки, которые трудно вытерпеть, не обезумев. Он не безумец, он вынес то, что многим было не под силу. Правда, последний допрос был труднее всего, они почти сломили его, они отступились именно тогда, когда он уже готов был оговорить — и других, и себя, — чтобы хоть на пять минут откупиться от мучений. Он чувствовал, что если допрос повторится, пока он не пришел в себя, тогда все кончено. Он не боялся мучений, он боялся оговорить себя. Этот омерзительный страх он испытывал впервые, и это было хуже всего. А тут еще он не знает ничего об Агате с маленьким Михасиком. Это дико, это ужасно. Ему впервые пришла в голову мысль броситься с парапета, когда поведут на допрос. Это трудно, но разве легче сделаться подлецом? Ах, как плохо. Бежать! Если бы можно было бежать, имея хоть один шанс из сотни, из тысячи. Но это невозможно, невозможно органически, отсюда выхода нет, и он конченый человек. Ах, если бы хоть день передышки. Тогда бы можно было опять уверить себя, что ты тверд. Он искренне верил в это. У него крепкое мужицкое тело, не то что тело какого-нибудь неженки и белоручки, никогда не видавшего крови и не чувствовавшего палки на своей спине. Он все вынесет, он выдержит все. Только бы один день, только бы день.

Он уже не лежал, а сидел, уставившись широко раскрытыми глазами в темноту. Эта темнота казалась ему, измученному до безумия человеку, полной кошмаров, диких и бессмысленных. Ему было страшно, как ребенку. С каких пор гнездился в душе человеческой этот страх? Не с того ли времени, когда предок его, одетый в шкуры, берег огонь в пещере? Только бы не погас, только бы не вкрались вместе с темнотою страшные хищники.

Чтобы избавиться от этих навязчивых мыслей, он опять прилег и попытался заснуть. Что нужно сделать для этого? Кажется, повторять какое-то слово. Какое? Ах, да: держаться-держаться. Нет, ничего не выходит. Сна нет. Держаться-держаться. Черт побери, держаться. Надо показать этим шлюхам, он… Агата, девочка моя, хоть ты помоги. Держаться-держаться. Ох, тяжело! Земля родимая, помоги. Зеленые луга, чистая Плынина, Глубокий брод, где купал коней, где потом, окровавленный, носился на конях с хлопцами и палил маентки, где был схвачен. Помоги, сын твой изнемогает. Тяжело умирать. Он ни о чем не жалеет, только бы нож в сальник этому продажному Зразе. Но умереть, солнца не видеть, землю не пахать конскими копытами. Конец. Держаться-держаться-держаться. И сон вдруг пришел, нежданно, свалил, навалился, лишил силы. Ему не удалось поспать долго. Сквозь редкую кисею сна он слышал, как щелкнул и с лязгом вылетел замок из пробоя, потом дверь открылась. Кто-то вошел и стал над ним. Он застонал и повернулся.

Тюремщик Обахт, необычайной силы кривоногий человек, довольно долго стоял над спящим и прислушивался. Тот стонал, скрипел зубами, метался во сне, и Обахт с удовольствием отметил это. Он ненавидел заключенных и с особой злобной радостью неудачника ставил им преграды в мелочах, тиранил всячески, измывался над ними с тупой злобой животного, получившего власть над умными людьми, которые в обычное время и на порог бы его не пустили. Исключение он, Обахт, делал для отпрыска древнейшего рода, четыре раза давшего магистров ордена, к Роланду фон Марцеллин, сидевшему в угловой башне в комфортной камере за заговор аристократов против Нервы. Было и другое исключение, неизвестный человек за номером, пугавший Обахта своей безумной страстностью и бешеным пафосом, с кото-

рым он уже десять лет регулярно кричал свои тирады, не надеясь, что их кто-либо услышит. Поговаривали… а, впрочем, об этом не стоило говорить.

Обахт быстро отвязал веревку, на которой он спускал пищу в четыре каменных мешка в башне святого Фомы, соединявшихся с миром только через эти дыры в потолке (там сидели, медленно сходя с ума, четверо самых опасных — опытные заговорщики, вожди прошлого восстания, для которых Нерва посчитал слишком большой милостью немедленную смертную казнь) и положил эту веревку у двери в таком положении, будто она случайно отвязалась и упала. (Нерва был умница, и Обахт восхищался им.) Потом он засветил каганец и только тогда растолкал спящего.

— Приготовься, — процедил он, — этой ночью за тобой придут. Это уже последний допрос.

Он помедлил, видя, что заключенный с трудом отрешается от сна и сонно моргает глазами, и повторил сказанное, потом прибавил:

— Учти, допрос будет с пристрастием. Высшая ступень. Это уже последний. Наутро или под вечер будет тебе крышка, если не окажешься сговорчивее. Тебе сделали милость, дали свет на эту ночь. Вот.

Он улыбнулся, видя, как сидящий человек, несмотря на все усилия, не смог сохранить на лице маску равнодушия, и добавил:

— Итак, допрос будет милосерден. Он, возможно, еще до казни избавит тебя от необходимости мучиться. Есть вода, свет и хлеб, прямо по-пански. Ты ведь хотел стать паном, холуй, сознайся в этом хоть теперь. Ну вот, можешь стать им. И все же я бы советовал тебе быть посговорчивее. Нет? Ну-ну. Оставайся, подумай маленько. За тобою зайдут через два часа.

Он вышел. Ян Коса в ужасе взметнулся на ноги и пробежал по камере несколько раз. Кончено, кончено. Ох, хотя бы смерть поскорее. Рассчитать силы, может, их хватит, чтобы умереть достойно. Нет, вот если бы удалось миновать охрану на стене и спрыгнуть вниз. Разбиться, ох, какое счастье!

Когда человек сам себе желает конца, он страшнее всего. Коса был сейчас именно таков. Он смотрел блуждающим взглядом, метался как затравленный из стороны в сторону, и тут его глаза остановились в одной точке, зрачки сузились до предела: он увидел веревку. Острая радость полоснула по сердцу: вот оно, избавление. Забыли, забыли веревку. И тут уж другая мысль, осторожная и холодная, трезво прокралась в голову и зашептала там: нет, это не нечаянно, это не может быть нечаянно. А дикая радость все говорила, заглушала другие мысли и толкала, толкала к веревке. Он поднял ее и машинально посмотрел вокруг, раздумывая, где бы ее укрепить. Крючка нигде не было, но над самой дверью чернел отдушник. Над дверью — это плохо, он может посмотреть в глазок. Снимут, откачают. Но раздумывать было некогда. Он поставил камень, служивший ему стулом, на попа, взлез на него, закинул веревку на отдушник и сделал на конце тугую петлю… Скорей, скорей. Он прислушался, тюремщик не отошел далеко, он в каких-нибудь пятнадцати шагах. Он может вернуться. Нет, он не вернется. Это задумано заранее. И вдруг в мозгу пронеслась шальная мысль. Он отогнал ее, она возвратилась: «А что если…» Он мотнул головой, опустил петлю пониже и, оттолкнув камень ногами, повис, болтаясь в воздухе, раскачиваясь, как гигантский маятник.

Окончание следует.

Публикация А. Верабья.



Редко бывает так, что ради стихов неизвестного поэта, к тому же впервые принесшего их в редакцию солидного журнала, отдел поэзии ломает длинную очередь на публикации, в которой немало и именитых авторов. Но слишком велико желание скорее поделиться открытием, представить читателям новую звезду, взошедшую на поэтическом небосклоне белорусской литературы. Имя ей — Михаил Пегасин. Ему всего 28 лет. Остается только гадать, откуда у молодого человека столько душевного опыта, зоркости и мастеровитости, которые обычно приходят с годами, и то – не к каждому. Удивительно и другое: Пегасин — офицер. Закончив Военную академию Республики Беларусь, он большую часть своего времени отдает службе. Кто служил, знает, что это такое: порой некогда письмо домой написать. Стихи же требуют абсолютного погружения в себя, в свой внутренний мир. Поэзия — ревнивая женщина, которой поэт должен принадлежать целиком. Иначе она уйдет.

Стихи Михаила Пегасина в лучшем смысле слова традиционны: четкий размер, точная рифма, повествование от первого лица. Но отсутствие формальных примет собственного стиля замечательно компенсируется тем, что составляет непременное условие настоящего стихотворения: живое дыхание, музыка, мысль. Именно этим поэт узнаваем, а узнаваемость — не есть ли признак стиля? Пегасин счастливо избежал пока еще модных в наше время постмодернистских трюкачеств, за которыми некоторые пытаются скрыть отсутствие таланта и вкуса. Он осторожен в выборе метафор, так как последние, даже при их внешней красоте, могут быть коварны. Иногда они походят на траву, заглушающую прекрасный цветок мысли. Все это как будто очевидно. И все-таки, говоря о поэзии Михаила Пегасина, лучше сказать так: в них ясно все и ничего. Потому что настоящая поэзия — всегда тайна.

Юрий Сапожков

МИХАИЛ ПЕГАСИН

Зову души послушный

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Возле цитадели над рекою
Я в былое перекину мост…

Ка́к они стояли здесь стеною,
Если камни плавились, как воск?

Здесь, средь раскаленного бетона,
Пламени, железа и свинца,
Ка́к они «…держали оборону…»?!
Ка́к они «…сражались до конца…»?!

Будь хоть трижды молодой и смелый, –
Там, где стонут стены крепостей,
Есть твоим возможностям пределы,
Человек из мяса и костей?!

И хранится память в мертвой груде
Кирпича, бетона и земли,
Как в огне стояли насмерть люди
Там, где даже камни – не смогли!

ОТКУДА ЭТО ВО МНЕ…

Откуда это во мне, откуда,
что, где бы ни был я — тут и там, —
меня тянуло везде и всюду
к каналам, набережным, мостам?
Но прибавляя не первый город
к уже оставленным городам,
я ощущаю сердечный холод
к вокзалам, станциям, поездам.

Я не люблю судить и не буду,
но, как сквозняк увлекает дым, —
меня тянуло везде и всюду
к сердцам доверчивым и простым.
Но лишь почувствую ложь — и сразу
гашу приветные маяки,
и подбираю пожестче фразы,
и ухожу, не подав руки.

Из атмосферы чужой и душной —
пусть без меня лицемерят там, —
спешу я, зову души послушный,
к каналам, набережным, мостам...

ПРО КЛОУНА, КОТОРОГО ЖАЛЬ

И праздник был. И праздника не стало.
Настала ночь дождливая за ним.
И клоун, одинокий и усталый,
С печального лица снимает грим.

Он смыл его почти наполовину,
Еще немного — смоет до конца, —
И станут различимыми морщины
И бледность некрасивого лица.

Но в этот миг никто не прослезится.
Смешно рыдать над участью шута!
Ну что с того, что грустью отразится
В его глазах гримерной пустота?

Ну что с того, что радости начальной
Сберечь не удается никому;
Что каждый день нас делает печальней?
Мы так привыкли к этому всему.

И клоун грусть поглубже в душу спрячет.
В сырой дали раздастся чей-то смех…

И только дождь в ночи о нем поплачет —
Единственный, кто плачет обо всех.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ Б. АХМАДУЛИНОЙ. 22 МАЯ 2008 г., МИНСК

Большой эпохи маленькая часть…
Какое небывалое везенье
Иметь судьбы капризной позволенье
Прийти сюда, билетом заручась,

И стать волхвом мгновения, когда,
Как музыка, в откашлявшемся зале
Слова стихов протяжно зазвучали
С торжественностью речи в час суда.

О, дивный звук! Ты — исповедь навзрыд
Эпохи, осененной вдохновеньем;
Слабеющей цепи последним звеньям
Все тяжелее сдерживать разрыв.

В безжалостной борьбе не на живот
С самой природой, будь она неладна,
Им нужно терпеливей, чем атлантам,
Держать свой неподъемный небосвод.

А я пришел погреться у огня,
Когда вокруг все холодно и сыро,
И смирну принести к ногам кумира,
Когда-то сотворившего меня.

…Но кончен бал. Успел в последний раз
Сомкнуть затвор расчетливый фотограф;
И легкий свет поэзии угас,
Пропав в нетерпеливом блеске глаз
Желавших получить ее автограф…

РАННИЙ СНЕГ

Что-то природа уснуть поспешила:
Средь октября, не дождавшись зимы,
Белую простынь себе постелила
На порыжевшее ложе земли.
Спрятала солнце — задернула шторы, —
И колыбельную ей зашептал
Ветер-иуда, тот самый, который
Клятву на верность апрелю давал...

* * *

Нет на свете начал без печати конца,
И восхода, чтоб вестью закатною не был.

Но зато есть на свете живые сердца!
И глаза — глубиною в апрельское небо.

Есть такие сердца! И такие глаза!
Будто звезды — ведут из холодного мрака;
Горячи — словно угли; чисты — как слеза;
И щедры — словно колос созревшего злака.

Есть такие глаза и такие сердца,
Пред которыми хочется встать на колени,
Не стесняясь признаний, не пряча лица
И не веря, что жизнь — череда заблуждений,

Что печальный исход у нее впереди;
Что природа привыкла плодить поколенья,
У которых — сердечная мышца в груди,
А глаза — равнодушные органы зренья...

В АВТОБУСЕ

Я собственный взгляд, словно дикую тварь, приручил,
И в рамках приличий по лицам скользить приучил.
Не долго-предолго буравить, пронзая насквозь,
А еле касаться — слегка, ненавязчиво, вскользь.
Так требуют правила. Правила требуют так.
На этом стоят этикет, воспитанье и такт.
Живи как угодно, будь горд, но в гордыне своей
Смущать окружающих пристальным взглядом не смей.
И я с отрешенностью бога взираю в окно…
Но краешком глаза на лица кошусь все равно.
И взгляд вылетает из клетки, и сам по себе
Парит над толпою и ищет кого-то в толпе.
«Ах, как же иные воспитанны», — думает он. —
Ну, хоть бы один засмотрелся, нарушив закон.
Чтоб в самую душу. И в самую радость! И в самую боль!
Куда проникают лишь малые дети и Бог…»
Так он размышляет и ждет, что сейчас, вот сейчас
Он встретится с тайным вниманием чьих-нибудь глаз.
Но взгляды покорны, никто не оспорит узды,
По лицам скользя, словно листья — по глади воды…

В АЛЬБОМ НОЯБРЮ

Опять за окном посветлели тона.
И кто-то — восторженно, кто-то — уныло
Промолвил: «Ну, вот и зима наступила».
Как будто когда-то кончалась она.

Проносятся годы, и жизнь напролет —
Метет, и коварно скользит мостовая.
И падают люди, идти уставая,
И вновь поднимаются против невзгод

С единой мечтой — чтобы ветер затих;
С единой надеждой — на май беззаботный,
На май, так похожий на сон мимолетный,
На хрупкое счастье, на молодость их…

ВОСПОМИНАНИЯ

Мы ничего не понимали — мы были юными тогда...
Но лязгнули армейские ворота —
и в нашем школьном лексиконе
«так точно» заменило «да»,
и изменилась жизнь бесповоротно.

Ломали нас через колено, в бараний скручивали рог,
а распрямив — опять через колено.
А мы домой писали письма, и в них читались между строк
творящиеся в душах перемены.

И мы о мамах вспоминали, да мамы были далеко.
И матерясь — по делу и без дела, —
мы рукавами гимнастерок стирали пот и молоко,
что на губах обсохнуть не успело.

Мы пели песни строевые, которых не было мрачней, —
унылые, похожие на стоны, —
и что бы ни было, терпели... до тех далеких лучших дней,
которые, мы верили, настанут.

Все это было так, как было, — и по-другому не могло.
Так будем благодарны этой школе.
Нам было поровну несладко и в равной мере тяжело —
и в этом справедливость нашей доли.

* * *

Вот будни мои — разновидность ареста
Вдали от большого манящего мира:
Квартира, автобус, рабочее место,
Рабочее место, автобус, квартира...

Глядится ли осень в холодные лужи,
Весна ли пророчит свои перемены —
На службу, со службы,
            на службу, со службы
Привычной дорогой спешу непременно.

Спешу, умножая свои достиженья,
Потраченным дням находить оправданье.
Как будто бы в этом — разгадка движенья
Бесчисленных судеб в кругу мирозданья.

ЖАННА МИЛАНОВИЧ

Он, Она и Ышка

Рассказ

ОН

«Ну и погодка нынче. Видимость ни к черту. Заколебала эта слякоть. И прогноз неутешительный. А ведь завтра в дорогу дальнюю. Надо не забыть пацанов из гаража простимулировать к празднику, машину они обслуживают неплохо. Новая секретарь умница. Знает, за что старается. Хорошую сумму помогла сэкономить на переносе корпоратива на второе число. И ей под елочку пару бумажек добавить надо. Так. Всех уже знаю, как поздравлю. Кроме Анки. А может, плюнуть на все и махнуть с ней на недельку в какой-нибудь Египет? Хлопотно. Да и ей выкручиваться придется. Что обычные женщины любят? Меха? Бриллианты? Но это не про нее. Она даже от денег как-то отказалась, гордая типа. А мне некогда фантазировать. Работать надо. Обстановка сейчас слишком нервная. Впрочем, как всегда в конце года. Ты, Евсей, сам себе Дед Мороз, крутись как хочешь. Добывай на хлебушек с икоркой. Похоже, с безналом засада вырисовывается. Упереться придется. Но дело развалить не позволю. Черт, а это еще что?»

Он надавил до упора обеими ногами на педали. Машину слегка тряхнуло. Удар слышен не был, но «это» как-то нелепо завалилось на бок и исчезло из видимости с левой стороны машины. «Неужели я попал?» — только и успел подумать он.

Евсей открыл дверь и увидел сидящую на полосатой разметке пешеходного перехода женщину. Встречные машины тоже остановились. Ситуация принимала оборот дорожного происшествия, что никак не входило в его планы. Но он ведь предусмотрительно сбавил газ, плавно проехал «лежачего полицейского». Как это могло случиться? Он шел по первой полосе, собираясь поворачивать на ближайшем перекрестке, и, очевидно, не заметил переходящую дорогу из-за автофургона, который двигался по крайней левой и уже почти удалился от этого места. Он ее пропустил, выходит? И откуда она возникла? А впереди, кажется, патрульная машина разворачивается. Не сбивал он эту горемычную! Может, она сама поскользнулась? Сейчас некогда выяснять.

Решение Евсей принял мгновенно. Открыл заднюю дверь и, подхватив под мышки легкую и, к его счастью, молчащую женщину, извиняясь, как никогда, усадил в машину. Быстро тронулся, не дав опомниться нечаянной пленнице. Свернув на ближайшую дворовую территорию, припарковался и только теперь смог чуть перевести дух. Он спросил: «С вами все в порядке, девушка?»

На него с перекошенным то ли от страха, то ли от боли лицом смотрела некрасивая и немолодая дама в жуткой шляпе, похожей на перевернутую мохнатую кастрюлю, бедной шубке из коричневого игрушечного меха, прижимающая к груди полупустую клетчатую хозяйственную сумку. И выразительно молчала. Может, немая? Или в шоке? Евсей попытался изобразить крайнюю

степень радости и благожелательности: «Простите, что так получилось. Я вас задел? Почему вы молчите? Испугались? Болит что-нибудь? Я ничего плохого не сделаю, клянусь». Пауза явно превышала его ожидания. И назад ведь не отвезешь, вдруг кто номер успел записать. Пропал день. В банк он явно не успевает. Да и хрен с ним. Тут бы разобраться.

Через минут пять выражение лица женщины приобрело некоторую осознанность. Она издала негромкий звук. «Ы-и-ы-ы-и…» И даже как будто бы улыбнулась. «Ы-и-ш-к-а». Евсей в упор рассматривал незнакомку. Лет под пятьдесят, не меньше. Признаков регулярного употребления не наблюдается, хотя не факт. Круглые светлые глаза, глупый рот, какой-то мужской нос. Естественна, без косметики, а морщин-то минимум. Да что ему ее красота? Не жениться же на ней после такого знакомства. Ышка какая-то.

Евсей не знал, как себя вести в подобном случае. Тупо улыбаться? Подумает, что дебил. Озабоченно хмуриться? Еще больше испугается. И он решил представиться: «Давайте познакомимся. Козлов Евсей Иванович. А вас как зовут?»

Женщина увела взгляд в сторону и по буквам, медленно, растягивая гласные, молвила: «Л-и-л-я». Внутри Евсея все облегченно вздохнуло: не немая. Но дефекты речи явные. Может, головой стукнулась и стала плохо слышать? Он начал вдруг говорить громко и четко, как врач-сурдолог: «Лилия. Какое красивое имя! (Блин, что я несу?) Как вы себя чувствуете? Ушиблись? Я, честное слово, не хотел! Ведь все нормально, правда?» Женщина вроде бы кивнула, но при этом как-то подозрительно поморщилась. Он молился про себя, чтобы ему это показалось. Ну почему именно сегодня? Он всегда так аккуратно старается миновать переходы с непредсказуемыми пешеходами. За весь свой немалый водительский стаж Евсей ни разу — тьфу-тьфу — не был в серьезных переделках. Умело превышал, грубо не нарушал, пару раз ему зад несильно рихтовали, один раз в кювет уходил, но, слава Богу, без последствий. А сегодня такое.

«Лиля! Мне очень срочно надо в одно место по работе, здесь недалеко и ненадолго. Можно, я отскочу, а вы пока в тепле посидите, музыку послушаете. А потом я вас домой отвезу, и поговорим обо всем? Идет?» Она посмотрела на него взглядом наивного зверька и промолчала. Расценив это молчание в свою пользу, Евсей поспешил в банк, на ходу набирая телефон заместителя управляющего и умоляя об экстренной аудиенции.

Евсей Иванович Козлов возвращался к своему припаркованному «Лексусу» размашистым шагом и при этом слегка переваливался утиной походкой, помогая себе идти отведенной рукой. Выше среднего роста, скорее крупногабаритный, чем полный, голубоглазый шатен с ухоженной бородкой в редких серебринках седины, просто одетый и дорого обутый, в неплохой физической форме и истинном добродушии. Сорокачетырехлетний успешный бизнесмен, владеющий стабильной фирмой по производству строительных материалов, любящий сын простых крестьянских родителей, живущих в пригороде областного центра, добившийся всего в жизни природным трудолюбием и цепким умом, убежденный холостяк и слегка компанейский парень, жил по совести и верил только в себя. Судьба распорядилась занести его в список не то чтобы любимчиков, но определенно симпатяг. Он сам иногда шутил на тему своей безупречности — положителен до безобразия. Разве что многолетняя привычка курить и редкие попытки избавиться от этой зависимости добавляли к портрету Евсея черты еще большей мужественности.

Он подошел к машине и обомлел. На заднем сиденьи никого не было видно. Закрыл же эту Ышку, мать ее, никуда не могла сбежать за пятнадцать минут, которые он провел в банке. Но, открывая машину, Евсей в очередной раз

чертыхнулся про себя. Конечно! Все правильно. На черном кожаном сидении лежала, свернувшись в бублик, и, кажется, спала свалившаяся на его голову мелкая женщина. «Что теперь с ней делать? Надо будить. Или не буду пока. Вот какая каверза случилась! А если у нее дома нет?» Долго думать про «а если» Козлов не любил. Конкретная ситуация требовала конкретного решения. Он негромко сказал: «Лиля! Проснитесь, пожалуйста. Я уже вернулся».

Она не подхватилась, а медленно приняла вертикальное положение, сонно хлопая веками с бесцветными ресницами. Может, спать на заднем сидении в машине ее привычное занятие? Затем поморщилась, протянула, показывая, одну варежку и почему-то сказала: «Н-о-г-а». Евсей понял, что быстро отделаться от Лилии не получится. Ладно, варежку купить, — а что с ногой делать?

«Болит нога? Какая нога? (Какая разница, ты же не врач.) Ничего. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Не волнуйтесь, Лилия», — с этими словами он достал телефон.

Листая записную книжку, Евсей соображал, как поступить. Сам он к медикам практически не обращался, знакомых тоже не было. Что обычно люди делают в подобных случаях? «Скорую» вызывают или в поликлинику бредут? А ведь он как бы виноват в случившемся. Если не бросил бедную женщину — помогай.

Так. Вот телефон администратора частного медицинского центра, где он весной консультировался по поводу одной деликатной проблемы. Чудесно, это недалеко отсюда. «Алло, Мариночка? Здравствуйте, с наступающим. Спасибо, приятно, что узнали. Я тут хотел к вам заскочить на секундочку. Да ничего серьезного, надеюсь. Ладушки, через пять минут буду».

По дороге Евсей размышлял о случившемся. Все-таки попал. Как поведет себя эта незнакомка? Хорошо бы, чтоб ничего серьезного с ее ногой не было. Денег дам, сколько скажет. Подъехали к стеклянному кубу клиники с обильно украшенной новогодней иллюминацией вывеской. Начинает темнеть, надо позвонить в офис, вряд ли вернуться сегодня туда получится. Евсей дал указания секретарю и поговорил минуту с главбухом. Все это время Лиля молчала. А когда увидела множество сверкающих огней, почти по-детски уставилась на гирлянды и произнесла: «Ы-и-ш-к-а».

«Лиля, вы пока подождите в машине, я разузнаю. Идет?» Он уже начал привыкать к ее молчаливому согласию. Захватив из бардачка дежурную шоколадку, Евсей придал походке деловитости и двинул в здание. За стойкой среди трех девушек не сразу различил ему нужную, они какие-то одинаковые в белоснежных халатиках и шапочках, украшенных мишурой, — снегурочки, да и только. На ходу сочиняя про дальнюю родственницу из бедной деревни, которая повредила ногу, Евсей с надеждой вглядывался в искусно накрашенные глаза Мариночки. Но она огорчила его, мило улыбаясь, поглядывая на экран ЖКИ-монитора и порхая по клавиатуре красивыми длинными пальцами с сюрреалистическим маникюром:

«К сожалению, у нас из хирургов консультируют в основном узкие специалисты — косметолог, проктолог, стоматолог. Вам, похоже, нужен обычный травматолог».

На многозначительную просьбу «ну, сделайте что-нибудь, я очень прошу и в долгу не останусь» администратор выдала такой вежливый отказ из серии высшего профессионального пилотажа, что стоящий рядом импозантный араб подозрительно уставился на Козлова, как будто понял смысл их беседы.

Выйдя на крыльцо, Евсей от волнения закурил. Что теперь? Ехать в городскую больницу и тащить в приемный покой Лилю, выдавая себя за участли-

вого переводчика, — перспективка еще та. А вдруг она расскажет, как все приключилось? Надо подумать. Глянул на часы. Половина пятого. Ну что ж. Звонок другу? Он некоторое время смотрел на экран телефона в легком замешательстве, а потом нажал «yes» напротив имени «Анка». Она, наверное, еще на работе. Что-то долго трубу не берет. Не хватало еще не дозвониться. Евсей выбросил окурок в сезонно пустующий бетонный вазон, похожий на урну. Потом попробовал обмануться, так, чтобы зажмурить глаза, потом, раз, взглянуть на свою машину — а на заднем сидении никого. Ну, типа не приключалось с ним ничего. Но — не в кино. Темный силуэт тетеньки не мог исчезнуть, как бы этого ни хотелось.

Анка не отвечала. Евсей взгрустнул и побрел назад к машине.

«Не получилось тут, Лиля. Надо немного подождать. Как нога, не легче? Ишь, как…» В ответ женщина как-то заерзала и вдруг громче обычного произнесла: «Ы-и-ы-и-ш-к-а-к». А потом тихонько засмеялась, закрывая рот широкой короткопалой ладошкой. Так вот что это значит. Поговорка у нее такая. В ответ Евсей тоже попробовал выдавить из себя подобие смеха. Ситуация — действительно обхохочешься. Только бы не до слез.

Вдруг зазвонил телефон. Он схватился за мобильник, как за конец спасательного каната. Но это был его начальник охраны.

«Да, Вадим. Нет. Не надо. Послезавтра решим. Не спеши. Какой еще Пяткин? Я тебе ничего не обещал. Ты что, не знаешь, сокращаться будем, а ты о каких-то левых знакомых печешься? Закрывайтесь — и по домам, к семьям. Все. С праздником». Он не заметил, как перешел на повышенный тон, что с ним редко случалось. Подустал, что ли? И где эта женщина, которая единственная могла ему сейчас помочь? Наверное. А может, все-таки в больницу?

Пока Евсей томился в ожидании, Лиля разглядывала и теребила свою варежку, лишь однажды шумно вздохнув. О чем она думает? Кто ее ждет? Спрашивать не хотелось.

ОНА

Она сидела в коридоре поликлиники и ожидала приема у гинеколога. Повезло взять талон перед праздниками. Что ждет ее в канун Рождества? Волноваться не было сил. Так вымоталась за последние две недели. Напротив читала глянцевый журнал молодая беременная с круглым животиком в спортивном костюме. Еще две женщины разного возраста думали о своем. Анна достала мобильный телефон и отключила звук. Непринятых звонков не было. А она все еще ждала, что обозначится любимый номер. Может, он уехал куда-нибудь? Нет, не ждать. Ведь она уже все решила для себя.

Половина пятого. Подошла ее очередь. Ничего, все будет хорошо. Ей ведь теперь ничего не страшно? Она слишком взрослая женщина.

Заходя в кабинет, поздоровалась и увидела незнакомого врача — неудачно закрасившую в желтый цвет седину пожилую даму в узких очках, которая буркнула в ответ что-то, не поднимая головы от заполняемой карточки.

— Что у вас?

— Задержка. Чуть больше месяца. Жалоб на самочувствие нет.

— Рожали? Сколько раз? В каком году?

— Один. Сыну девятнадцать.

— Половой жизнью живете регулярно? С какого возраста?

— При чем здесь это?

— Женщина, я здесь спрашиваю. Аборты были?

— Да. Один, то есть два.

— ???

— Один вакуум и после него чистка.

— Тесты делали?

— Да, на прошлой неделе.

— И что?

— Я не поняла, по-моему, отрицательный. Но, может, я время прозевала. Через пятнадцать минут еле заметная полоска вторая вроде бы была. Но я не уверена.

— Раздевайтесь. Обувь оставляйте здесь, вещи за ширмой.

Она поняла, что сейчас реально волнуется. Вид кресла всегда приводил ее в такое состояние. Гинеколог разворачивала комплект зеркал, и предстоящее вторжение в ее плоть блестящего металла прибавило сердцебиения. Анна инстинктивно вжалась в твердую поверхность. Что там?

— У меня в этом году уже были сбои с циклом. Весной.

— Какие препараты принимали? К врачу обращались?

— Нет, я думала, что это климакс начинается.

— Думала она. Как предохраняетесь?

— Как же можно предохраняться от любимого человека?

— Так, вставайте. Матка немного увеличена. На УЗИ талон давать? Беременность сохранять будете?

От этих слов Анна чуть не потеряла сознание. Какая беременность? У нее? Только бы не расплакаться перед этой злой докторицей. Жутко захотелось курить. Она стала нервно одеваться, путаясь в колготках. Выходя из кабинета, забыла даже попрощаться. А доктор, уставшая от сегодняшнего приема и затурканная своими заботами без года пенсионерка, закрывая карточку, подумала, что только еще одних старческих родов ей на участке не хватало. С ума все посходили, что ли? Кризис, а они рожать, дурочки.

…Евсей в десятый раз нажал на кнопку вызова. Наконец-то! «Алло! Ну, привет! Как я рад тебя слышать! (И это была правда.) Ты где? Зачем в поликлинике, заболела, что ли? А, хорошо, что хорошо. Да никуда я не пропадал, работаю. А ты как? Слушай, Аннета…» Секундная пауза с тенью вечности повисла между сотовыми телефонами. Он понял, что непроизвольно назвал ее самым ласковым, слишком интимным именем. «Да, угадала. Мне нужна твоя помощь».

…Анна пыталась попасть в рукава дубленки в холле поликлиники, находясь в состоянии полного эмоционального краха. Это невозможно. И что теперь будет? Перекладывая телефон из сумки в карман, она ощутила вибрацию и решила пока не отвечать, кто бы там ни был. Но взглянув все-таки на высвеченный номер, невольно прислонилась к стене. Он? Почему? Неужели простое совпадение? Без волшебства?

Она собралась, как перед прыжком через пропасть. Не выдать себя ни одной ноткой в голосе. Все потом. «Да! Привет, пропажа. Не на работе, к врачу ходила. Все хорошо. Случилось чего? Тебе? Моя? Да трезв ли ты, Козлов? (Зачем я так с ним?) Шучу. Прямо сейчас? Смотри, не вздумай меня разыгрывать, я сама сегодня могу удивить страшно. Ладно, я до проспекта доеду, ближе будет. Лети, счастливый ты мой!»

Эта встреча не входила в ее планы на вечер, все-таки сочельник. Дома надо хотя бы курицу в духовку засунуть. Часам к девяти все соберутся. Но как она могла ему отказать и не встретиться именно сегодня? Мистика какая-то.

…Евсей злился на красные светофоры, на пробку у поворота на мост. «Сейчас, мы тут девушку одну подхватим, она нам поможет. Лиля, не гру-

стите, все будет хорошо». А еще он злился на себя за то, что за последнюю суетливую неделю не нашел времени на телефонный звонок дорогому человеку. Что бы он ей сказал? То, что некогда, как никогда? То, что их жизненные пути обречены на параллельность? То, что давно решил не менять ничего в своей судьбе? Или все-таки боялся в сотый раз услышать ее слова о глубоком чувстве? Она его любит. А он просто слишком хорошо относится к этой женщине. Но что-то внутри хрустнуло, как будто душа наступила на битое стекло. Анка другая. Иначе почему так давно он не получал короткую SMS-ку «I love you»?

По радио глубокий мужской голос пел красивую песню: «Но ведь она не твоя-а-а…» Евсей поменял волну. «…водитель с места происшествия скрылся. За прошедшие сутки в городе произошло…» — «Сговорились они, что ли?» — Козлов выключил приемник. Не стоит сейчас заниматься самокопанием. Надо с Лилей разобраться. Как хорошо, что она предпочитает помалкивать. Жалкая она вся. Хотя какая ему разница? А если бы под колеса к нему молодка симпатичная сиганула? Ага, обрадовался бы до икоты. Дурень ты, Евсеище. Надейся, чтобы Волков на работе был.

Он припарковался возле стоящей на остановке Анки, юркнувшей на переднее сидение и сбросившей сразу капюшон с мокрой опушкой.

«Привет. Давно ждешь? Вот погодка! Снег — и тот непонятно какой. С Рождеством тебя, подруга». Анна, снимая узкие блестящие перчатки, старалась не смотреть на него: «Тебя тоже. Ну, колись, что за срочность? У меня не очень много времени». А женщину на заднем сидении — как будто и не заметила.

Евсей не знал, с чего начать. Врать не было смысла. «Я хотел твоего Волкова напрячь», — сразу и выпалил. А потом кратко рассказал про все.

Муж Анки — совсем киношное совпадение — работал именно хирургом в обыкновенной районной поликлинике. Ирония судьбы. Кто, как не Анна, мог разрешить непростую ситуацию?

«А если бы мой Волков был гинекологом?» — она понимала, что ляпнула со зла. И оглянулась, чтобы посмотреть на несчастную.

Лиля сидела тихонько, как застигнутая врасплох мышь в углу кладовки. Мужчина и его дама на минуту замолчали. Стеклоочистители часто слизывали со стекла атмосферные осадки. Анка достала свой телефон. «Алло, это я. Все нормально. Слушай, я понимаю, что у тебя свои пациенты, но надо помочь человеку. Сейчас к тебе приедет один… — тут она так посмотрела на Евсея, что он боковым зрением просек смысл этого сокрушительного взгляда. — То есть, двое. Он бородатый такой, пузатенький. Его тетя ногу подвернула. Откуда я знаю, как? Да неважно, просто он мой сотрудник и очень хороший специалист. Да. Не волнуйся, я буду дома. Жду к ужину. Ромка обещал быть не поздно. Мама не приедет, она в костеле на богослужении. Все, отбой».

Закончив разговор, Анна достала носовой платок и начала в него шмыгать носом, изображая начало насморка, чтобы как-то занять себя и не расплакаться в голос на груди своего утеса-великана, как иногда обзывала Евсея. «Ничего не объясняй. Волков посмотрит. Как вас зовут, простите? (Зачем ей знать имя этой замухрышки?) Подвези меня ближе к дому. Адрес помнишь? Спасибо — много. А свидание — в самый раз».

Высадив Анну у подъезда панельной девятиэтажки, Козлов умудрился поцеловать ее почти в ухо, так она вдруг заторопилась. Духи она поменяла, что ли?

Евсей мчал как на пожар. Скоро шесть вечера, и так три часа неизвестно кого в машине по городу катает. Его домогались по телефону все кому не лень — сестра, наказавшая привезти для мамы лекарство, пропавшее в

их аптеках, компаньон по бизнесу, решивший поздравить и заодно пробить про ситуацию на рынке их сектора, секретарша, уволенная недавно по причине переезда на ПМЖ, застрявшая на чемоданах и скучающая по прежнему человечному начальнику, неизвестно откуда взявшийся однокурсник, зачем-то зовущий в баню. Евсей почти уже было рассвирепел, но потом просто отключил трубу и остановился возле старенького здания нужного ему медучреждения.

Открывая дверь машины, он подал руку Лиле и хотел было подхватить ее, но вовремя опомнился. Тем более что она сама прекрасно хромала, опираясь на него. До кабинета доковыляли быстро. Помогая снять шубку из чебурашки, Евсей обратил внимание, как стесняется, волнуется и кукожится его новая знакомая. Хорошо, что возле кабинета почти никого нет, только пара подростков гыгыкающих да бодрая на вид старушенция. Извинившись и не дав им опомниться, Евсей открыл дверь и быстро прошмыгнул внутрь, чтобы попросить доктора о приеме:

«Здравствуйте, господин Волков. Вам звонили. Можно?» На него смотрел в упор худощавый очкарик весьма приятной наружности с бодрой щеточкой усов под носом. «А он не страшный, этот Волков. Скорее Печкин из мультика», — подумал Козлов. «Да, да. Заходите», — и встал, чтобы помочь избежать лишних вопросов ожидающих в очереди людей.

ЫШКА

Лиля не отпускала свой клетчатый «редикюль». Убогая шапка сбилась набок. Она прошаркала в кабинет, поддерживаемая заботливым «дядей», попробовала что-то приветственно промычать и была быстро усажена на кушетку. Она понимала, что все за нее скажет этот похожий на Деда Мороза мужчина, неизвестно зачем подобравший ее на улице. Ну, шлепнулась, споткнувшись на ровном месте. С кем не бывает? А тут машина богатая останавливается, а из нее — он. Вот и ботинок стоптанный снять помогает. Добрый. Варежку жалко, потеряла, когда теперь свяжет?

Доктор взялся за ее ногу, потрогал, покрутил. Она инстинктивно дернулась и тихонько поныла, болит все-таки.

«Подвернули, говорите? Припухлость незначительная. Подвижность сустава в норме. Скорее всего, растяжение, но на всякий случай сделаем рентген. Не думаю, что перелом, хотя кости лодыжек хрупкие».

Евсей чуть было не заулыбался от радости: «Ой, как хорошо, доктор. Вы себе не представляете. Куда нам сбегать? Мы пулей». — «Можно просто пешком. В левом крыле на первом этаже, найдете. Вот направление. И не спешите, я до восьми буду».

Когда колоритная парочка удалилась, Волков задумчиво потер переносицу, приподняв очки. Что-то его кольнуло.

Лиля терпеливо тягалась с Евсеем по этажам. Он ни о чем не спрашивал. Она тоже. Сказал ведь, что отвезет домой. Вот только в туалет приспичило. «М-м-н-е-н-н-н…» — Козлов понял про это и подвел женщину к двери с треугольником бедрами вниз. И самому в соседнюю, с мужским обозначением, зайти не повредит.

Ожидая Лилю, набрал Анку: «Привет. Все в порядке. Нашел легко. А твой — молодец. Да это я ни к чему. Когда увидимся? Звякнешь».

Вернувшись в кабинет, Козлов протянул врачу темный квадрат снимка, уже почему-то уверенный в благополучном исходе. Тот бегло взглянул на

просвет: «Как я и предполагал. Кости целы. Тугую повязку я сейчас наложу, холод и покой по возможности. Мазь в аптеке можете купить вот эту. И банальный анальгин». И уже Лиле: «Ногу освободите, пожалуйста».

Пока он ловко крутил восьмерку, Евсей, ликуя в душе, рассыпался в благодарностях: «Спасибо огромное, очень вам признательны. Вы себе не представляете, как мы рады. С наступающими праздниками. Здоровья вам и вашим близким».

Волков вдруг посмотрел на Евсея поверх очков и некстати спросил: «Ну, а как моя Анна?»

Евсей чуть было не оторопел: «В смысле???» Но выдержал взгляд с железобетонным хладнокровием. «Я в смысле успехов на ниве стандартизации. Она в последнее время жутко устает, командировки участились. Коллектив-то в основном женский. Она всегда вперед рвется, безотказная». Евсей про себя изысканно ругнулся, для пущей важности надул щеки и выдал: «А, успехами нашими интересуетесь? Работаем в поте лица, стандартизируем, качество улучшать не успеваем. Стандарты, понимаете ли, они так и норовят измениться. Мы вообще-то с вашей женой в разных отделах, я — в аналитическом. Но если есть пожелание меньше командировывать — поговорю с кем надо, не вопрос».

Все это время молчавшая Лиля заканючила, порываясь вон и хватая «дядю» за руки. Своевременно, а не то занесло бы Евсея не в ту степь. «Еще раз благодарю, доктор. Мы вас тут долго мучаем, пора уж. А про Анну Сергеевну я не забуду, позабочусь». — «И вам — не хворать. Ногу постарайтесь не нагружать. Больничный не предлагаю, это по месту жительства. Всего доброго».

Возвращаясь к машине с Лилей под руку, Евсей нес всякую чушь типа «вот и все, моя дорогая тетушка, все хорошо, потерпи, милая и т. п.», а сам думал: «Волчара. Просек или случайно? Щупальца раскинул. Мне Анкины командировки тоже не по душе. И я тут ни при чем. Ну, встречал ее пару раз, с поезда на часок ко мне заскочит — и все. Да ладно, проехали. Теперь отвезти Лилю, и — свободен».

А вечер накануне Рождества только начинался. Погода опять поменялась. Вместо серой дождливой взвеси ветер швырял хлопья мокрого снега, и они, словно совокупляясь, липли друг к другу и сочно плюхались вокруг. «Циклоны, осадки. Скорее бы домой, поужинаю — и спать. День выдался волнительный». Евсей думал о сегодняшних приключениях как о досадном недоразумении, которое вот-вот закончится.

Лиля уселась на сидении уже не так робко. Она освоилась внутри «Лексуса», кататься по городу на такой машине ей понравилось. Тепло. Хорошо. А нога заживет. Долго объясняла в силу речевых особенностей свой домашний адрес. Бородатый дядечка прикинул, что это рядом с тем злополучным пешеходным переходом, и порулил, включив диск с непонятной музыкой. Красиво.

Проезжая мимо большого магазина, Евсей решил сбегать за кое-чем. «Ишь, как метет. Зима. Я ненадолго, Лиля». Он понял, что эта поговорка стала чем-то вроде пароля доверия между ним и наивной женщиной.

В супермаркете людей — не протолкнуться. Все катят полные тележки с предпраздничной провизией. Козлов по-быстрому затарился. «Так. Сыр, сок, шоколад, шампанское. Коробку конфет с пьяной вишней. Палочку сыровяленой, сетку мандаринов. Торт брать? Нет, не стоит. Лучше кекс в яркой коробке. Себе хлеб белый не забыть». Повезло в кассу с очередью из двух человек пристроиться. И пока объемная дама в бордовом кожаном пальто, похожая на уютный мягкий диван, выставляла свои бесконечные покупки, Евсей сооб-

ражал, чем еще порадовать Ышку. Цветы. Конечно. Он купит ей большую белую лилию в целлофановом облаке. Самодовольно хмыкнул — эстет, блин. Все. Бегом в машину. Она ждет.

Лиля смотрела на людей, входящих и выходящих из сверкающего рекламой нового дорогого магазина, в который она однажды забрела из любопытства. Там всего так много, что ей не понравилось. Булочки по цене батона, мясо без костей. На крыльцо выкатился Евсей с пакетом и букетом. Наверное, той длинноволосой красавице купил к празднику.

Когда же со словами «Лиля, это — вам» он вручил белоснежное чудо ей, удивленная женщина растрогалась до щекотки в носу. Ишь как. Когда ей последний раз дарили цветы? На юбилей лет шесть назад начальник цеха розовые гвоздики да сирень соседка с дачи привозила к ее прошлому дню рождения. Лиля так запуталась в непослушных ее языку долгих согласных «м-м-м», «н-н-н», «с-с-с», что Евсей поспешил на помощь. «Не стоит благодарности. Я рад, что вам понравилось».

Салон заполнился резким ароматом, и Козлов вспомнил, что Анка как-то говорила ему про свою нелюбовь к этим цветам исключительно из-за пахучести. Их «бесцветочный роман» начался с легкого недоразумения в тему. Евсей приперся на первое свидание с длинными красными розами, а Анна в смятении не знала, что с ними делать. Мол, я же не балерина, как я домой появлюсь? И убедила забрать назад, купив его на обещание полюбоваться подаренным букетом в интерьере холостяцкого жилища. Он так и сделал. А через пять дней, впервые будучи у него в гостях и обрывая лепестки с бодреньких еще роз, она долго рассказывала что-то про срезанные цветы, умирающую красоту, гербарий и прочее и попросила подарить ей такие же розы в день их прощальной встречи, юмористка.

Показались ряды пятиэтажек того квартала, где на переходе он «познакомился» с Лилей. Она зажестикулировала, указывая дорогу. Подъехали к ее дому постройки второй половины прошлого века. Евсей — с надеждой побыстрее отвести хромоножку и сдать ее домочадцам. Лиля — с надеждой угостить доброго человека чаем с печеньем. Пока поднимались на четвертый этаж, Козлов завел разговор на предмет ее работы. И не удивился, узнав, что Лиле после выходных надо на какую-то картонную фабрику. Не желая грузиться проблемами вперед — что-нибудь придумаем, — он ожидал, пока она откроет обитую в ромбы коричневую дверь, за которой было тихо.

В крохотной квартирке, не помнящей ремонта и меблированной тоже давно и бедно, Лиля жила одна. Она очень хотела, чтобы мужчина не сбежал сию минуту, поставив пакет на стол, покрытый древней клеенчатой скатертью в крупные ромашки. Евсей прочувствовал настроение «спасенной» в силу врожденной интеллигентности. Лиля заглянула ему в глаза так просительно, что сбежать сразу было бы верхом свинства. «Ч-а-а-ю, а?» — она засуетилась на четырехметровой территории кухни.

Евсей вернулся в прихожую, снял куртку и огляделся. В единственной узкой комнате, как в музее далекой эпохи, стояли немногочисленные предметы — диван с полированными подлокотниками возле висящего на стене плюшевого коврика с изображением оленя в лесу, высокая кровать с никелированными билками и горкой подушек под «фатой» гардинной покрышки, сервант с праздничной посудой за стеклом и парой стеклянных лебедей, черный пластиковый куб телевизора на тумбочке у окна, настенные часы в форме домика с гирями-шишками на цепочках. Через двадцать минут из окошка высунется пластмассовая кукушка и начнет верещать про время. Похожая обстановка была у его друга детства, Сереги. Да, кажется, даже циновка на

полу с закрученными краями с тех времен. Но воспоминания прервал зов хозяйки, и он двинул на кухоньку.

Лиля поставила чайник на газовую плиту и включила музыку. Из допотопного, засаленного китайского однокассетника зазвучала песня знаменитой примадонны: «Надо бы, надо бы, надо бы остановиться, но не могу, не могу, не могу-у-у…» — «Не могу и не хочу», — подпелось само. Евсей присел на расшатанную табуретку и только сейчас заметил на подоконнике клетку с канарейкой. Маленькая птица ярко-лимонного цвета сновала внутри и радостно заливалась. «А у вас, Лиля, птица-певица живет! Здорово!»

Ышка перестала накладывать в вазочку варенье и, улыбаясь, произнесла: «О-н». Кенар, значит. Потом, похмурнев, прохромала в комнату, приглашая Евсея за собой, и отдернула цветастую занавеску на простенке. На самодельных дощатых полках стояли ряды пустых птичьих клеток: «П-а-п-а». Лиля заботливо прикрыла многоэтажку. Когда-то здесь обитала целая стая певчих пернатых. У Евсея сжалось сердце. Впрочем, какое ему дело до увлечений чужой прошлой жизни?

Евсей отхлебывал горячий чай с мыслью поскорее удалиться из этого дома. Он боялся спровоцировать Лилю на какие-нибудь нежелательные действия, например, на наказание в виде толстого семейного альбома. Но она тихо сидела за столом, словно зная, что думает этот бородатый симпатичный незнакомый мужчина, подаривший ей диковинный цветок и много дорогой еды. Он — из другого, далекого мира, где женщины носят кольца и ходят на каблуках.

Козлов посмотрел на часы. «Ну, мне пора. Спасибо, Лиля. И еще раз извините, что так вышло». Он достал портмоне и положил на стол пару крупных купюр и какую-то карточку: «Это на такси. Вот моя визитка, звоните, если что-нибудь понадобится». И пошел одеваться. Лиля немного помычала, а потом покорно проводила гостя. Ей не терпелось попробовать мандарины и рассмотреть коробку с конфетами. И почему-то захотелось поставить к Новому году елку. Как в детстве.

Евсей сбежал по лестнице с подозрительной резвостью. На ходу достал сигареты. Вот и машина. Сесть, покурить. На всякий случай посмотрел на предположительно окно Лили. В освещенном проеме в оборках незатейливых штор виднелся контур клетки с одиноким кенаром и застывшим силуэтом провожающей его как-то по-стариковски обиженной Богом женщины. «Все нормально, — думал Евсей. — Без претензий. Блин, вот так живешь и не подозреваешь, что бывает такая законсервированная нищета. У нее, кажется, даже телефона нету. Фу, трудно быть добрым, вспотел весь. Домой! Сочельник — кенару под хвост. Уже бы после душа и ужина с сигарой перед телеком лежал».

Козлов Евсей Иванович спешил домой. Снег прекратился. Темно-серый вечер накрыл город с неизбежностью зимней непогоды. Он внимательно осматривался на перекрестках, подпевал Челентано и думал: что подарить Анке к Новому году? Может, Волкову марочного коньяка бутылочку организовать? Или не спешить? Он знал, что завтра будет отсыпаться до обеда, а потом соберется наведать родителей. И жизнь после праздничной вакханалии опять пойдет по кругу. Работать. Расслабляться. И — снова работать. Постепенно решать проблемы по мере их бесконечного поступления. Компьютерщика-раздолбая поменять рука не поднимается. А Лиле надо будет послезавтра позвонить. Только куда?

И вдруг он понял, что больше всего в жизни сейчас хотел бы увидеть Анку.

«Алло! Ты где? Прости, может, вырвешься? Я заберу тебя. Сопливая, что ли? С Рождеством, милая!»

Декабрь 2008 г.

Впервые в «Нёмане»

НАТАЛЬЯ КУЧМЕЛЬ

Словам пора звучать

* * *

Взяв твои руки, прикасаться губами к запястьям
И ощущать, как пульсируют теплые жилки.
Может, кто-то мне скажет, что это ненастоящее счастье,
что бывает другое — своей не признаю ошибки.

Ведь не знает никто, что проходит, а что постоянно.
Может, в адском огне или где-то в раю, света полном,
Не молитвы тоску, не терпения темные ямы —
Эти теплые руки и синие жилки я вспомню.

* * *

…Вечер без тебя…
…утро без тебя…
…день без тебя…
словно кирпичики
кладутся в стену
между мной и тобой

с моей стороны стены
вот-вот зацветет алыча
словно молоком
опрысканы легкие ветви
ковром
стелются под ноги травы
и смеются веселые люди
с бутылками пива в руках

с твоей стороны стены
я не знаю что
а может скоро
и не захочется знать
…день без тебя…
…ночь без тебя…

* * *

Такая ночь, что соловьи кричат
Друг другу сквозь глухую тьму.
Такая ночь, что хочется сказать:
О жизнь моя! — и все равно кому.

Остановись, мгновение! Пусть вновь
в тебе сольется столько в миг один! —
чтоб вновь глушили крики соловьев
и в теплой темноте телесно млел жасмин.

Перевод с белорусского Натальи Капы.

* * *

Летящий ангел над землей,
Привидясь наяву,
Упал в объятиях со мной
В холодную траву.

Твердыню горнюю свою
Разбивши, как стекло,
Упал ко мне в мой неуют,
Чтоб стало мне тепло.

Но и низринутый с небес,
Лишенный высших сил,
Неважно — с крыльями иль без,
Он все же ангел был.

* * *

Дымкой заклеила веки усталость,
Слышно, как с ветром солома шепталась.
С ветром — солома, с каплями — ветки,
С волею — сердце, попавшее в клетку.
— Иди ко мне, сердце, — я дам тебе крылья:
Будешь летать, будешь смелым и сильным.
Холодно будет, и голодно тоже,
Только свобода и счастье дороже!
— Поздно мне, тяжко, утрачены силы,
Черные лозы мне вены пронзили.
Черные лозы, черные даты —
Не оторваться.
Если б когда-то...

* * *

Вечер сонно дохнул на стены.
Пахнет липами за окном.
Мы, шальные, не знаем, где мы.
Мы, наверно, — вдвоем одно.

То колени поднимем горкой
И положим смычок у ног,
То натертые подбородки
Ткнем в холодный скрипичный бок.

Мне не страшно теперь сломаться
После дней, проведенных здесь,
Необычной другим казаться,
А с тобой быть такой, как есть.

* * *

Пожухли травы молодости нашей,
Сгубил мои цветы мороз вчерашний,
Но вздох мой стал на удивленье легким:
Живи, далекий.

* * *

Здесь, в гулкой тишине — в лесу иль во дворе? —
Сирень закрыла пни, всё и везде — сирень.

Закрыт церковный вход. Овраг гнилой раскис.
На тонких стебельках цветы склонились вниз.

И как в немом кино, усевшись за столом,
Мы жаждем одного, мы ждем каких-то слов.

Словам пора звучать, чтоб всколыхнулся миг.
Словам пора звучать. Услышим ли мы их?

* * *

Приближаются чувства к нулю.
Облик твой лунным светом наполнен.
Обнимаю тебя — не люблю,
Просто в нашей квартире — ледовня.

Ты обнять меня тоже не рад,
Обнимаешь бесстрастно, как хворый.
Просто в холоде ты на свой лад
Обживаешь кусочек простора.

* * *

Стрижей и ласточек моет
Неба водоворот.
Шиповника губы тугие
Сжали розовый рот.

Выступит ночь на сцену,
Нет забытья и сна,
Женщина за измену
Карает сама себя.

* * *

Я старше на тот истинный покой,
Что наступает, когда все теряешь,
Когда не столько любишь, сколько знаешь,
Что есть любовь с корыстною рукой.
Я старше на тот истинный покой…

* * *

На улице, которой теперь нет,
Как взрыв, как гейзер, как фонтан застывший,
Куст дикой розы рос… почти до крыши…
На улице, которой уже нет.

Он рос и рос. Хозяин иногда
Букеты-веники дарил своим знакомым,
Гостям, что отворяли двери дома
На улице, ведущей в никуда.

Играл рояль, и не гасился свет.
И полночь увеличивала чары
И рук и губ. Все было в доме старом.
И рук и губ… А дома уже нет.

Теперь строений много и людей,
А я гляжу в былые дни, в иные,
И мои мысли — мотыльки ночные,
Куда-то улетают за предел.

И вьются там, где много-много лет
Стоял тот дом и рос куст розы дикой,
На улице, которой уже нет,
Но есть киоск, где продают гвоздики.

* * *

Здесь запахи земли легки,
В июне воздух стал дымиться
От солнца,
и в стекло теплицы
Напрасно бьются мотыльки.

Растенья жажду утолят,
И пот стекать по листьям станет,
И, как столетия в тумане,
В июньской дымке дни летят.

Перевод с белорусского Юрия Матюшко.

АДАМ ГЛОБУС

Папа

Слово про отца моего — Чеся (Вячеслава) Адамчика

УГОЛЬ

Папа страшно не любит скрипа угля на зубах. Одних трясет, когда кто-то железкой скрябает по стеклу, другие не переносят шуршания смятой бумаги. А отец не ест уголь. Он не может полакомиться печеной в углях картошкой, что для белоруса — диво дивное.

06.02.2001

РУЧКИ

Если папа что-то любит больше книг, это ручки. Он привозит их отовсюду: из Нью-Йорка, Парижа, Москвы… В папином столе полный ящик самых разных ручек и карандашей. И когда я собираюсь в путешествие, папа напоминает про тетрадь и ручку. С детства я помню отца, который над раковиной старательно промывает китайскую самописку. Он любит, чтобы ручка писала тоненько и хорошо пускала чернила. А первый роман «Чужая вотчина» пишется школьной ручкой, стальное перо макается в белую чернильницу. В последнее время папа начинает печатать на машинке, но каждый второй рассказ он приносит моей секретарше Наде в тонкой школьной тетради, написанный ручкой.

06.02.2001

НОЖИ И ПЕРОЧИННЫЕ НОЖИКИ

С войны у папы сохранилась любовь к ножам. Наверное, это генетическое: в сельском доме нашего деда Владимира нож — культовая вещь. Никто без разрешения деда не может прикоснуться к ножу. Он лежит в ящике кухонного стола, другого стола в доме и нет. Это в отцовской квартире много столов и ножей — не счесть. Папа с детства ножи собирает. Говорит, что в войну имел три казацкие шашки. Приходилось прятать их в лесу, вогнав в землю по самые рукоятки и замаскировав мхом. Кто-то выследил и украл отцовские шашки. От всего военного остался только немецкий штык-нож. Папа хочет назвать свои четыре романа, собрав их под одной обложкой, «Тень от штыка». Но переиздание романного цикла откладывается на неопределенное время. К сожалению. А я вот ножи и перочинные ножики не уважаю. Покупаю следующий, когда предыдущий теряется или ломается.

10.02.2001

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ

Папа любит сидеть на диване напротив книжных стеллажей и размышлять о литературе. Я могу часами стоять рядом и слушать, слушать… Завязывается спор. Не бывает такого, чтобы не началась дискуссия. Из-за Камю, или из-за Достоевского, или из-за Вовенарга… Обязательно или я, или папа ловим друг друга на ошибке в цитате или неправильной дате рождения кого-то из клас-

сиков. Спорить возле полок с книгами — семейная традиция. Мы доносим друг другу свою правду с томиками в руках. Папа любит романистов, а мне по душе новеллисты. Он отлично знает русскую литературу, а я никогда серьезно не перечитываю даже Тютчева, потому что увлекаюсь Востоком — Сёнагон, Басё, Бусон, Исса… Мы разные, но страшно любим сидеть на диване, напротив книжных полок, и вести диалог о литературе.

10.02.2001

ДРУЗЬЯ

У папы нет и не было друзей, в моем понимании этого слова. Может, в юности у него и был друг, я про то совсем ничего не знаю. И если внимательно прочитать папины произведения, вряд ли найдешь яркий мотив дружбы. Папа много с кем поддерживал добрые отношения, но чтобы он на равных с кем-то дружил — такого не было. Он больше, чем я, европейский человек, он всегда держал людей на дистанции. Видно, поэтому папа любит общаться с молодыми, с теми, кто не может быть ему друзьями. И к выводу, что друзья исчезают в определенном возрасте, где-то лет в тридцать, я пришел, наблюдая больше за папой, чем за собой.

10.02.2001

ЗЕЛЕНЫЙ ОКЕАН

Папа спокойно говорит о смерти. Еще в 40 он начал говорить своим ровесникам, что старый, что он отказывается от того или иного дела или развлечения из-за возраста. «Какой же ты старый, Чесь? Ты же моложе нас на десять лет!» — удивлялись те. «Нет-нет, я старый», — настаивал папа. Потому, когда он нам с братом Мирославом сказал, что серьезно хочет поговорить про свои похороны, мы восприняли это как должное. Было это в 1998 году, летом, мы сидели за столом на папиной кухне, когда он сказал: «Я хочу исчезнуть в зеленом океане. Мне не нравятся минские кладбища. Я хочу вернуться на свою Новогрудчину, в Ворокомщину, в свои леса, и навсегда исчезнуть в зеленом океане…»

11.02.2001

УНИЖЕНИЯ

Гораздо легче перенести собственное унижение, чем видеть унижение папы. А может, так только кажется. Одно знаю точно: смотреть, как папа приносит исчерканные рукописи своих произведений от цензоров-редакторов, больше, чем неприятно. Они вычеркивали политику, разрушали сюжет, кастрировали образы и язык. В рассказе «Кароль Нябожа» из 32 страниц осталось 18. И так через всю жизнь, через все творчество. Наверное, потому большинство своих книг я издавал за свои деньги, полулегально, без цензоров и мерзких государств.

11.02.2001

БРИТЬЕ

Папа бреется перед выходом из дома, а в выходные — перед приходом гостей. Я — наоборот, бреюсь с самого утра, я не могу сесть завтракать не побрившись. Папа может до вечера небритый по квартире проходить, но небритым спать не ляжет. Бороды он никогда не носил, видел в бороде азиатчину, а он европеец, католик, и должен бриться.

09.06.2001

ГОЛОС

Какой тихий, медленный, слабый стал папин голос… В телефоне чуть слышно. Приходится переспрашивать об одном и том же по несколько раз. Раньше папа говорил в телефон очень громко, почти кричал, боялся, что недослышат, не поймут. Теперь говорит тихо и ничего не боится.

10.06.2001

СЕРДЦЕ

В 1971 году у папы схватило сердце. Он лежал в одежде, на застеленной кровати. Понаехали врачи. Все повторяли страшную фразу: «Схватило сердце!» Мне представлялась некая рука в резиновой перчатке, хватающая папино сердце. Испереживались мы тогда. По сей день не могу просто так сказать два слова — «схватило сердце».

10.06.2001

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ

Папа очень впечатлительный человек, чистоплотный и осторожный. Он не любит чужого в интиме и быту. Когда папа учился в Литературном институте, он в библиотеке помыл руки и вытер их полотенцем общего пользования. Через час руки покрылись красной сыпью. Может, с месяц он не мог избавиться от зудящих пятен, пока доктор не догадался, что сыпь не инфекционная, а нервная: психологически папа настроился на болезнь и заболел. Из-за таких происшествий он и не любит всего чужого, общего, общественного.

17.06.2001

КЛУБНИКА

На днях зашел к родителям. Просто посидеть с ними. Мама заварила кофе и угостила меня клубникой. Папа протянул руку, чтобы взять ягоду, а мама деликатно отодвинула тарелку. «Тебе еще нельзя сырого». И она, и я едва сдержались, чтобы не заплакать. Но сдержались и начали говорить про политику. Папа заволновался, и к нему вернулся голос.

03.07.2001

ЛЕС

Папа в больнице просит Мирослава, чтобы тот свозил его в лес. Они заезжают в ельник. Папа отказывается выходить из машины. Открыл двери, посмотрел, и они вернулись в больницу.

03.07.2001

ЛЕКАРСТВА

Мирослав спрашивает у доктора, почему так мало лекарств он назначил нашему папе. «А у нас больше нет, привозите свои лекарства, и мы все сделаем…» Тех лекарств и в Минске нет. Приходится звонить Харевскому в Вильнюс, чтобы купил и передал. Тот записывает громоздкое название, покупает, передает. Лекарство не то. Что с ним делать? Доктор утешает — понадобится вашей маме.

03.07.2001

ЦВЕТ ЛИЦА

У папы совсем плохой цвет лица. Как тяжело про это думать. И когда он был дома с мамой, я отгонял от себя эти мысли. Но в больнице снова увидел желтый цвет смерти на отцовском лице. Такое лицо было у моей больной

раком бабы Яди, когда она встретила меня в больничном дворе, такой же цвет был у дядьки Чеся в коридоре ракового корпуса. Если бы я ошибся.

04.07.2001

СВОЕ

Иногда в других видишь себя. Так старики видят себя во внуках. Так я вижу в уходе папы собственную немощь, слабость и беспомощность в безжалостном мире. Папа — часть меня. Грустно и больно осознавать неизбежность ухода.

04.07.2001

СРОК

Когда выписывали из больницы бабу Ядю, врачи напророчили ей месяц жизни. Она пробыла с нами месяц и три дня. Теперь, когда мы забрали папу, врачи сказали, что проживет он только три месяца. От этих мыслей у меня стынет кровь и колотится сердце. Изо всех сил стараюсь хотя бы выглядеть спокойным.

06.07.2001

АГРЕССИЯ

Бывают мгновения, когда моя животная сущность восстает против образа приближающейся смерти. Кто-то невидимый подталкивает ударить отца и убежать от него. Я стыжусь этих мыслей, этих животных инстинктов. Сдерживаюсь. Переступаю через них. Говорю с папой. Вслушиваюсь в его временами путаную речь. Стараюсь понять, поддержать. Бывает, что он уже и не совсем рядом и не совсем со мной. На солнечный день он может сказать: «Вот и дождь пошел. У Бога все готово!» А звериное снова просыпается. И чтобы сдержаться, я кусаю свою щеку до боли, до крови.

06.07.2001

МАМА

У мамы заплаканные глаза. Она надевает очки, и я вижу, какие у нее большие и какие заплаканные глаза. Мама вспоминает, как они с папой и со мною шли по улице. Мне три года, и я в самодельных валенках. «Катился впереди». Огромный пьяный дядька присел передо мной, протянул руку и поздоровался: «Сергей». Я тоже дал ему руку и сказал: «Адамка». — «Ну, он у вас и молодец! Адам его зовут?» — «Нет, это прозвище», — сказал папа. Мама вспоминает разное, доброе, веселое, чтобы не закричать, не завыть, когда смотрит на своего Чеся.

06.07.2001

МАРКИ

Давние и незначительные детали моих взаимоотношений с папой становятся важными и выразительными. Это исключительно наше с ним, оно никому другому не принадлежит. Вот почтовые марки… Папа присылал их из Москвы в конвертах, вместе с письмами маме. Я наклеивал марки в альбом для фотографий и безнадежно портил их как коллекционные вещи. Смысл того собирания, посылания и наклеивания был в нашем понимании друг друга. Мы садились за стол, рассматривали маленькие картины, говорили о далеких странах, о Бурунди, об Индии, об Алжире…

06.07.2001

НАСЛЕДИЕ

Папа много написал. Последние годы он писал по моей просьбе и в какой-то степени лично для меня… Теперь я понимаю, что большая часть написанного папой — для меня и моего брата, для внуков. Смешно вспоминать в этом контексте авторские права и вообще какое-то законодательство. Но папино литературное наследие принадлежит мне, я это чувствую. И до законов мне дела нет. Большинство наследников художника как раз интересуются законами и деньгами, выторгованными за наследство. Обычно люди это бедные, во всех смыслах.

17.07.2001

КАМНИ

Папа много раз фотографировал камни. Огромные валуны, что лежат на берегах белорусских полей. Любить эти теплые, поросшие мхом подарки ледника он научил и меня. Есть в наших камнях непостижимая тайна, как в египетских пирамидах. Если долго смотреть на такой необъятный неподъемный валун, можно увидеть в нем Бога, Будду, будущее… Я очень благодарен папе за наши прогулки. Эти камни между полем и дорогой стали символом нашей с папой Родины.

21.07.2001

ТРАВА

По Интернету на мой сайт, где помещена и папина книга «Прощальная повесть», пришел вопрос. «Почему Вячеслав Адамчик так часто употребляет сложные прилагательные, написанные через дефис: «зеленовато-голубой», «светло-серый», «густо-лиловый»? Папа ответил, что это из-за любви к ботанике и, наверное, повышенного внимания к разным справочникам и указателям растений, где окрас цветов пишется через дефис. Описание растений в папиных романах — один из интереснейших мотивов, по крайней мере, для меня, человека, далекого от природоведения.

21.07.2001

ЧАСЫ

Папа пожаловался Мирославу, что у него сломались все часы. Хотя на самом деле это неправда. Мирослав подарил папе новенький японский настольный будильник. Папа долго рассматривал его, а потом спросил: «Сколько сейчас времени?» И очень удивился, когда Мирослав назвал время, которое показывал будильник в его руках. Папа все никак не может поверить, что сломались не механические приспособления, а разрушается его внутреннее биологическое время. Он может сказать: «Вот, ты сходил переоделся!» — хотя прошло два дня, а у него все еще тянется один мучительный, болезненный, темный день.

23.07.2001

САМОУБИЙСТВО

Когда видишь, как неуклонно гаснет огонек папиной жизни, примитивными кажутся даже мысли о самоубийстве. Сколько страданий и отчаяния несет в себе уход близкой души. А насколько больнее такой уход отзовется в сердцах близких людей, если он не своевременный, если ребенок умирает раньше родителей. И стоит жить только для того, чтобы не ранить своих близких преждевременным уходом.

23.07.2001

АПТЕКА

Мама пошла в аптеку за лекарствами для папы. По рецептам, выданным в лечкомиссии, она могла заплатить половину стоимости. Аптекарша сказала, что таких рецептов не признает и выдаст лекарства только за полную цену. Мама возмутилась: «В таком случае я не признаю вашей аптеки!» На что торговка отрезала: «А вам осталось недолго покупать такие лекарства». Мама рассказывала про перепалку спокойно, плакать у нее сил нет.

29.07.2001

РЕЧКА ЯТРАНКА

У каждого человека есть своя речка, свой лес, свое поле… Папа любил Ятранку. Описывал ее. Когда мы вместе приезжали в Ворокомщину, то первым делом шли на речку. Папа садился на берегу, доставал блокнот и писал. Вся его проза будто написана на берегу реки. И для меня родниковая вода прозрачной Ятранки — символ чистоты. Нигде, никогда я не видел речки светлее нашей.

29.07.2001

ДЕРЕВНЯ

Есть темы, о которых я писал мало или почти совсем их не трогал. Одна из таких тем — деревня. Так повелось, деревня — папина тема. Когда он говорил: «Твое — Койданово, твоя Барселона…», в подтексте звучало: «Моя деревня, мой Новогрудок, моя Западная Беларусь…» Наверное, так и останется дальше. Папа будет жить в своем лучшем романе про деревню «Чужая вотчина».

29.07.2001

ТЕТРАДЬ

Папа всегда писал в тетрадях. Многие литераторы пишут иначе. Кто на отдельных листах, как Владимир Короткевич, кто сразу выстукивает на печатной машинке, как Михась Стрельцов. В последнее время компьютер чуть не повально овладел писателями. А Владимир Степан вообще надиктовывает романы на диктофон. На вопрос «почему тетрадь?» папа ответит: «А человечество ничего лучшего, чем тетрадь, не нашло. Книга — та же Тетрадь…» А я так и остался художником, все на отдельных листах буквы рисую. И только в последнее время заставил себя дневник писать в тетради. Любовь к тетрадям у меня еще впереди.

29.07.2001

БРАТ ЯН

Болеет папа почти полгода и все это время надеется на выздоровление. Мы все как могли поддерживали его надежды. Говорили о будущих книгах, рассказах, о политической судьбе Беларуси. Хоть знали приговор врачей. И вот папа заговорил с мамой про фатальность своей болезни. «У меня то же самое, что и у Яна?» — «Нет». Ян — папин младший брат — умер от рака, в мучительных болях, когда морфий не помогает. Папа не поверил маме и пришел к Мирославу. У меня он не спрашивает про болезнь. Я для него более чужой и далекий, чем мама и Мирослав. Наверное, так, потому что могу ночью спать, а Мирослав и мама спать не могут. У папы день перепутался с ночью. И он потихоньку мирится с судьбой, со своей близкой смертью.

29.07.2001

ВОЙНА

Еще одна тема, которую я старательно обхожу, — война. Для папы она — основа. Мальчишеские впечатления никогда не отпускали его душу. Спаленная, расстрелянная из немецких пушек деревня Ворокомщина. Голова коровы, которая высунулась в окошко хлева и потому не сгорела. Односельчане, порубленные шашками казаков, что перешли на сторону Гитлера. Все это заполонило его сознание. Может, потому, когда доктор сказал, что папа умрет в эйфории, подумалось: а сколько можно ему страдать. Он и так отстрадал за все издевательства и унижения белоруса.

29.07.2001

МАГНИТОФОН И ФОТОАППАРАТ

Недавно я прочитал про ньюйоркцев, что они забудут сегодня то, что ты узнаешь завтра. Могу подтвердить: это факт. Потому что музыку, которую слушал и записывал папа в Америке, в Беларуси начали слушать лет через пять, а графити пришли в Минск через двадцать лет. Из командировки в Нью-Йорк, где папа представлял в 1980 году Беларусь в ООН, он привез магнитофон и фотоаппарат. Техника была привезена не для пропаганды американского стиля. Папа поехал в свою деревню, где сфотографировал нашу семью, деда Володю и бабу Броню. Записал их голоса. Наверное, музыка рэп никогда и не докатится до Ворокомщины, как не будут расписаны из баллонов стены деревенских хат. И хорошо. А вот я, в отличие от папы, не верю в могущество техники. И примитивно рисую папу на бумаге и записываю воспоминания о нас на листах в клетку.

29.07.2001

ПОРТРЕТ

Попросил у папы фотографии. Он разрешил их забрать, даже сказал, где лежат. Целый вечер я разглядывал снимки, чтобы выбрать один и поручить художнику обработать его на компьютере и напечатать портрет. Выбрался снимок 1965 года. То время, когда родился брат Мирослав, когда папа получил первое широкое признание, когда я пошел в школу, когда у нас была молодая, счастливая, красивая семья — папа, мама, я и брат.

29.07.2001

ТАБЛЕТКИ

Мама сказала, что не может оставить папу ни на минуту: он стал совсем как ребенок. Пробовал съесть все таблетки. «Что ты делаешь, Чесь?» — «Ты ж мне сказала: съешь все таблетки — и скоро поправишься…»

31.07.2001

ТЕЛЕФОН

Мысли про папу возникают везде и в самые неожиданные моменты. Вот взял телефонную трубку и подумал, что очень скоро (а может, уже и сегодня) я не смогу поговорить с папой по телефону. Уже теперь это трудно сделать: он иногда не может нажать на нужную кнопку. Грустно.

02.08.2001

УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ

Я так долго собирался написать лирическое произведение об ускользающем. Откладывал, откладывал… Считал себя не готовым к теме. Так, только наброски про дым, который вьется над погасшей свечкой, про желтый

песочек, что течет с крутого берега в речной поток, про изменчивые кружева облаков… Тут папин уход… Даже в каплях дождя, что катятся с листьев липы за окном, я вижу свои слезы, свой плач по нем.

02.08.2001

ДВА СЛОВА

За прошедший день папа сказал только два слова. Одно он сказал маме, когда она утром обмывала ему ноги. Положил ей ладонь на плечо и прошептал: «Терпеливая». А второе прошепталось вечером. Я зашел в спальню. Папа попробовал сесть. Мама спросила, хочет ли он воды. «Нет».

02.08.2001

ГЛАЗ ОБЕЗЬЯНКИ

Я помог маме положить папу на кровать. Его приподнятая рука мелко дрожала. Вспомнился глаз обезьянки, который смотрел из пасти анаконды и быстро-быстро моргал. Папа в пасти всепоглощающей смерти, а мы — наблюдатели.

02.08.2001

САВА

Так получилось, что есть два Вячеслава Владимировича Адамчика, и оба они из одной семьи, более того — родные братья. Папа мой — Чесь, брат его — Сава, а в советско-пророссийских документах они записаны Вячеславами.

Чтобы проверить телефон дяди Савы, записанный неизвестно когда, я набрал номер. Услышал женский голос, который крикнул в далекой новоелоненской квартирке: «Дедуля, тебя к телефону…» Я сказал, что папа совсем плохо себя чувствует. Сава поблагодарил за звонок и пообещал позвонить и приехать. Я не смог ему сказать, что ехать пока не нужно. Вот не смог сказать, и все.

02.08.2001

МАМИНО ПРИЗНАНИЕ

Мне еще не тяжело. Вот постою возле него на коленях, скажу: «Чесь, пожми мне руку». Он так слабенько, но пожмет. Я не одна.

07.08.2001

ПРИЕЗД САВЫ

— Ты же сказал, что по телефону поговорить с Чесем не удастся, вот я и приехал…

Сидим, выпиваем. Я, Мирослав и Сава.

— Он меня узнал, — повторяет и повторяет Сава. — Я вошел, а он рукой махнул. Вот так поднял руку и махнул.

Папа вышел в зал, чтобы посидеть на диване, я присел рядом с ним.

— Трудно тебе, папа?

— Трудно, — почти беззвучно выдохнул мой папа — и лег на диван.

Дядю Саву мы проводили на электричку.

07.08.2001

НОЧЬ

После выпитого с Савой и Мирославом я провалился в небытие. Мама с моей женой Аленой целую ночь боролись с папой, потому что он вставал и падал. Оставлять его на кровати стало опасно.

— Боюсь, чтоб не сломал себе что. Он такой хрупкий. Протираю его спиртиком, мажу детским кремом и боюсь сломать какую косточку. Он совсем хрупкий, — говорит мне мама утром.

Приподнимаю папу, и он выпивает полстаканчика воды с сердечными каплями.

07.08.2001

СЦЕНАРИЙ

На работе я позвал свояка Николая, и вместе мы стали писать сценарий похорон, составлять список необходимого. Надписи на венках. «Дорогому папе от сыновей Мирослава и Владимира». «Дорогому деду Чесю от внуков Чесика, Яди, Ольги и Николая». «Дорогому моему мужу от жены Нины». Надпись на табличке креста. «Вячеслав Адамчик. 1933—2001».

Когда план был с большего готов и секретарша Надежда набирала его на компьютере, она побоялась печатать дату смерти и сделала пропуск. Пришлось второй раз писать дату смерти при живом папе.

07.08.2001

АНТОН

Проститься с папой и поддержать сестру приехал из Койданово дядька Антон. Я положил на стол сигареты и зажигалку. «Разве ты куришь?» — «Курю и выпиваю». — «А я вот ничего не могу. За это лето два раза в больнице лежал. Сердце давит и давит». Мне вспомнилось, как Антонова Нина пожаловалась, что дядька выпивает каждый вечер. «Радуйся, Нина, он может еще чарку принять». Посмеялся я тогда. Теперь допустил другую оплошность. Порадовался, что Антон хорошо выглядит. «Что ты, Володя… Посмотри на мои руки, они все в синяках от капельниц. Я скоро наркоманом стану…» Правда, так плохо, как выглядит папа, не выглядит никто. Пальцы на руках почернели. Он лежит на боку с открытыми немигающими глазами и часто, хрипло дышит.

07.08.2001

ДОЖДЬ

Вышел на улицу. Полился дождь. Я посмотрел на небо из-под зонта и подумал: «Боже, если ты есть, сделай так, чтобы кончился дождь. Ну разве Тебе трудно? Страдает папа. Мучается мама. Через день у меня самолет в Барселону. Как я оставлю родителей? Что я скажу людям про свое отсутствие на похоронах?»

«Если ты не будешь на папиных похоронах, ты себе этого никогда не простишь», — говорят вокруг. И они говорят правду.

«Боже, дай мне знак, останови дождь». Дождь перестал.

Я вернулся домой, начал приводить в порядок финансовые записи. И тут позвонила мама и сказала: «Папа не дышит. Папа умер».

07.08.2001

ОДЕВАНИЕ

То, что было в первые часы после папиной смерти, проходило для меня в истерическом полусне. Теперь я точно знаю, почему завешивают зеркала. Искаженного плачем собственного лица с сумасшедшими глазами я испугался больше, чем вида обнаженного папы, которому я держал лицо, чтобы оно не застыло с открытым ртом.

Глаза закрыл папе я.

Когда надевал пиджак, едва не сломал уже негнущуюся и холодную папину правую руку.

Мы положили папу на стол в праздничном костюме и новеньких туфлях.

Среди ночи пришел Мирослав, и я поехал домой поспать. Выпил водки и проспал до десяти утра.

07.08.2001

КРОВЬ

Полно людей с цветами. Все высказывают соболезнования. А у меня через каждые пять минут лицо перекашивается, сбивается дыхание, слезы текут из глаз.

Папу переложили со стола в гроб.

Мамина тетка Виктя привела женщин, и они отпели нашего папу Чеся. В квартире такая духота, что мне пришлось выйти на улицу, чтобы не потерять сознание. Когда открывал дверь на проспект, отодрал кусочек кожи с указательного пальца на правой руке. Стою с окровавленными руками на проспекте, и кровь моя капает на серую брусчатку.

И тут подходит ко мне художница в черных очках, похожая на вампиршу, и спрашивает:

— Адамчик, что с тобой? Ты очень плохо выглядишь…

— Папа у меня умер. Сейчас хоронить будем. Вот я дверь открыл и кожу с пальца содрал. Я еще вчера ее содрал, когда папиными ключами пробовал этот замок открыть. Только вчера ранка была маленькая…

Вернулась Ядя из аптеки, забинтовала мой палец.

Художница попрощалась.

«Крепко будет стоять то, под что кровь потекла», — вспомнилось мне.

Что будет крепко стоять?

08.08.2001

СЛОВО

Гроб закрыли крышкой и завинтили. Как хорошо, что крышка привинчивается и не будет этого жуткого звука забивания гвоздей.

Парни взяли моего папу на плечи и понесли. Мама чуть идет, и потому гроб далеко внизу. Из темноватого подъезда выхожу на солнце и слепну. Звучит оркестр, но что за музыка, я разобрать не могу. Ко мне подходит Толик Кисель и обнимает меня. С ним иду к автобусу-катафалку. Как только мы сели в автобус, пошел дождь. Через вентиляционные люки на гроб, на крест, на портрет начали падать крупные капли, похожие на капли моей крови, только прозрачные. А перед самым Кальварийским засияло солнце. Невероятно яркое во влажной свежести.

Папу ждала могила на холме, неподалеку от костела. На ремонт и открытие этого костела папа одним из первых пожертвовал деньги, немалые деньги во времена атеистической безнадеги.

Панихиду проводила писательница Ольга Ипатова. Выступали папины коллеги. А когда дали слово мне, мама, которую я поддерживал за локоть, тихо сказала: «Только не долго, а то я не выдержу». Мамина реплика сбила меня, и маму стало жаль больше, чем папу. И я только и сказал:

— Папа, я так тебя люблю, что у меня нету слов.

Сказал и заплакал, громко и некрасиво.

Потом говорила мама. Потом завинтили гроб, опустили в яму, засыпали. Могильщики, когда украшали песчаный холмик, сломали цветы. «Чтоб не украли», — объяснили они.

09.08.2001

КВАРТИРА

На поминальный ужин ни я, ни Мирослав не пошли, сил не было.

С дочкой вернулся домой. Переоделся в спортивное и пошел бегать в парк, чтобы измучиться физически и на какое-то время забыть про смерть. После ледяного душа я надел все черное, поехал на отцовскую квартиру. Открыл мне Мирослав.

— Тяжело сюда приходить, когда никого нет…

Действительно. Я прошелся по пустым комнатам. Все папины вещи будто умерли вместе с ним. Книги, блокноты, рукописи лежали как неживые. Отчуждение светилось в каждой вещи.

Мы дождались маму. Только когда она переоделась в домашнее и заговорила про солнечность этого дня, про то, что папа собирался написать букварь, а теперь мы должны доделать задуманное, я перестал волноваться за нее и попрощался.

09.08.2001

МОРЕ

Стою на берегу Средиземного моря. Смотрю на волны. Жизнь человека похожа на падение волны. Я об этом говорил раньше, и наверное, скажу и подумаю еще не раз. И как небезопасно человеку заглядывать в свое будущее, в свою могилу… И почему-то все равно приходится это делать. На Кальварийском кладбище мы приобрели семейное место. Пока там только папа, а я на берегу моря вспоминаю подарки, которые он привозил мне, которые я привозил ему. «Привези простую тетрадь и простую ручку», — сказал папа. И я привезу ему ручку и тетрадь, и положу под крест, потому что папа любил писать, а я люблю своего папу.

09.08.2001

Перевод с белорусского
Алексея Андреева.

ВАСИЛИЙ МЕДУНЕЦКИЙ

Ни улыбки, ни гнева Божьего…

Кузьма

Сосед Кузьма — глухонемой.
Убогий с детства и незрячий.
Доволен был вполне Судьбой.
Но вот случилась незадача...

Однажды в небе грянул гром
А он в обнимку с тишиною
дремал, не ведая о том,
что пошутить надумал Мом[1]
над горемыкою Кузьмою...

Тычок... и он заговорил.
Прозрел... и обмер от сюрприза:
пред ним огромный мир бурлил
в котле — с названьем: телевизор.

Он ужаснулся: мир стонал.
Бранился пошлыми словами.
Взрывался, рушился, стрелял.
И плакал детскими слезами.

С экрана целилась в Кузьму
тупая, голая жестокость.
И в страхе грезилась ему
его бесценная убогость.

И он взмолился: «Боже мой!
Такая жизнь — не жизнь, а пропасть...
О, Вседержитель неземной!
Верни ты мне мою убогость».

И, осенив себя крестом,
в надежде, что услышит ближний,
воскликнул: «Господи! За что?!»

И пожалел его Всевышний...

---

[1] Мом (*гр.*) — бог, олицетворяющий насмешки, злословие.

Апокалипсис

Светлой памяти сына Василия, трагически погибшего на сцене (во время концерта) в Купальскую ночь 2007 г.

1

Изба. Слободка. Старость дня.
Скоромный ужин. Запах хлеба.
Окно — кровавый сноп огня.
И даль израненного неба.

В парном, с багрянцем, молоке
Печать рассвета и заката.
И хлеб, и каша в чугунке.
Весь мир. Всё —
                    пламенем объято...

И умер день. И темнота
качает зыбку полушарий...
И вновь пылает Высота!!!
И... повторяется сценарий:

Слободка. Юность дня. Изба.
И молоко, и запах хлеба.
В ожогах утреннее небо.
Лишь нет —
            сгоревшего ТЕБЯ...

2

Знал ли я...
              Наступивший год,
обернется нещадным Каином.
Много горюшка принесет:
выжмет слезы и кровь —
                              из камня...

Будут дни,
в синяках и ссадинах,
бухать в окна крестами, бубнами...
у НАДЕЖДЫ —
                    птенцы украдены
                                      будут!..

Остается,
            приняв как должное,
не искать на лице Судьбины
ни улыбки, ни гнева Божьего, —
а лететь по крутой стремнине...

* * *

Полет души был так высок и светел.
Вы — Солнце! — неземная благодать!
Но ветер, ваших слов беспечный ветер,
Убил во мне желание летать.

Оплаканы давно вы, без сомненья.
И не сочтите стих мой за упрек.
Я вас любил! — Спасибо за горенье.
Я вас любил! — Спасибо за урок.

Куда спешу? Кому скажу о драме
Я, испытавший Радость Высоты?
Молчание — вот ваше оправданье...
Вы помните?!.
А впрочем...

* * *

Если сможешь, то казни —
Мне не страшно.
Отзвенит в душе хрусталь —
и не важно.
А всего-то я хотел:
пониманья,
Но когда все против всех —
ненормально.
Я в пригоршни зачерпну
звездный холод.
Жизнь сгорает. У огня —
волчий голод.
Лес в янтарную слезу
солнце прячет.
Тонкий лед. Несу беду —
наудачу.
Но удача — в небеса —
синей птицей.
Топором иду ко дну —
усмехнитесь...



АНДРЕЙ ВЯЗОВ

Песчаный путь

Рассказ

Жарко... Я мокрый, словно только что принял душ. Но это не вода. О, если бы это была вода! Это всего лишь пот. Мой грязный пот. Липкий, паршивый пот. Когда я мылся последний раз, и сам уже не помню. Да и не знаю, когда доведется мне помыться вновь. Всей воды только и есть, что во фляжке. Я знаю, там ее совсем немного, потому терплю, хотя жажда мучает неимоверно. Губы ссохлись. Слюны почти нет. Во рту песок. Под кромкой ногтей тоже песок. Он везде, этот дурацкий песок. От ветра невозможно спрятаться. Он вздымает песок с гребней барханов, так что ты зажмуриваешься и прикрываешь лицо рукой. Не попал бы только в глаза. Я здесь уже давно, больше полутора лет. Я не турист и не путешественник, я обыкновенный солдат-контрактник. И осталось мне всего полгода. Полгода! Да, мне, конечно же, предложили продлить контракт на более выгодных условиях, обещали, что по возвращении дадут хороший дом под низкий процент. Ха-ха! Раньше я был дураком, теперь же понимаю. Вам выгодно обещать мне дом, так как вы знаете, что я вряд ли останусь в живых. Нет, я отказался. К черту все это! Вас и ваш контракт! Меня вы не купите за деньги, потому что я понял: важнее вернуться домой. Конечно, вы легко можете делать такие предложения, ведь вы не сталкиваетесь с тем, с чем сталкиваюсь я. Вы сидите в штабе и можете чаще летать домой, а точнее, едва только соскучитесь. А я не могу. Не могу взять даже отпуск! Вы начинаете уговаривать, а если не соглашаюсь, угрожать. Но что мне до того, что вам не хватает людей? Мне плевать! Как и вам плевать на то, что жена может остаться без мужа, а дочь без отца! Я всего лишь боевая единица в ваших приказах. Вот я кто для вас! Винтик, гайка, потерю которой вы и не заметите. Вы думаете, это так просто? Убивать или быть убитым? Нет, вы не понимаете, как это тяжело — сосуществовать со смертью. В обыденности она словно где-то вдалеке, здесь же она совсем рядом. Чувствуешь ее всем своим существом и боишься, но ты не можешь ее прогнать или спастись от нее бегством. Она как твоя тень. Впрочем, ладно, отвлечемся от смерти, потому что мысли о ней бесполезны. Она сама призовет тебя в нужный час. Когда? Я не знаю. Я действительно не знаю, сколько времени мне пробыть в этом местечке. Полгода — контракт. Но что тебе этот контракт, когда рядом с тобой нет ни одного сослуживца?

Каждый день как последний. Признаться, я сомневаюсь, что вернусь домой, так как шансы мои невелики, но пока они есть, буду хоть как-то бороться, потому что хочу жить. Простой, мирной, человеческой жизнью. За последние дни я пережил немало и уже не уверен, все ли у меня в порядке с психикой. Иногда слышу голоса, чьи-то крики. Меня словно кто-то зовет. Но кто меня зовет, если рядом никого нет? Неужели это призраки? Нет, в призраков я не верю. Тогда что же, галлюцинации? Может, и так. По крайней мере, я хочу оставаться в рассудке. Да, вот чего я хочу — не стать сумасшедшим, потому что тогда мне конец. Ночью, как стемнеет, меня одолевает бессонница. Пытаюсь уснуть, но ничего не выходит. Шорохи, издали доносящийся

лай собак, треск цикад — все это мешает спать. Я начинаю думать, что меня выслеживают и что, если усну, расслаблюсь на одно мгновение, меня застанут врасплох и возьмут в плен, обезоружив спящего. Поэтому я и не сплю, а куда-то иду ночью, а куда — сам не знаю. У меня нет ни компаса, ни карты, только автомат, фляжка и нож. Местные жители настроены к нам, солдатам, враждебно. Я для них оккупант. И они только порадуются моей смерти. Я их враг. Они меня ненавидят. А я их нет. Я не хочу никого убивать, но когда мне отдают приказ, я, сжав зубы, убиваю, потому что если не сделаю это, уничтожат меня.

Я надеюсь пробиться к своим, хоть как-нибудь, пускай я и не знаю, где они. Может, меня уже ищут? Или не ищут? Неизвестно. Эта неизвестность меня обволакивает. Я в тумане. Неизвестность в неизвестности. Я крепко сжимаю автомат и молю Бога, чтобы его не заклинило. Там есть сколько-то патронов, сколько точно, не помню. Но должно вполне хватить, чтобы выбраться из враждебного города. Я надеюсь обойтись без оружия: со стрельбой наверняка начнется несусветный переполох. Начнут со всех сторон стрелять. Меня окружат, как какого-нибудь волка. Кинут пару гранат. Мое сопротивление лишь отсрочит мою гибель. Я должен смириться с тем, что я слаб, беззащитен. И беззащитность моя будет лучшим вооружением, по крайней мере, до тех пор, пока в нее верю.

Моих сослуживцев убили вчера. Мы ехали по ухабистой пыльной дороге на джипе. Я и еще трое ребят. Дорога петляла. Едва съехав со склона, увидели людей. Наверное, местные жители. Для чего-то решили их обыскать. Я не знаю зачем. Мы возвращались на базу. Там нас ждал ужин, карты и немного виски перед сном. Но мы решили их обыскать.

Нагнали их быстро. Они шли не спеша, с рюкзаками за спинами. Несли что-то тяжелое. Смуглый морщинистый старик шел так, словно его кто-то пригибал рукою к земле, как молодое деревце. Рядом шли помоложе чернобородые, еще не мужчины, по глазам видно, что юноши. Их было двое. И старик. Я окликнул их. Сказал, чтобы остановились. Они же как шли, так и шли, даже не обернулись, словно им все равно, кто их зовет. Такое неподчинение, надо признаться, всех нас разозлило. Гарри крикнул им, что если они не остановятся, то он перережет им горло. Гарри, наш самый главный весельчак. Без него не обходится ни одна пьянка. Но, несмотря на свою веселость, вскипает он быстро. Разгневаться для него сущий пустяк…

Куда же мы ездили? В деревню за провиантом? Мародерствовать? Нет. Мы ехали в деревню за женщинами. Гарри сказал, что они отдаются легко, не то, что наши. Всего за пять долларов, потому что у многих есть дети и их надо кормить. Мы послушали Гарри и поехали. Да, у нас, солдат, на родине есть семьи. Но какая здесь в пустыне, безжизненной, может быть еще радость? К тому же никто из нас в достоверности не знает, вернется ли он домой. Вот мы и нашли себе оправдание. Поехали я, Гарри и еще двое ребят, со второго взвода, Фрэнк и Джон. А меня, если вам необходимо знать, зовут Курт.

Съездили мы успешно. Гарри нас не обманул. Мы пробыли в деревне около часа и поехали назад, так как не имели больше времени для веселья, да и рисковали быть наказанными. Такие выходки, как наша, никогда не поощрялись, потому что они нарушали дисциплину. На случай алиби набрали в пластиковые бутыли воды. Да, для начальства мы ездили за водой.

Фрэнк вел машину. Джон сидел впереди. Я и Гарри сзади. Гарри курил и весело смеялся, рассказывая анекдоты. Фрэнк изредка бросал взгляд в зеркало заднего вида. За исключением Гарри, все молчали.

— Сейчас, подождите, — сказал Гарри. Он уже потушил сигарету. — Дайте-ка, выйду из машины. Я их проучу, тварей. Научу повиновению.

Мы поравнялись с путниками. Мужчины брели по обочине. Обдав их пылью, Фрэнк остановил машину поперек дороги, словно давая понять, что дальше они не пройдут. И что же? Из завесы пыли, вместо показавшихся мужчин, которые, как мы подозревали и надеялись, должны были выглядеть растерянными и испуганными, затрещали автоматные очереди. Гарри словно поперхнулся чем-то. Судорожно сглотнул и срыгнул изо рта кровью, уткнувшись головой в спинку сиденья. Со звоном обрушились осколками стекла. Я в страхе, не понимая, что делаю, выскользнул из машины. Фрэнк тоже. Не знаю, был ли он ранен, но весь в крови. Кровь текла по подбородку, по светло-коричневой униформе. Не переговариваясь, мы открыли ответный огонь. Было так страшно, что одно мгновение исчезало за следующим. Я ничего не понимал. Наверно, мне повезло, что остался жив. Фрэнк бы остался тоже. Он хотел жить. Но пуля попала в брюшину, лежа на боку, он харкал кровью и громко стонал.

Сперва я метнулся к путникам, которые, раскинувшись, лежали на дороге. Я старался не смотреть им в глаза. Да и лица у некоторых были залиты кровью. Как и Джон с Гарри, они были мертвы. Джону пуля попала в голову. Отвратное зрелище. Меня вырвало, едва заглянул в салон. Фрэнк лежал на правом боку, сучил ногами, прижимая левую руку к животу, и истошно кричал. Я не мог помочь ему, но и бесстрастно наблюдать тоже. Я стоял, отвернувшись, чтобы не видеть его мучений. Сколько-то времени он еще кричал, а я курил сигарету убитого Гарри. На руках моих, да и на щеке, как я чувствовал, запеклась кровь…

В городе уже смеркается, а я все еще сижу в развалинах дома. По улицам бродят люди. Зажигают факелы, а кое-где горит скудный свет фонарей. Противная дрожь пробирает все тело. Уж не лихорадка ли это? Пыльной рукой трогаю свой лоб, покрывшийся потом. Нет, ничего нет. Просто я в страхе. Жду, пока все уснут, город затихнет, и я крадучись пойду дальше. Мне повезло, что здесь нет городских стен, иначе бы отсюда не выбрался. Но, как и везде, здесь есть патрули, стреляющие по ночным теням без предупреждения и, тем более, сожаления. Зачем я вообще подписывал этот проклятый контракт? На что рассчитывал? Взять бы себя сейчас, человека годичной давности, да встряхнуть за шкирку. Жаль, что я не могу этого сделать и теперь отвечаю за свое сумасбродство. Зачем я лез сюда? Что не устраивало меня там, в родном городе? Неужто бы не нашел там себе работу? Ведь там не стреляют, ты у себя дома, и обязанности у тебя вполне определенные. А что здесь? В любой момент меня могут убить. Могу умереть от жажды или голода, и тем более, не уверен, выберусь ли отсюда. А вдруг меня возьмут в плен? Что тогда? Показательно расстреляют? Скорее всего. Но все же пока есть какая-то надежда. Чем могу ее подкрепить? Тем, что не ранен. Тем, что во фляжке осталась вода, в рюкзаке три лепешки и автомат с патронами. Вот, это и есть моя определенность. То, на что я могу рассчитывать. Ах да, еще и нож! Совсем забыл! Если у меня все это есть, то я имею возможность бороться до конца, до того момента, пока силы мои не иссякнут. Но куда же идти? Где наши солдаты?..

На базу я тогда не вернулся, а все потому, что издали услышал выстрелы. Шла изредка прерываемая стрельба. Нет, если бы был одиночный выстрел, то я бы взглянул, а стрельбы испугался. До сих пор был в ужасе.

Я развернул машину и вновь поехал туда, где лежали убитые сослуживцы и жители. Но скоро кончился бензин и машину пришлось бросить. Вдобавок так безопасней…

В этой стране надо быть начеку, потому что здесь стреляют и дети. Их обучают держать оружие. Стрелять по вражеским целям. Любой безобидный подросток, как хладнокровный убийца, сможет нажать на курок. Выстрелит и в спину. Ты и для него враг, хотя неизвестно, сделал ли ты ему что-то плохое. Просто его так настропалили.

Устало прислонившись к стене, я поднял голову вверх, наблюдая за яркими белыми звездами. Небосвод казался черным. Несмолкаемо трещали цикады. И если бы не разруха вокруг, то я бы, пожалуй, поверил, что нахожусь на каком-нибудь фешенебельном курорте.

Отряхнувшись от песка, я поднялся и жадно, с тоской взглянул на фляжку. Пить себе запретил, так как не знал, сколько еще буду идти. Вода закончится, и что тогда буду делать? Где я найду ее, если совсем не ориентируюсь на местности? Да, я ощущаю враждебность во всем. Знаю, что никто мне не поможет. Я должен позаботиться о себе сам. Терпеть и вести себя как можно тише.

Ночи здесь холодные. Песок скрипит на зубах, словно в издевку над моим голодом. Есть еще три лепешки. Но опять-таки, я опасаюсь к ним прикасаться. Я борюсь не только с голодом и жаждой, а еще и с самим собой, с тою половиной, которая требует всего и сейчас! Поддаться сиюминутному импульсу, блажи, инстинкту. Опасность именно в этом! Как же мне его сдерживать, ненасытного?

Я снова провел рукою по лбу и подумал: не схожу ли незаметно с ума? Ведь в голове столько противоречивых мыслей.

Город засыпал. Я не мог обозреть все его улицы. Звуки стихали. Разве что изредка слышался собачий лай да все трещали цикады. При мысли, что меня выслеживают, я вздрогнул: отчаянно хотелось жить. Ведь так и есть, чем ближе смерть, тем сильнее отчаяние жизни. Да, я могу укорять себя в легкомыслии. Но разве знал я, предвидел, что через столько-то лет буду в далекой пустыне, среди враждебных людей, и меня назовут оккупантом? Нет, я не мог этого знать!

Я долго размышлял, ничего не предпринимая, потому что испытывал какое-то сомнение, сомнение в том, стоит ли вообще что-то делать, если обречен? Ведь посудите сами. Я в незнакомом месте. Кругом враги. Я один, совсем один. Что же могу сделать? Размышляя, я выжидал. Мне казалось, что надо подождать еще немного и тогда можно выйти. Но предчувствие опасности не исчезало. Я мог бы так сидеть нескончаемо, если б не набрался решимости выйти из своего укрытия. Этой решимости, как назло, всегда не хватает. Для ее появления ты должен преодолеть себя. Это неминуемо. Борьба с собою вершилась в тишине. Быть может, я походил на спящего, но на самом деле я напряженно мыслил, преодолевая свои опасения…

До рези в глазах всматривался во мрак ночи, опасаясь увидеть что-то подозрительное. Короткими перебежками, а где и ползком, я продолжил свой путь. Улица казалась нескончаемо длинной. Я прятался за домами, согнувшись, крался как можно тише. Каждый шорох казался фатальным. Слыша патрульных, замирал, прижавшись к земле, словно слившись с ней. Камешки больно врезались в тело, но я терпеливо лежал, слыша негромкий, нарастающий, а затем ускользающий говор патрульных. Нет, я должен во что бы то ни стало вернуться. Я не могу умереть, потому что у меня есть жена и дочь.

Сколько времени я полз?.. Пот застилал мне глаза, и в какой-то миг я не выдержал, алчно присосавшись к фляге. Опомнился лишь когда она опустела. Проиграв борьбу с жаждой, я обругал себя. Что ж, теперь оказался

в еще худшем положении. С утра беспощадно начнет палить солнце. Оно зальет своим светом всю округу. Я должен буду где-нибудь спрятаться, потому что днем идти опасно. За ночь необходимо покрыть максимальное расстояние. Я старался не думать о том, что мои усилия могут оказаться бессмысленными. Ведь я же не знал, куда иду. Но с другой стороны, я должен куда-то идти, потому что, бездействуя, я бы, несомненно, умер. Вот я и крался, прячась, как вор, за домами. Обессилев к рассвету, упал на песок. Поразмышляв мгновение, отказался от рюкзака с автоматом. Оставил при себе только нож. Те три лепешки я, кое-как разломив на куски, разложил по карманам. Впервые задумался: «А что если выбреду в пустыню, где вообще никого нет?» Я боялся людей, опасался их и в то же время надеялся их встретить, тех, кто поможет мне. Ведь я шел к ним за помощью. В ней-то и было мое спасение. Что же тогда? Неужели я умру от жажды? Гнал эти мысли, так как они забирали мои силы, в которых сейчас я так нуждался. Их ведь всегда не хватает, всегда недостаточно, потому ты должен терпеть и преодолевать себя, свое мысленное неверие…

Когда город остался за спиной, улегшись на песке и не шевелясь, словно мертвый, я немного передохнул. Отсчитывал секунды, чтобы встать и снова идти. Я не опасался преследования. Понимал, что надо держаться подальше от дорог и заблаговременно обходить поселения. Если продержусь, возможно, удастся найти воду. Мысли путались... Я словно бредил наяву. Светало. Небо постепенно бледнело. Гасли звезды. А я, спотыкаясь, пошатываясь, все брел и брел. Иногда давал себе передышку. Триста секунд. Затем снова движение в неизвестность.

К полудню я уже потерял направление. Шел с опущенной головой, не понимая, что делаю, куда и зачем иду. Шаги были разными. То я делал широкий шаг, то вновь сбивался на мелкий, то шел по прямой, то отклонялся от курса. Я повторял, словно молитву, одни и те же слова: «Я должен идти! Я должен идти! Я должен идти!» А может, я молился. Смысл слов был неясным, смутным, словно запамятованный сон. Армейские ботинки сдавливали ноги тисками. Вот я сделал очередной шаг — безнадежный, неуверенный, — но все же шаг...



АЛЛА ЛОПОШИЧ

Учиться добру

* * *

Утро тает в туманном окне.
Засыпает солдат под наркозом:
То бежит по горящей стерне,
То по тонкому льду, как по росам…
Судьбы мира бойцу вручены,
Операция медленно длится:
И не бинт, а дороги войны
Отболевшие тянет сестрица.
Хоть последний свидетель живой —
Потускневший осколок изъятый,
Ветеран сквозь заслон дымовой
Видит раненый месяц над хатой…

* * *

На вахте бессменно березы
У братской могилы стоят.
Прозрачные капельки-слезы
На каждом листочке
дрожат.

В горячих сражениях давних
Омытые кровью людской,
Живые свидетели —
камни,
Не мхом обрастают —
тоской.

У обелиска

Я стою у обелиска.
Ветер листьями шуршит.
Три березки — в ноги низко
Тем, кому бы жить да жить.

Замираю возле каждой
В многозвучной тишине.
…Так мой дед ушел однажды
И не знает обо мне.

Шанс

Солнце ярко
искрится
даже в лапах
зимы.
Разбитной молодице
холода
не страшны.

Улыбнется, как
прежде, —
пусть лютует
напасть,
шанс оставив
надежде —
на соломку
упасть.

* * *

Как гроздья рябины —
нависшие тучи,
И розовый пар над полями стоит.
Повеет с полей ароматом летучим —
И день ненасытный как будто бы
сыт.

Но самое главное, что не
напрасна
Вот эта нехитрая жизнь на земле.
Я вижу сквозь тучи
рябиново-красный
Рассвет на дороге,
отпущенной мне.

Слезы ясеня

Во дворе запечалился ясень.
Капли слез потекли по коре.
Этот день одиночеством красен
В этот миг, в этот час — в октябре.

По коре, по извилистой — наземь
Слезы ясеня… Стыну в окне.
Это ясень участьем прекрасен —
Человечьим участьем ко мне.

* * *

Созрела первая черника,
Пошли расти грибы в бору.
Встречаясь вновь с природой дикой,
Учусь у ней служить добру.

Для всех: и правых, и неправых,
Семь раз отмерявши сперва,
Я, как лекарственные травы,
Беру лечебные слова.

ИРИНА ДЕГТЯРЕВА

Нарисую на песке крест

Рассказ

Я падал слишком долго, чтобы вдруг осознать свое падение и остановиться. Бездна бессмертия позволяет делать паузы. Иногда. Падение, а может, полет — бесконечен. И я снова исчезну за горизонтом не Земли, Вселенной. Но ощущение, что когда-то был человеком, смертным, был тленом, неизбывно во мне. Как воспоминание, сон. Мой бренный прах покоится на одном из кладбищ на Земле, и это немного печально.

Тяжелее, когда проблесками возникают в сознании лица родных. Мать. Она ведь еще жива и не знает, как далек я от нее и как близок. Сын. Он почти не помнит меня. Лишь его детские обрывочные воспоминания. Она. Она словно бы все знает обо мне нынешнем. Чувствует.

Остановившись теперь, я бы обращался к ней. И те вечера, что недодал ей, те слова, что не договорил, слова, которых я раньше не ведал, вырвутся вместе с последними ее слезами обо мне. Легче, наверное, не станет — ни мне, ни ей. Но она услышит, узнает голос и вздрогнет в темноте и тишине пустой комнаты.

* * *

Мы часто наблюдаем за животными, насекомыми. Приписываем им человеческие чувства, качества, манеры поведения. Думаем, что живут они безмятежно, не знают о своей неизбежной кончине и умирают легко под каблуком наших ботинок или в пасти более крупного хищника.

Муравьям, возможно, кажется, что это вмешался муравьиный Бог, когда над их головой вдруг человеческой рукой поднимается листок или травинка, когда их груз, который они тащили в муравейник, вдруг из благих намерений им помогают донести. Но нет, судя по тому, как они пугаются — бегут или прикидываются мертвыми, вряд ли они воспринимают помощь как Божий промысел.

А как мы сами, такие интеллектуальные, стоящие на самой верхней ступени пищевой цепи, относимся к внезапным удачам или тяжким болезням? Божий промысел? Может, мы, как муравьи, воспринимаем нечто происходящее с нами помимо нашей воли, как вмешательство высшей силы. Но мы же знаем, что в качестве Бога для муравьишки выступаем мы сами. Мы для него высшее существо. Но мы не творим чудеса, не обладаем могучей силой. Все относительно. Для кого-то мы Боги, а кто-то Бог для нас. Сколько же Богов? И кто из них истинный? Или эта бесконечность — власть одних существ над другими?

Что главное в постижении человеком Бога? Осознать, что нет совершенства, а уж если искать его, то не в себе подобных и не в себе самом. Понять, как малы мы в этом мире, как ничтожны наши потуги к славе, нетленности, вседозволенности и всезнанию. Тлен от рождения, удобрение для цветка, который взрастит кто-то неизвестный нам. Он преследует свои цели, ему

всего лишь нужно вырастить цветок, и вряд ли ведомо ему, что мы мним себя высшими созданиями, вряд ли он считает, что удобрение способно мыслить. Болеем ли мы, страдаем, любим ли, совершенствуем себя физически и умственно — итог один. Цветок вырастет, бутон раскроется. Но каким он будет, взращенный не столько на любви, сколько на боли, страхе, жестокости? Убийства, войны, горе — черные лепестки не пропустят сквозь себя свет солнца.

* * *

Сиюминутность во всем преследует нас. Только что ты существовал — и вот тебя уже нет. Как можно планировать, загадывать, мечтать? Сам уклад нашей жизни с расписаниями, распорядками, режимами противоречит сути нашего бытия, его сиюминутности. Хотя уклад, возможно, и отвлекает от ожидания, упорядочивает мысли и поступки.

Ни на минуту не останавливаться, чтобы не прочувствовать ее — эту минуту, давящую, угнетающую, ее скороспелость и вескую законченность. Она исчерпывает себя так скоро и так звонко. Секунды уносят ее прочь и вместе с ней чью-то жизнь и неоконченную повесть.

Мы любим произносить слово «всегда», но нет вечности для нас. Мы словно бы стоим в нескончаемой очереди, но уступить свое место другому или занять место впередистоящего, безмерно дорогого тебе, не в наших силах. Наши списки давно сверены и утверждены.

Мы совершенствуемся телесно и духовно, убиваем время, приближая свою очередь. И в чем разница между умершим младенцем и почившим в бозе престарелым профессором, познававшим науки, искусства, мир на протяжении девяноста лет? Для смерти ценны обе жертвы, либо вовсе неотличимы?

Тягостны и скучны эти рассуждения и домыслы, ведь истина — понятие, придуманное людьми. Но тщетность наших усилий возвыситься, поумнеть, познать истину угнетает больше всего, она способна уничтожить любые помыслы и начинания, гнездящимся в мозгу вопросом: «Зачем? Все тщета».

Все спасаются играми. Одни играют в выдумывание законов, другие в их исполнение, третьи увлечены управлением самолетами или поездами, четвертые улетают в космос, пятые воюют — возможности беспредельны. Находятся игры для самых непритязательных — мусорщики, дворники, ассенизаторы. Все пытаются прикрыть свои страсти или устремления к той или иной профессии финансовым вопросом. Но ведь есть бездомные и безработные, которые намеренно отказываются от работы и жилья. Они играют. Большинство подобных игр приближают чью-то очередь. Тогда начинает жизнь нас кидать и швырять, как безвольных кукол. Безвольные куклы…

Странно, что тела мертвых людей напоминают кукол — своими, порой нелепыми, позами и застывшими лицами. Потерявшие душу.

Но хуже всего в сиюминутности — необратимость. Необратимость поступков, событий, необратимость течения самой жизни.

И я играл в одну из этих игр, ради азарта, ради забвения, убивал время, а в итоге убили меня. Что осталось? Обрывки моей жизни, истории одного человека из миллиардов человечков. Мы ведь все очень похожи.

О том, что нам казалось потаенным, то, что сидело в глубине нас, и мы не могли выразить это словами, мы вдруг прочитаем в какой-нибудь книге. Удивляемся, умиляемся, хотя чего проще понять, что если почти всегда легко предугадать поведение любого животного, почему сложно продемонстрировать ту же проницательность на человеческой особи.

Я представлял мою жизнь небольшой картонной папкой с когда-то белыми тесемками с бахромой на концах. Стоит развязать их, и посыплются на пол пожелтевшие листки с нечеткими записями и потускневшими рисунками. Некоторые листки обугленные, словно бы я пытался уничтожить, забыть. Папка наполнена минутами, часами, днями, мгновениями. Между ними нет соединения, как в плохих романах. Вода беспамятства. Почему память так выборочна? Хотя на самом деле ничто не забыто, просто ушло из поля внутреннего зрения, словно я ехал в скоростной машине и пейзажи за окном сливались в сплошную зелено-голубую линию, но это же не значит, что пейзажей не существовало.

Стоит только лишь остановить машину и выйти из нее, как все оживет. Под ногами будет хрустеть каменная крошка, запах моря и цветущих деревьев пронзит остро, дерзко смесью йода и приторной сладости. Станет явственно слышен тихий шелест близкой рощи на морском ветру и шуршание в сухой траве мелких песчаных ящериц. Стоит только остановиться и выйти — все обретет четкость, звук, запах.

Но зачем человеку воспоминания? У животных память — это ассоциации с запахом и звуком, пополняющие опыт для более четкой работы инстинкта самосохранения. У человека, отчасти, память несет ту же функцию. Но то, что для инстинктов, опыта, — оно оседает в подсознании и срабатывает, когда человек попадает в схожую ситуацию.

Отчего же он все время держит на поверхности, в угнетающей близости к душе детали и пустяки, вроде бы не несущие никакой судьбоносной нагрузки? Опыт подсказывает, что необходимо забыть трагедию, смерть близкого, но снова и снова, терзаясь, человек вспоминает, и даже подробнее, чем раньше. Всплывают новые детали, ассоциации, связи с другими событиями, которые поначалу казались несовместимыми. Анализ того, что произошло в далеком прошлом, продолжается, поедая человека изнутри. Самоедство никак нельзя отнести к инстинктам. Это странная и непознаваемая работа души.

* * *

Ты помнишь?.. Но ведь у тебя может быть другая папка обрывков и клочков воспоминаний. Своя. Они отчасти перекликаются с моими, эти твои записи, сделанные аккуратнее, правильнее. Ты всегда старалась все писать сразу набело в своей жизни, на чистой бумаге. И те обрывки, пожелтевшие, с неровными краями, контрабандно проникшие в твою золотистую папку воспоминаний с шелковыми тесемками, — это моя заслуга. Хотела ли ты этого вторжения в твою жизнь, в твои мысли, в создание воспоминаний, которыми будешь терзаться и наслаждаться все оставшиеся годы? Думаю, мечтала ты о другом. Надеюсь, что хотя бы не жалеешь о сплетении наших судеб.

Ты помнишь?.. Я почему-то думаю, что ты все-таки помнишь. Теплый желто-коричневый свет из двери ложится на доски крыльца и на влажный от росы гравий дорожки. Воздух ночной сильно посвежел. Стоит терпкий запах травы и пряный ночных фиалок. В полосе света возникла фигурка нашего пятилетнего сына, в пижаме рядом с тобой. Он сонно щурится, а твоя ночная рубашка, подсвеченная желтым светом, надутая ветерком, напоминает чашечку поникшего полевого колокольчика, пронзенную солнечными лучами.

«Смотрите, смотрите», — шепчу я, протягивая вам на ладонях обернутого мешковиной ежа. Тот поначалу свернулся в плотный клубок, но, пока я звал из дома тебя и сына, пленник понял, что попал не в пасть хищника, и решил проявить характер. Из середины игольчатого шара высунулась его остроно-

сая мордочка и зафырчала, как закипающий чайник. Ему были предложены отступные в виде эмалированной миски с молоком и двух сочных долек желтого яблока. Отпущенный еж фыркнул громче прежнего и, высвободив из колючек длинные лапы, прытко понесся в заросли некошеной травы, проигнорировав угощение. Трава шуршала, и еще долго слышалось из темноты его возмущенное фырканье. Правда, утром я обнаружил пустую, опрокинутую миску и отсутствие яблок.

В доме пахло сыростью, панцирная кровать ныла от малейшего движения. Потолок над нами скрипел — на втором этаже бессонно бродил твой брат. Сквозь щели тянуло табачным дымом его сигареты, а вокруг печной трубы, уходившей в потолок, светилась золотая тонкая полоска света. Тут же стояла кроватка сына с поднятой боковой стенкой и накрытая марлей от комаров, воздух от которых звенел за приоткрытой форточкой.

На рассвете я скашивал переросшую траву, ступая резиновыми сапогами на отраженные в застоявшейся воде траву и облака. К влажному лицу липла пыльца от метелок овсяницы, мятлика и травы со смешным названием лисохвост. Запах болота, аромат мокрой земли и травы… У меня болели спина и руки от непривычной работы, и хотелось поскорее закончить. Я чихал от пыльцы и сердился.

Ослепительное отражение солнца в воде, переплетение вымоченной желтовато-белой травы, звенящая тишина, не нарушаемая даже всплесками воды от лягушачьих тел и птичьим писком, — ласточки нарезали круги высоко в небе… Я чувствовал, как остро хочется жить в такие моменты. Вот было бы счастье — остаться, словно памятник в высокой траве, неподвижным, но все ощущать. Ноги бы оплел вьюнок, в кармане штормовки свили бы гнездо малиновки, в отросших волосах копошились светлячки, божьи коровки и бабочки, а нос, наверное, облюбовала бы жесткокрылая стрекоза с крыльями цвета бензиновой радуги на поверхности лужи.

Жестоко было показать людям мир, в котором им так мало суждено пребывать. Это напоминает, когда ребенка зовут с улицы, а он хочет продлить немудреные радости и кричит в ответ: «Еще пять минут!» Словно его наслаждение игрой через пять минут получит логическое завершение, которое приведет к желаемому удовлетворению. Разве может быть наслаждение чем бы то ни было конечным, завершенным? Впрочем, если его не прерывать, то и оно наскучит, станет обыденностью, и начнутся поиски чего-то лучшего. Гуманнее держать человека постоянно в бетонных коробках-домах, тогда и конец будет принят более благосклонно. Вечная полярная ночь и холод — вот прекрасный выход. В таком случае наслаждение только в ожидании — света, тепла, солнца, травы.

Почему так страшно умереть ночью? Так хочется дожить до рассвета. Умереть, но увидеть свет. Надеяться… Страх темноты похож на страх смерти — неизведанное страшит. К смерти и темноте привыкнуть нельзя. Но ведь и долгий, ослепительный свет утомляет, раздражает. Ждешь вечера, темноты и покоя, однако это — если знаешь, что завтра снова будет свет. Противоречивость терзает меня. Хочется темноты и хочется света, хочется жить и хочется не жить. Не смерть, но покой, отстранение. Посмотреть на все со стороны, не участвуя в процессе, не утомляясь, не терзаясь.

Уходят люди, и мы смиряемся, зная, что и наш черед придет. Их чаяния, мечты, поступки — все растворяется, как сахар в кипятке. И мы все плаваем в этом приторном сиропе из несбывшихся ожиданий и неудовлетворенности, печали и редких мгновений радости и счастья.

…А помнишь подосиновики и подберезовики? Мы срезали их тем же вечером на нашем участке. Прохладные, упругие, со шрамами на шляпках от

острой травы, немного перезревшие, кончившие жизнь под моим десантным ножом.

Ты пожарила их на старой чугунной сковороде с картошкой и сметаной. Мотыльки бушевали вокруг включенной лампы. Белыми облупленными рамами была разлинована ночь, воцарившаяся снаружи маленькой террасы, — мы еще не успели повесить шторы. Звонко стучали о стекло лампы мотыльки, за окном фырчал наш вчерашний знакомый, для которого я оставил нескошенную траву в углу сада.

И вдруг та ночь исчезает, уносится вдаль, и я вижу, словно через длинную подзорную трубу без линз, маленький домик с освещенными окнами, плохо прокошенный сад с лужами между кочек, и в каждой луна и пригоршни звезд. Труба вытягивается, становится бесконечной, а картинка с желанным домиком оказывается размером с зернышко, с далекую звезду в глубоком космосе.

Вдруг на меня надвигается пыльное лобовое стекло моего зеленого «жигуленка». Первой моей машины. За окнами мелькает лето, перезрелое, с жирной листвой, с пылью и желтыми бочками кваса на перекрестках. Мы с тобой купили продуктов, отстояв несколько очередей в маленьком магазинчике по дороге на дачу, распихали продукты между тюками с дачными вещами, кота воткнули на полку под заднее стекло вместе с аптечкой и металлической сеткой с яйцами. Сына у нас еще не было.

Сетка позвякивала, кот урчал, разомлев на солнце, в салоне пахло бензином, колбасой и квасом, пролившимся из пластикового бидона. Внезапно исчезло все вокруг в мутной пелене сильного ливня. Вспенилась дорога, пузырями пошло лобовое стекло, и обнаружилось, что «дворники» ночью украли. Пришлось остановиться. А едва дождь стих, мы развернулись и поехали домой. После ливня на даче лужи и сырость, которую не сразу и огонь в печи прогонит. Грустно было возвращаться в душную квартиру с покупками, с солнцем, светившим в зеркало заднего вида и разбившимся на сотни дождевых капель, облепивших стекла. Но капли быстро высохли, остались пыльные разводы и невнятное недовольство оттого, что поездка не состоялась. Далее пробел. Будто наша зеленая машина возникла из ниоткуда и исчезла в никуда.

А помнишь?.. Нет, этого ты помнить не можешь. Ты никогда не видела, как горит металл, и не в плавильной печи, а сам по себе. Пламени почти не видно на солнце, но жар такой, что кожа на лице и на руках, кажется, вот-вот вспыхнет.

Я не загорелся. Немного опалило рукав комбинезона на плече, зато водитель «БТРа»… Я вытащил его, мои пальцы соскальзывали, срывая кожу с его рук вместе с ошметками одежды. Этот запах снился мне потом по ночам. Я просыпался от удушья. Ты должна помнить, что со мной происходило в такие ночи. Ты плакала от жалости, оплакивала неизвестного тебе паренька, сгоревшего в «БТРе» и меня, нелепого, бросившего институт, чтобы пойти в армию, зная, что идет в Афганистане война. Это был осознанный поступок, насколько может он быть осознанным для вчерашнего школьника, который читал о войне только в учебнике по истории.

Кажется, только что я играл в футбол пыльным синим резиновым мячом на школьном стадиончике. И вот снова пыль, но чужой земли, а на ногах не старенькие кеды, а ботинки. Другая земля — это почти что другая планета — горы, которых до того никогда не видел, душманы в халатах, перепоясанные пулеметными лентами.

И вдруг снова обрыв в памяти, в последовательности событий. Меня отбросило назад. Двор около дома. Несколько легковых автомобилей блестят

на солнце, покачивается чье-то белье на веревках, испаряя запах «Лотоса». Площадка, где выбивали ковры на массивных железных перекладинах, сплошь поросла травой и лопухами, такими жирными и огромными, каких я потом больше нигде не видел. Запах травы перебивал стойкий дух стирального порошка. Мороженое в вафельном стаканчике источало необыкновенный, сладчайший запах вафли, разбухшей от подтаявшего сливочного мороженого. Вдруг и мне перепадет кусочек?

Знойное лето, асфальт плавится, но зелени много, и каждый куст отличное укрытие, когда играем в прятки или войнушку. Мы себе казались ловкими, в собственном воображении росли до супергероев, мушкетеров, робингудов. Стреляли из палки, а те, кто побогаче, из магазинных пистолетов и автоматов. И попадали. Низенький бетонный заборчик вокруг школы выступал в роли множества амбразур, правда, торчавшие из него арматурины часто рвали штаны лихим стрелкам.

Потом мы стали большими. Заросли, грезившиеся нам джунглями, поредели, потускнели, и вдруг выяснилось, что совсем не просто спрятать под пулями в реальном бою свое громоздкое, неловкое тело, особенно если оно сковано страхом, в руках не палка, а увесистый автомат и тяжелый боекомплект оттягивает плечи. Кусты легко простреливаются, бетонные заборчики от крупнокалиберных пуль разлетаются в пыль, а кожа и плоть человека для них тоньше пергамента.

Но тогда, еще до изменения моего взгляда на многие вещи, все выглядело так, как выглядело. Я не искал сложность там, где ее нет, и даже по-настоящему трудное мнилось простым и, что удивительно, на поверку таким и оказывалось.

Как легко было дружить, самозабвенно откровенничать и испытывать от рассекречивания заветных тайн особое наслаждение великодушия. А можно было просто молчать, сидя рядом с другом.

Я снова подбираю очередной обрывок памяти. Он слепяще солнечный, как и тот день, когда мы с другом сидели на холме, над оврагом, неподалеку от реки. Весна началась. Холм был усеян цветами мать-и-мачехи, коренастыми, ярко-желтыми. Из-под коричневой прошлогодней травы, свалявшейся за зиму, как нечесаные волосы, прорезались изумрудные стрелы молодой травы. Ожили муравьи и сновали по холму неутомимо — вниз, вверх. А мы сидели, свесив с холма ноги в кроссовках, сбивали щелчками муравьев со штанин и жарились на жгучем весеннем солнце. Разомлевшие, мы молчали, и я был счастлив от этой дружеской близости, уединенности ото всех. Мы решили всегда встречать весну на этом месте. Но уже на следующий год друг безмятежно забыл об уговоре. А еще через год холм срыли, устраивая парк у реки. Вроде бы обычное дело — закрутила повседневная суета, взросление привнесло свои заботы и трудности, однако я считал его предателем тогда и спустя многие годы не изменил мнения. Весна с тех пор померкла, приобрела легкую горчинку досады.

Ты не задумывалась, отчего весна так похожа на осень? И в то и в другое время года бывают одинаковые пасмурные дни, с голыми деревьями, с обнаженной слякотной землей.

Если судить по внешнему виду весны и осени — это одно и то же, если не брать пик весны — цветение деревьев, распускающиеся почки и пик осени — мороз и выпавший снег. Несколько недель безвременья — куда качнутся качели? Окунутся в солнце жизни или погрузятся в дождливые сумерки не смерти, но уныния, анабиоза? Может ли осень окунуться в свет, а весна — наоборот, рухнуть в ледяную прорубь? Бывает, что уже на распустив-

шиеся листья и цветущие деревья ложится снег, а в декабре вдруг набухают почки и просыпаются ежи, и медведи покидают берлоги. Но, в конечном счете, механизм запущен, и какими бы ни были сбои, бунт будет неумолимо подавлен, зачинщики наказаны — деревья с набухшими почками и незадачливые животные, вышедшие из спячки, замерзнут. А снег, контрабандой выпавший невовремя, будет сожжен солнцем. Осенью и весной острее, чем когда-либо, чувствуется сила и власть стихии. Осенью нападает сонливость и возникает желание залечь в спячку, как медведь, а весной обуревает жажда побед и побегов от себя, от людей, от обязанностей и долгов. Мы тоже подчиняемся стихии, впадаем в депрессии осенью и совершаем чудачества весной. И все же весна и осень очень похожи, нам приходится меняться в эти времена года, обязательно меняться, чтобы перейти бескрайнее заснеженное поле зимы или окунуться в тихие теплые озера лета. Старики и дети тождественны зиме и весне. Одни стоят на обочине белого холодного поля, другие живут ожиданием вечного лета, радостей, тепла и света.

Ты помнишь тот вечер в южном городе? Мы с тобой долго-долго шли по предвечерним улицам, еще не освещенным фонарями. Справа в глаза заглядывало красное, словно от натуги, солнце, стремящееся изо всех сил задержаться на небе. Жара и легкий запах дыма. Мы слышали отдаленный шум моря, почти заглушенный гулом автомобилей. И среди райских пальм, цветущих деревьев на фоне моря, которое далеко внизу, — кладбище, почти сплошь из белого камня. Невысокий забор, склепы, кресты — все белое, теперь розовое от заката. Католическое кладбище. Мы забрели туда как в музей. Поглазеть на скульптуры ангелов, резные кресты и барельефы на стенах склепов.

Под твоими босоножками песок похрустывал. Засело в памяти — тихий шелест в глухой тишине кладбища, розоватый ракушечник и мрамор склепов, таинственные тени. Это стало для меня предчувствием войны. А эта война показалась кривым отражением афганской.

…Любопытство. Как будет теперь, когда я офицер, мне тридцать один год и есть опыт? Немногое изменилось. От моей «опытности» пули не стали мягче, взрывы не превратились в безвредные фейерверки, а мишени были не бездушные и не фанерные. Я понимал больше, и от этого становилось тяжело и больно.

Помню все так же, урывками, только теперь обрывки памяти — это не клочки бумаги, а осколки, на которых нацарапано: «Дождь. Слякоть. Страх и апатия».

Капли дождя тяжело и громко стучали по моей «сфере». Но их слышно было только в паузах между стрельбой и взрывами. Нам предстояло идти вперед, но все упорно лежали за обломками какого-то дома. Это была уже не первая наша атака за сегодняшнее пасмурное утро. На камуфляжи налипла грязь — то и дело приходилось падать на землю, ползти, нас засыпало комьями жирной грязи после близких взрывов. Кроме грязи на нас налипла усталость. Дождь капал, жить хотелось и спать. Дальше чем на минуту вперед не загадывали, да и в той ведь целых шестьдесят секунд.

«Надо идти», — сказал кто-то за моей спиной. И все продолжали лежать. Пули выбивали из нашего укрытия не пыль, а липкую от дождя мучнистую субстанцию, которая, как пудра, белила наши лица. Несколько десятков Пьеро — это было бы весело, если бы не было так грустно. Отчего-то не возникало мысли — зачем нам все это надо. Необоримое влечение к смерти. Смешение чувств — обреченности и ликования. Не помню, как так вышло, но я оказался впереди. Тактические ухищрения здесь не имели никакого смысла. Была необходимость преодолеть маленькую площадь в воронках, где рябила

желто-мутная вода, возмущаемая дождем и взрывами. Преодолеть и скрыться за очередными грудами битого кирпича и торчащих пустоглазых оконных рам. Мне показалось, что кто-то толкнул меня в спину. Липкое, темное нахлынуло, затопило все внутри, словно я был пустотелой фарфоровой фигуркой, в которую залили черный воск. И вроде даже не боль, а холод в руках и ногах и предчувствие сильной боли, которая ударит, едва пройдет адреналиновая эйфория.

Небо оказалось передо мной, и оно двигалось, уползало назад, словно его натягивали на огромный барабан. Но это меня уносили. Голова запрокинулась, и я видел бегущих позади. Стреляли. Потом меня уронили, и я потерял сознание надолго. Вонючий сырой подвал стал моей новой реальностью. Я лежал на сыром деревянном столе. От него так резко пахло кровью, что меня стошнило, благо лежал на животе, свесив голову вниз. От пронзительной боли в спине онемели руки и ноги. Мне мерещилось, что их нет, осталась только одна спина, полыхающая болью. Из меня тащили осколки сначала пинцетом. Хирург, здоровый, в камуфляже, который трещал у него на плечах, в резиновых окровавленных перчатках, пыхтел, потел и, наконец, сменил пинцет на обычные плоскогубцы. Окунул их в спирт и снова принялся тянуть, медленно, опасаясь, видимо, что ребро сломается пополам, если дернуть слишком резко. Медленная, мучительная эта пытка отняла последние силы. Даже кричать я не мог. Потом, обессиленного, замотали в бинты, как в кокон, и я почувствовал себя почти препарированным, с вынутыми внутренностями. Легкость овладела мной от действия обезболивающего.

Меня куда-то несли, я опять слышал взрывы и выстрелы. Но думал, что война для меня кончилась. Эвакуируют, отлежусь в госпитале, и начнется новая жизнь — без стрельбы, без войны, без смерти.

А через три месяца я все в том же камуфляжике, заштопанном на спине, баюкая автомат на руках, вышагивал по улице, где меня ранило. Под ногами железно шуршали гильзы и асфальт, который превратился в мелкие камешки, почти что черный песок, от взрывов, траков и колес тяжелой техники. Я помню тот день, хотя не вспомню, куда и зачем мы потащились под дождем. Меня охватило ощущение не то чтобы счастья, но торжества, что я здоров и война вроде идет на убыль, — так мне тогда казалось. Листья на деревьях начали распускаться, и пахли они терпко, соревнуясь с запахом мокрой жирной земли. Мирные такие ароматы, и вдруг вонь ударила в нос. Я заоглядывался и увидел, что из дома с разбитыми ступенями на крыльце солдаты выносят на брезенте тела погибших. Солдаты замотали свои лица тряпками, лишь бы не чувствовать запах. А трупы — они уже не напоминали человеческие тела, настолько изуродованные, раздутые, синие, черные, некоторые без кожи. Я смотрел, не в силах отвести глаза. И торжество, и счастье иссякло, да и была его, на поверку, какая-то жалкая капля, этого сиюминутного счастья. Осталась пустота, превратившись в сущность, хотя она ведь пустота, ничто, а превратилась в осязаемое, болезненное нечто, сдавившее все внутри. Мне уже не хотелось никуда идти. Дождь усилился, завис, грязной мутной пленкой отделив дома от дороги, конец улицы от нас. Оглушительно барабанили дождевые капли по брезенту, еще больше подчеркивая тишину и пустоту. Не помню, что было потом. Лишь поздний вечер и ночь. Только дождь, дождь, и свернутый в подушку бушлат под щекой в десантном отсеке. И бессонница, и сильная боль в спине, наверное, от сырости. А к боли прибавилось отчаяние и чувство беспомощности, ведь никому до меня здесь дела нет. Храпят, сопят, лежат рядом. У каждого своя боль, свои мысли.

Здание, которое нам выделили под временную базу, не успели разминировать, палатки — вещь в ночном, стреляющем городе ненадежная — это поняли, когда после первой же ночи обнаружили дырки от пуль в брезентовых стенах.

И вот попрятались под броню — кто спал, кто нет, близко друг от друга и очень далеко. Все хотят выглядеть мужественными, равнодушными к трудностям и опасности. Но боль одинаковая для всех, она не разбирает ни чинов, ни званий, ни пола, ни возраста. У кого-то болят старые раны, у кого-то живот, у кого-то голова, у кого-то совесть или душа, а кто-нибудь мирно и безмятежно спит, без страданий, без лишних мыслей.

Другие дни той командировки выпали из памяти, остался этот, дождливый, долгий, в конце которого я уткнулся носом в бушлат, как в свое одиночество. От бушлата пахло маслянисто тушенкой и горьким табаком, так, наверное, одиночество и пахнет — сигарета натощак и консервы вместо домашнего обеда. В какой-то момент я перестал верить, что ты ждешь меня, и одиночество завладело мной безраздельно. Я смирился в его плену и только лелеял в памяти наши совместные с тобой обрывки часов, дней, событий.

Странно, почему мы так держимся за воспоминания и вещи, которые нам что-то напоминают. Странно. Ведь память уходит вместе с нами в небытие, в забвение, остается, лишь если мы делимся с кем-нибудь нашим сокровенным. Но и собеседник рано или поздно уйдет в небытие. Куда же денется это, эфемерное, туманное, сотканное в большей степени из ощущений? Кто-то напишет мемуары, и туман обретет плоть, но будут ли слова на бумаге идентичными тем обрывкам, которые кружатся в голове, как осенние листья, — то рассыпаясь, то закручиваясь в вихре.

Командировки на войну слились в одну долгую, мутную кляксу в памяти. Капля ртути. Изо дня в день перекатывалось нечто серое, унылое. Дождь, но солнечные всплески, облака пыли позади «БТРа», дождевые капли на стволе автомата; спорадические перестрелки, горящие дома, пепелища, подвалы, где трупы свалены в кучу, кладбище подорванной техники, выставленной во дворе ПВД, обезглавленные трупы наших солдат у реки; едкий запах дыма, клубника в мокром газетном кульке, ссадины на костяшках пальцев, появившиеся после того, как удалось схватить трех боевиков живыми. Кажется, именно те трое, не ставшие героями, выдали нам хорошо замаскированный и хорошо оснащенный госпиталь боевиков. Увидев подземные операционные, белоснежные, с мощной вентиляцией и освещением, со шкафами, ломившимися от хирургических инструментов и лекарств, я вспомнил того врача в грязноватом камуфляже с плоскогубцами, которыми он только и смог извлечь из меня осколки.

Какой чудовищный этот механизм войны — лечить не из сострадания и жалости, а для того, чтобы снова сунуть в пекло. А если все, если конец, то можно и бросить. Безответные тела, с безмолвными впадинами ртов, с открытыми пустыми глазами. И только мы, те, кто в любой момент мог оказаться на месте безгласных трупов, только мы понимали и всегда вытаскивали своих или возвращались за погибшими любой ценой, если не удавалось забрать их сразу во время боя. У нас там был свой кодекс, свои безусловности, зачастую противоречившие хаотичной природе войны. Войны, которую мы сознательно выбирали и которую не менее осознанно правили на станке, слепленном из наших судеб, жизней, из наших правд, которые у каждого свои. И вот парадокс — слитые воедино правды становятся глобальной ложью. Во всяком случае, так это выглядит со стороны.

Стало такой же ложью и окончание войны, а правдой это стало только для горстки людей. Для одних — прекращение дальнейших убийств, для дру-

гих — предательство тех, кто уже сложил головы, тех, кто был под защитой наших войск, а после их ухода останется один на один с боевиками.

Месть не лучший советчик, но я не желал покидать наши завоеванные позиции. Мне хотелось стрелять. Капля ртути — спрессованные события последнего времени, она словно бы пришла в движение, перекатываясь, нарушая покой, нарушая равновесие, и без того шаткое.

Еще один обрывок памяти — последний день той войны, вернее, вечер, черный, звездный. Звезды были особенно яркие в затемненном молчаливом городе. Я помню, как, раздетый по пояс, выбежал во двор из духоты кубрика и бессмысленно начал палить из автомата по звездам, словно хотел погасить и их. Пусть будет полная темнота, могильная. Ведь это место стало для нас братской могилой. И для павших, и для живых. Для живых — кладбищем воспоминаний об ушедших. Я салютовал им своими безумными автоматными очередями в небо. Меня словно понял кто-то на другом конце города и ответил, трассерами исполосовав злые звезды, светившие упрямо, словно бы с издевкой.

Я похоронил троих близких друзей за войну, один пропал без вести. Все они мои однокурсники, но младше меня. Для них эта война стала первой. И последней.

Конечно, они не близкие родственники. С ними прожито было совсем немного. Малость даже в масштабах нашей короткометражной жизни. Я уговаривал себя не вспоминать, но в голове вспыхивали тревожным светом маяка последние мгновения, когда я видел своих друзей. И этот требовательный свет уводил меня в русло темной, заиленной реки, глубокой, но с мелями и рифами. Реки печали и домыслов. Помню, как один из них перед отъездом в никуда отдал мне список бойцов. Но раз за разом перед моими глазами прокручивался этот его жест, прищур глаз, улыбка, и я цеплялся за эту бытовую мелочь, потому что начал забывать его лицо. Я смотрел на него на фотографиях, и мне казалось, что в жизни он выглядел иначе, от его присутствия рядом со мной остались ощущения, и они не соответствовали фотографической точности, с какой он — отпечаток его лика — остался на бумаге. Фотографии не вечны. Бумага. Я панически боялся потерять хоть одну, ведь не было негативов. Память в виде фотокарточек расходилась по рукам, всем хотелось урвать хоть клочок и, уединившись, всматриваться в подзабытые лица. У каждого из нас была своя река, вверх по течению которой суждено было пройти только ему, одному.

Другой произнес странную фразу напоследок, многозначительность и подтексты которой мне суждено было разгадывать до конца моей жизни. А фраза, в общем, была бы самой обычной, если бы не гибель после этого, если бы не предчувствия, которые мы любим приписывать ушедшим навсегда людям.

Третий вдруг перед выездом на спецоперацию отдал мне свой нательный крестик. Как ни уговаривал я его, он стоял на своем. Убеждал, что крест всегда хотел передать сыну. Крестик-то старинный. А совсем недавно он его потерял — крест сорвался с цепочки, и он с трудом отыскал его в складках камуфляжа.

Даже если бы он погиб, крест все равно отдали бы сыну. Но друг пропал без вести.

А с четвертым мы поссорились за несколько дней до его гибели и не разговаривали вовсе. И ссора-то пустячная. Страшнее всего оказался его уход именно из-за недосказанности, из-за этого пугающего безмолвия, оставившего мне тягостный шлейф раздумий.

Теперь память подкинула не обрывок, а поминальную записку, где четыре имени. Того, что в плену, я вписал тоже. Эти имена у меня так и стоят перед глазами…

Снег. Экскурсионный автобус. Разноцветные шапочки и куртки второклассников, среди которых и мой сын. Вышли на затоптанную площадку, а наверху, на холме, в блеске зимнего солнца и морозной дымке к небу росли белые монастырские стены. Они именно росли — эти старинные стены. Мы приближались, поднимаясь в гору, а стены становились все выше и выше. А потом поверх стен засияли купола храма.

Детей больше привлекла в одном из зданий монастыря маленькая лавочка сувениров с деревянными игрушками — свистульками и птицами счастья.

А я зашел в храм. Там черными тенями колыхались на сквозняке рясы на нескольких монахах. Один стоял на коленях.

Свечи лежали на низком столике, их не продавали, каждый назначал свою цену и клал деньги рядом. Я написал записку об упокоении и взял четыре свечи.

Свет падал из узкого окна слева, но он не затмевал свечных огоньков. Четыре свечки стояли в ряд, как солдаты в строю. Я заплакал, не облегчая душу, а словно предчувствуя, что в этот строй еще шагнут многие, знакомые и незнакомые. Смущаясь, я взглянул на монахов — лиц не видел, только могучие спины, и мне почудилось, что это Они стоят здесь. Я не мог остановить нежданные слезы, торопливо вышел из храма и прятал глаза от учительницы сына и нескольких мам, сопровождавших экскурсию.

Вдруг зимние просторы за окном автобуса сменились ослепительной бирюзой моря. Ты помнишь то, наше, море? Пляж, окаймленный скалами. Пустынный, с брезентовой палаткой, прижавшейся к самой грозной скале с огромным козырьком, который укрывал нашу палатку от дождей и посторонних взглядов. Ее было видно только с моря. Впрочем, и море оставалось пустым, и высокий берег за нами — из каменных темно-серых наростов перетекал в степь, а степь бледно-коричневой массой подпирала белое небо, которое, как туго натянутая парусина, то вздувалось, и казалось, что мы растворимся в этом небе, нас втянет вслед за ним в белую бездну, то опадало, прижимаясь к сухой потрескавшейся земле и стискивая наш с тобой мирок до пределов палатки, окутанной сперва песчаными вихрями, а потом огороженной стенами дождя. По утрам, когда море еще сонное лежало до горизонта платком, переливающимся в рассветных лучах, сверху со степного плато раздавался, почти как вертолетный гул, стрекот цикад.

Если бы не сын, я хотел, чтобы мы умерли тогда, когда были так счастливы, хотя это и было грустное счастье. Не умереть, но остановиться, чтобы время застыло янтарем, запечатав нас — палатку, море, скалы и степь в желтом солнечном всплеске, в солнечном «зайчике».

Но остановившееся время, замершее мгновение — это, так или иначе, — смерть.

А горечь… Ведь и я, и ты знали, что война не кончилась. Котел, в который вместе с человеческими судьбами накидали дров, оружия и взрывчатки. В котле бурлило, постреливало, выплескивая оружие и наркотики в наши города.

И наши ребята замерли на низком старте, те, кто хлебнул на войне страха, отчаяния и особого ликования, хмельной радости жизни и упоение в смерти врага. Многие жаждали мести. Правда, упоение это, может, не через месяц и даже не через год, но неизбежно рождает свинцовую тяжесть в душе. Они, быть может, еще не знали.

Я тоже ждал стартового выстрела — и когда ездил в заснеженный монастырь, и когда процеживал горячий песок сквозь пальцы на диком пляже. Я не рвался в бой, просто понимал, что стартовать придется, ожидание будет оправдано.

Все во мне противилось предстоящему. Я не хотел слушать новости. Машина с радиоприемником осталась наверху, на скале, спрятанная под тентом.

Слушал только шелест песка о брезент нашей палатки, шум моря, которое большим непредсказуемым существом льнуло к берегу. Оно напоминало барса, пушистого, красивого, которого так хотелось погладить. Но рука, уж было протянутая, отдергивалась сама собой, я встречался взглядом с барсом. Кошачьи глаза с острыми веретенцами, которые того и гляди завертятся в бешеном ритме, накручивая дикость и ярость, возникшую, по нашему мнению, ни с того ни с сего, а на самом деле потому, что мы ничего не знаем о манерах и повадках барса. Укушенные, мы обзываем животное глупым зверем, а барс уже снова заигрывает. Он не прочь поиграть, поставив вас на место, а мы уже бежим за ружьем.

Неожиданно для меня в эти дни, полные слияния с природой, когда мы плавали и загорали, в дни, насыщенные противоборством с ней же, с природой, когда ветер норовил умыкнуть нашу палатку, а просыпались мы порой по горло в соленой воде, в это время я вдруг ощутил то самое состояние, от которого, как мне думалось, избавился, расстреляв однажды черное небо. Одолевали бессилие и отчаяние. Маленький крестик на цепочке, который мне снился и который я в задумчивости рисовал палкой на песке.

А бессилие оттого, что нельзя сдвинуть время назад — время оно ведь такое тяжелое, как все горы на Земле вместе взятые. Не сдвинешь, не повернешь вспять, оно часть груза с себя перекладывает и на наши души. Каменный отпечаток его глубокий и заполняется, как водой, мыслями грустными, ведь ничто не терпит пустоты.

За почти три года без войны, наверное, многое происходило, но только два памятных листка сохранились. Один — поминальная записка, другой — на широкой высохшей полосе водоросли, на которой не слова, а только рисунок, вроде бы детский. Это ты нацарапала осколком раковины. Палатка, две фигурки и лодка под парусом на волнах.

Мы приехали домой осенью. Падали листья, и началась война.

Я отправился туда сразу же с фотографией сына в кармане камуфляжа. На фото он с лиловыми гладиолусами почти с него ростом.

Ты помнишь ту фотографию? Помнишь раннее дождливое утро? В маленьком квадратном школьном дворике словно лежал дракон с разноцветной чешуей из зонтиков. Мокрые, они блестели в тусклом свете, исходившем от сентябрьского неба, одутловатого, серого. И на тебе был серый плащик, как клочок этого неба. Но тебя нет на фотографии.

Ты помнишь?.. Почему так хочется чувствовать сопричастность к твоим воспоминаниям, и почему так близок человек, с которым вас связывают общие события? Наверное, потому, что именно от такой сопричастности отступает ощущение врожденного вселенского одиночества.

Я понимал, что уж на войне-то пусть лучше будет одиночество, без тебя. Хватало того, что рядом находились друзья и сослуживцы, которые сопереживали. Они испытывали те же чувства, что и я.

Но в чем оно, родство душ, осветляющее, очищающее? В том, что при словах: «А помнишь?» у двух людей всплывает в памяти один и тот же час, а то и минута. У них одно и то же отношение к произошедшему когда-то много

лет назад. Почему часто люди расходятся — друзья, мужья и жены? Потому что на вопрос: «А помнишь?» собеседник вдруг морщит лоб и молчит. Такое молчание страшит, оно сродни предательству.

В первые месяцы третьей моей войны было не просто ощущение дежавю, а чувство, что ничего не прекращалось, а длилось, длилось, громоздился курган из черепов, и черепа эти не нарисованные, а самые что ни на есть подлинные. Война продолжала уносить жизни моих друзей. Как дико было представлять и видеть цветущих, молодых, сильных — костями и черепами, обугленными, растерзанными трупами. Больше всего гибли при подрывах на дорогах. Будь прокляты эти дороги, нашпигованные железом и взрывчаткой!

А самое гадкое в этом всем — липкий страх, горький, будто сжевал ветку полыни.

Холод преследовал меня, я не мог согреться ни днем, ни ночью. И все время ощущение, что одежда надета наизнанку — от невозможности помыться как следует. Мы наступали и организовать даже временную баньку не успевали. Походная душевая, как правило, была с холодной водой. При той сырости и холоде даже мысль о холодной воде заставляла содрогаться.

Мы продвигались вперед. Они в ответ огрызались и упирались, цепляясь за каждый клочок, но вскоре перешли на положение партизан, а мы стали напоминать фанерные мишени, которые на стрельбище перемещаются с места на место и запрокидываются назад, если в них попадают. Механизм передвижения мишеней работал, как и на стрельбище, плохо, заржавел. Чаще всего, стоило нам выдвинуться со своего ПВД, об этом знали все кому не лень. В итоге — или подрыв, или сорванная операция. А когда удавалось все-таки выскочить скрытно — неизбежный открытый бой приводил к потерям, ранеными и убитыми. И мы словно бы не могли сойти с этого запрограммированного пути — наши заржавевшие направляющие не давали нам соскочить с него, мы закостенели, действовали почти всегда стандартно. А противника учили в тех же училищах. Мы часто попадали в засады или шли в лобовые атаки. Чья возьмет? Авось наша. Не всегда брала. Учились на потерях, и это стало кровавой учебой.

Время спуталось, как после взрыва все смешивается — земля, песок, камни, кусты, человеческая плоть, время сплелось в клубок. Дни стали дождливыми ночами, ночи расцветили выстрелы и сигнальные ракеты, судьбы стали похожими, как будто тысячи близнецов собрались вместе. И на долгие годы эти судьбы были определены. Если выживут… Если вернутся… Еще очень не скоро судьбы разойдутся каждая по своему вектору, но, встретившись в толпе, мы узнаем друг друга…

Война, очевидно, принимала затяжной характер. Круговорот командировок и отпусков еще больше спутал мысли, чувства, ориентиры. Казалось, что так все и будет — война без конца и края, навязчивый запах пороха и свежевскопанной земли. Они набили оскомину.

Сумерки… Я чувствовал себя постоянно блуждающим в сумерках. Но лишь мое внутреннее состояние давало такое ощущение, ничего больше. Я мог в любой момент все это закончить, порвать длинный свиток, на каждом сантиметре которого красными чернилами было нацарапано «Война». Свиток напоминал рулончик бумаги в кассовом аппарате. Менялись покупатели — люди, техника, местность; мелькали дни, месяцы, аулы, населенные пункты, но кто-то неизменный, запрограммированный маленькими пальчиками с накрашенными ярко-красным лаком ноготками выстукивал на этом чертовом кассовом аппарате строчку за строчкой одно и то же — война.

Но я не торопился порывать с прошлым. Не знаю, чего ждал. Может, того, что война иссякнет сама собой или снова вмешается кто-то волевой и безжалостный. Тогда на табло диковинного воображаемого мной кассового аппарата возникнет надпись: «Empty» — пустой. И мы будем пустыми, хотя казалось, эмоции и впечатления захлестывают. Но за громким всплеском всегда следует тишина.

Опустошение я и так испытывал, опустошение и безмерную скуку. Наперед знал, например, кто из сослуживцев сбежит после первых же дней новой войны. Те, кто сильнее всех бил себя в грудь, преждевременно геройствовал. Они не были подлецами, просто запала им не хватило. Да и в чем, собственно, подлость, когда есть жажда жизни?! Просто иногда чувство долга сильнее желания жить. Но таких могикан, как я, в общем, было не много среди тех, кто остался и после первых недель, и после первых месяцев.

Месть и азарт, риск — вот что бросало многих вперед. Упоенные местью достаточно быстро откололись от наших дружных шеренг. Остались приверженцы офицерского долга — профессионалы и примкнувшие к ним искатели приключений. Среди профессионалов попадались и охотники рисковать, лезть в заварушки и устраивать их самим. Они потом заслуженно бренчали наградами или ковыляли на протезах, или лежали под гранитными плитами.

Жаждущих заработков волонтеров отсекло государство, сняв с кровавых боевых действий статус войны.

А такие, как я, у кого азарт был в прошлом, оставались при горячих головах чем-то вроде «успокоителей качки», в качестве скептиков. Охлаждали их, сидели у госпитальных коек, отвозили домой в цинках.

…И вдруг сумерки прорвались. Я словно внезапно проснулся, разбуженный постукиванием чайной ложки о край чашки. Мы с тобой как обычно сидели на нашей кухне, и ты в задумчивости помешивала кофе.

Утренний слабый осенний свет падал из окна. От него янтарно высветилась вазочка с абрикосовым вареньем. Кофе пахнул упоительно. А ты была еще сонная, от тебя исходило тепло. Лежал на полу серый кот, и его серебристая шерсть искрилась в робком свете.

Тишина и покой. Листья падали за окном с высокого тополя, и падали капли из крана.

Я знал, что там, откуда недавно вернулся, ничего не изменилось — те же дороги со смертоносными фугасами, стойкий запах пороха, и скоро ко всему еще прибавится осенняя распутица.

А дома тихий, чистый листопад, особый рассеянный свет, запахи кофе и хлеба, и ты, спокойная, сонная, в синем махровом халате и оранжевых шлепанцах.

Все в кухне и за окном приобрело истинный цвет и запах, словно со всего этого сняли защитную пленку, и я увидел, как все выглядит на самом деле.

Можно жить без войны. Будто бы я обнаружил, что с обратной стороны того рулончика бумаги, который медленно выползал из воображаемого кассового аппарата, написано совсем другое, чередуются слова: «Жизнь» и «Мир». А как повернуть его, уже зависит от меня. Я решил больше не ехать туда, и от этого решения испытал облегчение.

Решил. И поехал через два месяца, когда осень обманула и вдруг обернулась зимой, с виду такой же спокойной, как предшественница, но многоснежной и стылой. Вернее, даже постылой. Черной и белой, без намека на цвет.

А я берег в себе состояние недавнего осеннего утра и тебя, запомнившуюся сонной, тихой. Как в начале войны хранил карточку сына в глубоком

кармане, так берег в глубине души ощущение покоя и уверенности, что почему-то именно теперь со мной ничего не случится.

Скрывал ото всех, но решил, что нынешняя командировка станет крайней.

Но она стала последней. Был слякотный, пасмурный день, балансирующий на грани с вечером. Он и свалился в вечернюю темноту, как в омут, освещенный, как средневековым факелом, нашим горящим «БТРом». В нем никого уже не было, оранжевое зарево освещало меня, лежащего на земле, хрипящего, умирающего, и моих ребят, раненых и контуженных взрывом и последовавшим за этим обстрелом. По искореженному подорвавшемуся «БТРу» из ближайших домов несколько раз боевики выстрелили из гранатомета, тяжело ранив моего зама.

Боевики еще стреляли, пока мои офицеры выбирались из загоревшегося бронетранспортера и вытаскивали меня. А потом воцарилась мертвая тишина. Мы ждали подмоги, но нас никто больше не обстреливал. Вспыхнул «БТР», из люков вырвалось пламя и бесшумно лизало чернеющую на глазах броню.

Я уже почти находился там, где был недоступен ни для кого из живых. В мути беспамятства, чуть подсвеченной сквозь прикрытые веки заревом пожара, мне казалось, что рядом со мной валяется та самая картонная папка с потрепанными тесемками, открытая, и ветер треплет листки, перебирает, напоминает, но пламя уже коснулось заветных листков. Не поддается огню лишь плотно скрученный рулончик с надписью «Война». Никто, кроме меня, не видел эту папку, ни для кого она не была сколько-нибудь значима.

…Я падал слишком долго, чтобы вдруг осознать свое падение и остановиться. Я пролистал обугленные листки, обрывки, записки из папки, которая неожиданно оказалась цела. Я исчезал за горизонтом Земли и возвращался. А однажды вернулся окончательно. И понял, что выжил.

Морг, из которого меня, ожившего, бегом, на грохочущей колесами тележке мчали в операционную. Реанимация, где за меня дышали и жили странные, неживые машины. И, наконец, ты, ставшая тождественной первому проблеску моего возвращения.

Я начинал создавать память словно бы заново. И первое, что я «записал» на обратной стороне больничного листка, — кислый рубиновый морс в фарфоровой чашке с длинным носиком, запах стерильных бинтов, въевшийся мне в кожу запах пожара, твои руки, смуглые, теплые, с розовыми ноготками, пахнущие солнцем и медом. Солнцем…

Шорох армады вновь народившихся листьев, доносившийся из открытого окна, бабочка на облупившемся подоконнике, в задумчивости медленно складывающая и распахивающая коричневые с яркими глазками крылья. Лето. Вдруг лето. Лопухи и одуванчики в зарослях госпитального сада в обрамлении мелких голубых цветов россыпью…

Новые «записи» лягут поверх старых в моей потертой папочке памяти. Но все, что было, будет проглядывать сквозь новые наслоения, как через тончайший пергамент. Силуэты погибших друзей, горящий «БТР» и мертвенный свет в пропахшем кровью и смертью морге — они будут мешать наносить новые записи, и рука то и дело будет обводить их контуры, в любой момент — и долгими ночами без сна, и когда, наслаждаясь морем, сидя на берегу, я вдруг нарисую на песке крест. Тот, что так и не решился лично передать адресату, и тот, который буду нести до последнего своего вздоха.

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Сегодня мы открываем новую рубрику «Одно стихотворение». Иногда в нашей обильной и нередко унылой поэтической почте вдруг сверкнет, как искорка в золе, одно стихотворение. Мы решили не дать исчезнуть таким блесточкам. Это было бы обидно. Незазорно написать только одно хорошее стихотворение. Почетно! Это значит показать себя настоящим поэтом. Поэтому рубрика «Одно стихотворение» заводится и для профессионалов, мастеров слова. В начале прошлого века издавали даже книги одного стихотворения. Этой чести были удостоены Маяковский и Есенин. Одним стихотворением дебютировал в «Новом мире» Твардовского Владимир Короткевич. Всего одним трехстишием (хайку) прославилась в Японии тринадцатилетняя Оаки, дочь кондитера. Эссе нашего японского корреспондента об этом факте мы публикуем в этом же номере. Итак, дорогие поэты и читатели, добро пожаловать в новую рубрику.

Отдел поэзии

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

Август

Я светом наполнен,
как в августе сад.
На солнечных нитках
дождинки висят.
Как будто в предчувствии
скорой беды,
Срываются глухо
на землю плоды.
Но лучше всего
ничего не иметь —
Лишь золото лета
да осени медь.
День спрячется в тенях,
и вечер пройдет,
И поздняя птица
на ветке уснет.
И медом наполнятся
клеточки сот.
И кто-то счастливый
тот мед соберет.

ГЕОРГИЙ РАПАНОВИЧ

Вернись!

Раисе Коноваловой

Мне о тебе тревогу не избыть.
Дождь белый, словно память, липкий.
Неужто сердцу больше не испить
Твоей, как лучик солнечный, улыбки?

Я не забуду никогда тебя —
Пусть годы исказят судьбу и внешность...
Ты уходила (помнишь ведь?), и я
Спасал тебя, укутывая в нежность.

Вернись ко мне, счастливой или нет!
Вернись — пусть радостью или бедою.
Пусть из чужих объятий... ты — мой свет,
Моя любовь, разросшаяся втрое.

Ее с тобой нам хватит на двоих!
И в ней, любви, не в снисхожденьи,
Я превзойду себя, и этот стих
Неужто же тому не подтвержденье?

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ

* * *

Ты спросил, отчего я смеюсь.
Я ответила: «Мне хорошо!»
Я боялась — поймешь ты. И пусть!
Ты не понял. Смутился. Ушел.

Он спросил, отчего я бледна.
Я ответила: «Все хорошо...»
И еще, что совсем не пьяна.
Он все понял. И тоже ушел.

Не спросил меня муж ни о чем.
Не заставил стыдиться и лгать.
Лишь ладонь положил на плечо.
И позволил мне просто молчать.

ВАЛЕНТИНА МОРОЗОВА

Ты сегодня одна

Я вам больше не верю.
Все слова ваши — ложь,
И надежды мои —
Как пролившийся дождь.
Солнце больше не светит,
В небе туча черна.
Насмехается ветер:
«Ты сегодня одна».
В поле пахнет полынью,
И измята трава.

Мне гадала ромашка:
«Ты сегодня одна».
Над моим изголовьем
Тускло светит луна,
И кричит где-то птица:
«Ты сегодня одна!»
Я в беду не поверю:
Жизнь для счастья дана.
Эта глупая птица,
Пошутила она.

АНЖЕЛА БЕЦКО

* * *

Февраль. Февраль. Зима на убыль...
Я знаю все о феврале:
Как стынут на морозе губы,
Когда целуют их во мгле.
Как колоколом ходит платье,
Когда вплетается в подол
Вдруг ветер... как твои объятья
Над всем творят свой произвол.

АНДРЕЙ ДМИТРАКОВ

Гостья

У стенки комод и кровать.
Засиженный стул у окошка.
К полуночи в дом забралась
Худая, бездомная кошка.

Уселась она на стул,
Поджав белых лапок подушки,
И всю промурлыкала ночь
У тела усопшей старушки.

А утром румяный внучок,
Спеша на лужок, по привычке
Забросил в окошко батон,
Пакет молока и спички.

АНДРЕЙ ТЯВЛОВСКИЙ

Эпилог войны 1812 года

...Лишь у Нёмана кони замедлили бег
И застыли... Но путь не окончен.
Из кареты на берег ступил человек
И устало окликнул:
— Паромщик!

У меня не осталось надежных друзей,
Да и сил остается немного.
Генералы, солдаты, фельдмаршалы — все
Убегают по этим дорогам.

Негодяи, мерзавцы!.. Ответь на вопрос,
Не щади воспаленные нервы:
Сколько трусов, паромщик, ты здесь перевез?
— Никого, Император.
Вы — первый...

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ

(Токио)

У колодца сакуры

Шумит-бурлит славный стольный град Токио, в прошлом Эдо. Не было в нем тишины и три века назад, когда население города насчитывало всего миллион человек. Как сообщают историки, особенно шумно становилось в марте, когда расцветает сакура и ни один человек не может удержаться от восхищенных восклицаний. История, о которой я хочу рассказать, и случилась как раз в марте, три века назад. Любитель тишины и сосредоточенных раздумий князь Риннодзи принц Кампо прогуливался по аллее сакуры храма-монастыря, настоятелем которого он был. Накануне вечером здесь было много людей, о чем свидетельствовали обрывки оберточной бумаги, палочки для еды и прочий мусор. Но князь старался меньше смотреть под ноги, ведь цвела сакура. Вдруг он заметил клочок бумаги, привязанный к ветке. На листочке было что-то написано беглым красивым почерком. «Что бы это могло быть?» — подумал преподобный и подошел ближе. Прочитав, он ахнул и потерял покой на много дней.

Буддийские монахи проделывают множество упражнений, чтобы научиться сохранять невозмутимость в разных случаях жизни. Они медитируют, сидя на пятках, а встав, опять медитируют, разминая ноги. Они читают сутры, они бегают ночью по горным тропинкам — то ли от треволнений, то ли за бесстрастием. Они беседуют о невозмутимости со своими учителями, наконец, просто жгут дощечки с пожеланиями этой самой невозмутимости. Все эти штуки монах и настоятель монахов принц Кампо наверняка проделывал много лет, и вдруг одна эта несчастная бумажка перевесила все долгие годы его упражнений: так он взволновался. А на листке было написано:

Эй, поберегись!
У колодца сакуры.
От вина ли пьян?

Неизвестный поэт не стал напрямую связывать нетрезвое состояние человека и опасность угодить в колодец. Герой и главное действующее лицо стиха — это сакура, она опасна своей беспутной красотой. Но смотри же, выпивший лишку, не только на цветы, но и под ноги тоже!.. Глубинный смысл метафоры при всей ее кажущейся простоте потряс настоятеля храма.

Уже назавтра слуги и рядовые монахи побежали по близлежащим кварталам: не писал ли кто каких-нибудь слов намедни на горке Уэно в храме Канъэйдзи? Скорее всего, в первый раз они вернулись ни с чем. Но преподобный был настойчив и нетерпелив. Поиски продолжались, охватывая все новые районы Эдо. Причем, никто из горожан не знал, что было написано на том злосчастном клочке бумаги. Решили, что некий злодей начертал оскорбительные слова о религиозном учреждении. Иначе зачем же его так упорно ищут? Наконец, Кампо доложили: «Писавший признался».

Автором тристишия оказалась тринадцатилетняя девчонка Оаки, дочь кондитера Оомэ с Нихомбаси.

Что потащило ее за два ри (более восьми километров) от дома, теперь уже не скажешь. Скорее всего, относила заказ клиенту, а на обратном пути забежала в Канъэйдзи посмотреть на сакуру. Это же так важно для поддержания разговора с подружками! А возможно, заглянула на цветочную аллею по дороге домой с занятий «хайкай» у учителя Кикаку.

Такараи Кикаку, один из «10 лучших у ворот Басё», был человеком большой учености, пьяницей и бедокуром. По воспоминаниям современника, «если выпьет лишнего, голым скачет или представления разыгрывает...». А выпить в родном городе Кикаку мог буквально у любого угла. Что, скорее всего, и проделывал.

Однако при всем при том беспутный поэт имел понятие, где дурачиться, а где нет. Учеников своих держал в доброй строгости, о чем говорит хотя бы тот факт, что дочь торговца ходила к нему с девятилетнего возраста (по другим источникам, с семилетнего). Потом она вышла замуж за одного из соучеников, ухаживала за любимым учителем в старости и составила его посмертный сборник.

Сколько времени длилась та встреча почтенного монаха и юного дарования, сейчас уже узнать нет возможности.

Может быть, оное дарование успело получить тумаков от отца, узнавшего, по каким далям шляется его почти половозрелое чадо. А может быть, не успел с расправой, так как ему сообщили о визите почтенного человека, особы императорского дома, принца Кампо в их дом, не блещущий богатством. Отнекивалась ли девчонка, когда Кампо расхваливал ее творение, молчала, потупившись, или только хихикала и, вытаращив глаза, пожирала ими редкого гостя? Кто знает. Хотя можно предположить, раз Оаки ходила на занятия «хайкай» уже достаточно долго, она знала, как вести себя на людях: кланяться в ответ на похвалы, а в речь вставлять что-нибудь подчеркивающее достоинства собеседника. Конечно, слишком расхваливать высокопоставленную особу неприлично, поэтому девочка наверняка делала упор на безмерном счастье, постигшем ее дом с появлением столь знатного гостя.

Результатом встречи было то, что ученый монах счел собеседницу вполне состоявшимся поэтом (возможно, она читала ему и другие свои стихи) и присвоил ей поэтический псевдоним: Кикуго-тэй Сюсики.

С этим псевдонимом Оаки никогда не расставалась. Известно, что она вышла замуж, что из нескольких сотен учеников Такараи (Эномото) Кикаку именно ей было доверено составить посмертный сборник учителя с комментариями, что умерла она в 55 или 57 лет.

Наверняка она была ласковой дочерью, верной женой и мудрой матерью. В поэтическом обществе Кикаку ее, скорее всего, кто-то превозносил до небес, а кто-то за глаза обзывал бездарной выскочкой. Найти другие ее произведения нелегко, но возможно. Нужно ли? Для имеющих сугубый интерес — без сомнения. А для нерафинированной читающей массы, каковой большинство, существует непоседа Сюсики, привязавшая свое сочинение к ветке и умчавшаяся дальше по своим важным девчачьим делам.

Такараи Кикаку был талантливым поэтом, эксцентричным человеком, верным другом, приятным собеседником и добрым учителем. Когда его жизнь подходила к закату, слава великого учителя Басё уже не затмевала его собственную. Один раз во время засухи он написал стихотворное прошение к Богу о дожде — и на следующий день дождь случился. Один раз он тристишием спас кролика от расправы. И много еще каких былей и небылиц о нем сложили. А кроме всего прочего, среди его заслуг есть заботливо воспитанная ученица, оставившая миру одно тристишие.

Эй, поберегись! У колодца сакуры. От вина ли пьян?

Ученый монах Риннодзи Кампо прожил, без сомнения, плодотворную жизнь. Не зря он был заслан Двором в Эдо — ой, не зря! Не жалея ни времени, ни сил, он, вероятно, заводил полезные связи, проводил политику Двора при военном правительстве, доносил Двору о последних политических веяниях в Эдо...

А своему народу он известен как открыватель единственного стихотворения смешливой девчонки.

Вспоминали ли рядовые монахи и работники храма о диковинном случае во время любования цветами? Конечно! Иначе как бы этот случай стал известен?

Более всех из героев этой истории повезло сакуре, на которой Сюсики повесила свой стишок. Колодец рядом огородили, а дерево показывали всем желающим: вот оно — то самое! Когда срок его жизни вышел, на его месте посадили другое, того же сорта «есино-сакура». Сейчас уже растет седьмое или восьмое по счету дерево.

МАРК ДЮГЕН

Счастлив как бог во Франции

Роман

1.

Мой дед Жюль, ухитрившийся, наряду со многими другими стариками, не только выжить, но и протянуть едва ли не целый век, несмотря на три жестоких войны, обладал даром изрекать афоризмы. Возвращаясь памятью в прошлое, в 30-е годы, я вижу деда как живого на его маленькой ферме возле Везелей: живые глазки, колючая щетина усов над верхней губой, похожая на солому, свисающую с крыши его хижины. Они пожелтели там, где постоянно соприкасаются с наполовину выкуренными, наполовину сжеванными сигаретами, следовавшими одна за другой без перерыва. Однажды дед, обычно скупой на слова, сказал, вернувшись после ночного бдения у гроба молодого парня, скончавшегося от туберкулеза: «Не видно гордости на лице покойника». На следующий день, вернувшись с похорон, он бросил собравшимся на поминки: «И зачем только нужно умирать, если живые остаются все такими же идиотами?»

Я вспоминаю эти изречения деда в тот момент, когда ко мне подкрадывается смерть, которая делает вид, что совсем не обращает на меня внимания. Но ей не удастся обмануть меня, и я боюсь ее не больше, чем долгого сна в жаркий полдень. Если бы смерть действительно была страшной, то покойники то и дело возвращались бы с того света, чтобы пожаловаться на нее. Особенно это могло бы происходить во Франции, где раньше других изобрели бюро рекламаций.

Вот уже несколько месяцев, как мне стало в тягость чтение. Наверное, потому, что книги безжалостно напоминают мне все, о чем я должен был написать сам. Написать о печальном времени, о котором давно столько сказано, хотя нередко и с большим опозданием, о времени, сквозь которое я прошел так же незаметно, как ночные мыши, беззвучно бегающие вдоль плинтуса. Вот потому-то я и взялся за этот труд.

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'Aide à la publication «Maxime Bogdanovitch», bénéficie du soutien de Culturesfrance, opérateur du ministère français des Affaires étrangères et européennes et du ministère français de la Culture et de la Communication, et du Service de Coopération et d'Action culturelle de l'Ambassade de France en Biélorussie.

Данное произведение, изданное в рамках Программы помощи публикациям «Максим Богданович», пользуется поддержкой Кюльтюрфранс, оператора Министерства иностранных и европейских дел Франции и Министерства культуры Франции, а также Отдела по Сотрудничеству и Культуре Посольства Франции в Республике Беларусь.

2.

Родители мои жили в небольшом домике со стенами, возведенными из дикого камня. В одном из обычных домов тридцатых годов, не представляющих из себя ничего заметного. Надо сказать, что после войны 14 года, когда всем нам наглядно показали, что такое настоящие разрушения, эти новые сооружения, казалось, извинялись, что не идут в ногу со временем. Небольшие особняки в пригородах, гордость их владельцев, но и оскорбление хорошего вкуса, росли как грибы. Наш был спланирован крайне неудачно; в его узких высоких комнатах сквозняки резвились с той же непосредственностью, что и в каминных дымоходах. На другой стороне улицы располагался ипподром Шампиньи, и там всегда царило возбуждение, действовавшее на меня завораживающим образом. Из кухни на задней стороне дома можно было выйти в небольшой простенький садик, безуспешно старавшийся выдать себя за стильный мелкобуржуазный палисадник. Он заканчивался через несколько шагов, упираясь в боковую улочку, извивавшуюся между другими такими же садиками до самого берега Марны.

Отец не разрешал мне бывать на ипподроме. К этому заведению он испытывал неприкрытую ненависть. Для него он был местом, где мерзкие богатеи в компании с простонародьем делали крупные ставки на глупых животных. Мнение отца я уважал, потому что он был человеком с принципами. Славный ветеран 14-го года, несгибаемый коммунист, он провел всю жизнь в разъездах, так как работал представителем небольшой винодельческой фирмы. Это занятие вынуждало его копировать манеры буржуа, потому что приходилось иметь дело и с крупными фирмами, торговавшими вином и другими спиртными напитками, и с фешенебельными ресторанами, владельцы которых не слишком заботились о защите прав трудящихся. Моя мать, родом из Альзаса, была обычной служащей на железной дороге. Отличаясь трезвым умом и легким характером, она всегда пребывала в прекрасном настроении и никогда не спорила с отцом.

Я хорошо помню себя начиная с последних лет возраста юного проныры. Мои внешние данные только выглядели многообещающими. Обеспечив мне высокий для моих лет рост, живой взгляд, гибкое тело, они снабдили меня довольно узкими плечами, несмотря на часы, проведенные на веслах на Марне. Все это стоило мне прозвища «Сен-Галмье», по названию бутылки, производившейся в этом городке. В общем, мое телосложение воспитало во мне стойкое отвращение ко всем видам спорта. Характер мой обладал такой важнейшей чертой, как стремление уклоняться от трудностей. В моем замкнутом мирке не было места для убеждений. Он включал в себя занятия в коммерческом училище, несколько неудачных, но упорно повторявшихся попыток проникнуть в женский мир и послеполуденные среды, проводимые мной на ипподроме. Я сознательно шел на нарушение семейных традиций, потому что мне нравилась толпа, состоявшая из богачей в цилиндрах и рабочих в беретах, которые находили в лошадином раю призрачное забвение, раз за разом проигрывая пари. Я никогда не делился с отцом своими порывами приобщиться к мировым проблемам. После некоторого здравого размышления, поскольку я не имел привычки лгать самому себе, я понял, что не слишком расположен добиваться счастья для окружающих. Меня устраивали мои небольшие личные радости, и я был готов сражаться исключительно ради удовлетворения собственной чувственности. Я был очень сильно привязан к моей семье, прежде всего, к моим родителям, любезно обеспечившим мне одиночество без братьев и сестер. А также к дядюшке и его супруге, жившим через две улицы от нас вместе с единственной дочерью, моей любимой кузиной. Я всегда с нетерпением ожидал очередного воскресенья, когда мы вшестером собирались вместе.

Дядюшка вызывал у меня безграничное восхищение. Искалеченный в 14-м году снарядом, он, благодаря полосатому костюму, шляпе и тросточке, выглядел

идеальным представителем своей социальной среды. Проблемы с изуродованным горлом ничуть не портили ни его аппетит, ни его постоянно прекрасное настроение. Народному фронту не удалось посеять разногласия в нашем семействе. Дядюшка был членом «Круа-де-Фе»[1], хотя и не слишком ревностным. Он подсмеивался над коммунистическими убеждениями моего отца, отец же с уважением относился к заслуженному ветерану, несмотря на его реакционные убеждения, прекрасно понимая, что в нем было гораздо больше благородства, чем во многих коммунистах. Тем не менее каждая их воскресная встреча сопровождалась спорами, нередко затягивавшимися до позднего вечера. Стычки всегда заканчивались дружеским ужином, для которого мать разогревала остатки обеда. В любом случае, обоих мужчин объединяло понимание того, что бургундское было менее тяжелым по сравнению с бордо и гораздо более приятным на вкус. Я могу припомнить только один по-настоящему жаркий спор между ними, основательно обеспокоивший меня и кузину, потому что та дискуссия могла привести к появлению серьезных разногласий внутри нашего небольшого клана. Причиной конфликта было подписание германо-советского пакта. Дядюшка упрекал отца в том, что он становится на сторону предателей.

Когда началась война, мой отец находился в Советском Союзе, куда поехал в составе делегации от ассоциации «Франция—СССР». Многие недели мы о нем ничего не знали. Оказалось, что наши вынуждены были обогнуть всю Центральную Европу, пробираясь домой через ее северную окраину, так что им пришлось побывать даже в Норвегии. Все это время опеку над нашей семьей, то есть, надо мной и моей матерью, обеспечивал дядюшка. Когда отец вернулся, он постарался стать как можно менее заметным. В это время правительство как раз начало охоту на коммунистов, обвинив их в сотрудничестве с противником. Мать, никогда не вмешивавшаяся в политические дела, потребовала, чтобы отец не высовывался. Поэтому мы вели себя точно так, как большинство французов, избежавших мобилизации. Мы замерли в ожидании, спрятавшись за «линией Мажино», воплощением французского инженерного искусства, реализованного в противовес тупой немецкой силе.

Когда боши наплевали на укрепленную линию, обогнув ее через территорию Бельгии — невероятный грохот танков доносился аж до Парижа, — наше настроение резко упало. Назревало сокрушительное поражение. После Дюнкерка отец и дядюшка надеялись, что еще может повториться чудо первой битвы на Марне. Но никакого сражения не получилось. Я как сейчас вижу бесконечные вереницы заполненных под завязку грузовиков и легковых машин, покидающих Париж в южном направлении. Вижу прижатые к стеклам детские носы… Франция потерпела поражение. В ее истории это произошло не в первый раз, но для меня это было впервые. Отец с дядюшкой заперлись в небольшом кабинете на втором этаже нашего дома. Их непродолжительный конклав закончился через полчаса. Они вышли из кабинета с серьезными лицами. И опечаленные. Не столько из-за того, что мы проиграли войну, сколько потому, что они впервые ничем не смогли помочь стране. Было решено не трогаться с места. У нас не было оснований, чтобы отступать перед противником. К тому же у семьи дядюшки не было легкового автомобиля, а транспортное средство, находившееся в распоряжении отца, было не в состоянии выбраться хотя бы за пределы департамента. Нам пришлось увидеть, как Париж оккупируют немцы; при этом мы старались не думать о происходящем, сконцентрировав все усилия на самом главном — на запасах еды и вина.

---

[1] «Огненный крест» — праворадикальная группировка, в которую входили ветераны войны 1914—1918 гг., нередко с членами своих семейств. Существовала с 1927 по 1936 г. (*Здесь и далее — примеч. переводчика.*)

Исключительная вежливость, проявляемая немцами по отношению к немногим французам, решившим не покидать Париж, доводила дядюшку до бешенства. Он не мог повстречаться на улице с этими германцами, старавшимися быть внутренне столь же безупречными, как их мундиры, без того, чтобы они не оказали ему ту или иную любезность, поскольку, благодаря его ранам, видели в нем противника, достойного уважения.

В моей коммерческой школе начали подумывать о сопротивлении. Это был весьма подходящий момент для того, чтобы вызвать восхищение у девушек проявлениями опрометчивой отваги, тем более, что никто еще не знал, что за этим последует. Я разрывался между желанием поважничать перед окружавшими меня малышами и моим прирожденным отвращением к бессмысленным поступкам, по своей значимости ничем не отличавшимся от подкладывания кнопок на стул нелюбимого преподавателя математики. Но мы уже вступили в эпоху любительского рыцарского романтизма, повлекшего за собой героический эпос против закованного в железо тевтонца.

3.

Как-то в сентябре 1940-го двоим парням с моего курса взбрело в голову установить рекорд по прокалыванию покрышек немецких автомобилей. Меня тоже пригласили в команду, в которой был предусмотрен большой выбор пышногрудых зрительниц. Сначала я отказался. Исключительно из-за отвращения к любительству. Мои приятели возмутились, обозвав меня трусом. Чтобы доказать, что я не боюсь, я был вынужден принять участие в экспедиции, оговорив при этом, что саботажем я заниматься не буду. Я был уверен, что от него нет никакого эффекта. Поэтому я остался рядом с девицами, в то время как мои приятели начали втыкать ножи в покрышки всех серо-зеленых автомашин, сгрудившихся без какого-либо присмотра вокруг Лионского вокзала. Вскоре наша команда рассеялась. Три девушки пошли с главными саботажниками, а я в одиночестве двинулся на велосипеде сквозь дождь по грязной мостовой. В понедельник, последовавший за этим дурацким мероприятием, мои друзья не появились на занятиях. Оказалось, что их арестовали после того, как они проводили девушек, вовсе не спешивших домой из-за прилива адреналина. Это случилось на площади Бастилии. Ребята не смогли удержаться перед искушением проткнуть последнюю покрышку. Двое солдат держали их на мушке, пока к ним не подошел офицер, которому принадлежала машина. Он прочитал им длинную проповедь о противоречии, которое он видел между их юным возрастом и актом бесполезного терроризма. Этот терроризм не столько наносил вред немцам, сколько причинял ущерб отношениям между ними и французами, ущерб, о котором они не думали. Мои друзья благословляли небо за то, что им попался офицер, говоривший по-французски, и они были уверены, что этой проповедью все и ограничится. Поэтому они не обратили внимания на последнюю фразу офицера, с которой он обратился на немецком языке к солдатам. Те нажали на спусковой крючок, не изменив бесстрастного выражения лиц.

Таким образом, в нашем училище появились первые герои. Девушки, которых провожали бедняги, перестали со мной разговаривать, как будто я был виноват в том, что меня не расстреляли вместе с моими приятелями.

Узнав о случившемся, мой отец и дядюшка отреагировали совершенно одинаково: «Если ты дурак, то ты и умираешь по-дурацки». Естественно, я воздержался от того, чтобы сообщить отцу о своем участии в трагическом мероприятии.

Приход к власти старого маршала обнадежил многих французов. Его патернализм действовал на всех подобно негромкой музыке в каком-нибудь борделе на площади Пигаль. В самом начале многие говорили — и мой дядюшка был в числе этих оптимистов, — что старый герой Вердена вынужден вести двойную

игру. Что он задабривает немцев, чтобы легче трудиться над освобождением страны. Но старик всерьез сотрудничал с оккупантами. Как только он взялся за руль, то сначала полиция, потом юстиция, а затем и вся Франция подпали под власть геронтократии. Мой отец после возвращения из СССР помалкивал и только время от времени ворчал, словно хищник, попавший в ловушку.

Я никогда не мог даже представить, что к нашей семье может относиться законодательство, направленное против евреев. В кругу семьи у нас никогда не было даже разговоров на эту тему. Мы не были ни евреями, ни антисемитами. Я не могу сказать, что мы не рассматривали людей этой национальности как слегка отличающихся от нас, что мы иногда не смеялись, подшучивая над нашими соотечественниками, избранниками Бога. Принципы отца никогда не позволяли ему говорить о различиях, основанных на расовой принадлежности, даже если в глубине души он все же считал, что некоторые из рас более сметливые, чем другие. Вероятно, это относилось и к евреям.

Что касается дядюшки, то он с войны 14-го года сохранил дружбу с одним евреем, и я никогда не слышал от него ни одного резкого слова, относящегося к этой нации. А вот моя тетушка считала иначе и никогда не упускала возможности ухватиться за еврейскую тему. Она говорила, что евреи не должны удивляться, что от них отстраняются, потому что они живут только для себя и только в своем кругу, нисколько не учитывая интересы окружающих. Поэтому она была особенно сильно удивлена, когда выяснилось, что наша еврейская проблема связана именно с ней. Я узнал от матери (заставившей меня поклясться, что я никогда, даже под пыткой, никому не передам ни слова из ее рассказа), что тетка потеряла отца в десять лет. Ее отец был пожилой мужчина; его возраст приближался к шестидесяти годам, когда он погиб в результате несчастного случая. Тетушка ничего не помнила о нем. У ее матери сложилась новая семья с неким Биро, уже много лет ее постоянным любовником; она намекала, что этот Биро и был настоящим отцом тетушки. В те времена разрушить существующее было гораздо сложнее, чем создать что-то новое, и поэтому с отцом тетушки все осталось по-старому. Да и какое это имело тогда значение? Тем более, что Биро, несмотря на неопределенность, всегда был очень ласковым с девочкой. Казалось, что у этой истории был хороший конец. Но так было до тех пор, пока не вступили в силу законы против евреев и нужно было доказывать, что в твоей родословной нет предков-евреев. Нечто подобное было при старом режиме[1], когда аристократам приходилось предъявлять родословные, чтобы доказать свое дворянство и претендовать на выгодную должность. Получить же желтую звезду можно было в два счета. Тем более что в соответствии с актом гражданского состояния, тетушка была дочерью Абрама Любянека, родившегося в Варшаве и имевшего родителями Моше Любянека и Сару Бернштейн. Тетушка решила ничего не предпринимать. Сидеть тихо и незаметно, надеясь, что ее муж-ветеран, католик, будет для нее прикрытием до той поры, когда к немцам и французам вернется рассудок. Действительно, это прикрытие сработало. Была ли это удача, или просто случайность, но ни один чиновник так и не заинтересовался моей тетушкой. К ней же так и не вернулась рассудительность, и она до конца своих дней проявляла легкий антисемитизм. Это было похоже на вакцинацию, когда тебе вводят ослабленный вирус, чтобы приучить организм к сопротивлению.

4.

Для моего дядюшки маршал был большим соблазном. Но потом, 18 июня 1940 года, он, как и другие французы, которых было меньше, чем обычно счи-

[1] «Старый режим» (l'Ancien Régime) – имеется в виду королевский строй во Франции до 1789 года.

тается, услышал призыв одного генерала. Отец ни в коей мере не доверял этому бывшему госсекретарю, бежавшему из Франции в Англию, к другому нашему наследственному врагу, и теперь появившемуся невесть откуда. Через несколько дней к сопротивлению призвали Дюкло и Торез. Отец почувствовал себя намного лучше, потому что он тяжело переживал германо-советский пакт, хотя и не признавался в этом.

Париж оставался безлюдным на протяжении нескольких недель, пока немцы не припугнули беженцев. После этого мы увидели, как возвращаются те же люди, с теми же повозками, с теми же растерянными лицами; это были те же толпы, от имени которых стараются яростно выступать определенные политики. Как будто они знают, что надо делать. Автомобили, как правило, не выдерживали бегства, да и бензин был дефицитом. Вся эта пешая публика, нагруженная большими узлами и чемоданами, была на одно лицо. Они были похожи на второгодника в первый день занятий, встречающегося с теми же преподавателями, которые терроризировали его в прошлом году. Или на пса, возвращающегося в свою конуру после трепки, полученной от хозяина, увидевшего его на улице во время погони за суками.

В мире никогда не будет совершенства. Обычно он только притворяется, что все хорошо. И все приспосабливаются к этому. Кто быстрее, кто медленнее. Испытываешь опьяняющее чувство, когда тебе в твои двадцать лет мир показывает свое истинное лицо. Тебе кажется, что ты оказался на вулкане. Ты можешь прекрасно знать, что под твоими ногами непрерывно клокочет кипящая лава, но ты все равно будешь потрясен зрелищем ее неожиданного извержения. Даже если потом тебя ожидают разочарование, страдания и нищета.

Среди вернувшихся в город было много таких, кто замкнулся в молчании. Некоторые из-за страха, другие потому, что не могли найти нужных слов. Только через много лет я узнал, насколько они были многочисленны в те дни. Говорили только те, кого принуждал к этому пустой желудок. Разумеется, за исключением нескольких фанфаронов, болтавшихся в пустоте, словно клочья облаков, остатки прошедшего облачного фронта.

Итак, Франция снова тронулась в путь в темпе, хорошо известном рулевым моторных лодок: тихим вперед.

Безжалостная, как обычно, установилась зима 1940 года. Вряд ли войну можно считать основанием для смягчения климата. Французы вернулись к моде, которая возвращается каждые восемьдесят лет — моде без ухищрений. Трудно согласиться, но похоже, что гражданская война обосновалась у нас в генах. С другой стороны, всегда хочется найти виновного в твоих несчастьях. Всеобщее предпочтение отдается космополитам. И тогда тут как тут оказывается еврей. Которому на грудь немедленно прикрепляют желтую звезду. Это выглядит не слишком скромно даже по сравнению с санитарной татуировкой на ухе у коровы из Лимузена. Такая политика продолжается с того времени, когда мы занялись поиском виновных в кризисе 32-го года и появлении Народного фронта, всех этих катастроф, которые обеспечили состояние неготовности к войне и подвели нас к черте поражения. Вдруг мы начинаем замечать этих бедолаг, бесцельно блуждающих, словно им завязали глаза для игры в жмурки. Под всеобщий смех их выталкивают на середину для дальнейшего издевательства. Они сталкиваются друг с другом, натыкаются на окружающие предметы. Когда у них с глаз снимают повязку, им удается ненадолго увидеть свет под сводами Зимнего велодрома[1], после чего они снова погружаются во мрак поездов смерти. Когда речь

[1] Зимний велодром (Vélodrome d'hiver, сокр. Vel d'hiv) — парижский велодром, куда в июле 1942 г. французская полиция загнала 8160 парижских евреев, отправленных затем в концентрационные лагеря. Из них в живых осталось человек 30.

идет о предании смерти, французы проявляют высокое мастерство. В возникших обстоятельствах они получили серьезную поддержку со стороны отработанной индустрии геноцида. Подумать только, что всего двадцать пять лет назад мы целились друг в друга из траншей. Какая бесхозяйственность! Мы же могли прекрасно договориться. У нас больше нет армии. К счастью, еще осталась полиция. Она восстановила свое былое великолепие. Забыты времена, когда Арсен Люпен выставлял на всеобщее посмешище комиссара Ганимара. С этим покончено. Полиция действует безупречно. Даже дети оказываются пойманными в ячейки информационных сетей.

Я говорю это сейчас. В то время я многого не понимал. Даже если у меня во рту появлялся отвратительный привкус, я не был в достаточной степени подростком, чтобы отчаяться, и не был достаточно взрослым, чтобы вновь стать им. Слишком много проблем существовало для моих чувств, чтобы я имел возможность забивать себе голову разными идеями.

Объявленный апокалипсис не состоялся. Задержавшая дыхание ежедневная газета снова начала дышать. Ожили и прочие пустяки, заставлявшие все же забывать, что все труднее и труднее становились поиски еды. Даже ипподром возобновил свою деятельность. Но трибуны стали не такими, как до оккупации. Крупные промышленники-евреи исчезли. Наверное, они опасались, что их заставят прилепить желтую звезду на крупы их лошадей. Это вызывало радость у чистокровных французов, которые уже предвидели радужное будущее для своих кляч. Бега стали восприниматься мной иначе. Дочь Шаффуэна, потомственного мясника нашего уголка, затерявшегося в долине Марны, владела баром под главной трибуной, работавшим после полудня по субботам и воскресеньям. Высокая красивая девушка, слишком яркая для печальной забегаловки. Спиртные напитки стали редкостью. Я часами торчал возле стойки, пытаясь поддерживать разговор, постоянно прерывавшийся выполнением заказов. Мне хотелось, чтобы у нее сложилось представление обо мне как о тонкой, культурной личности. Ее заинтересовала моя учеба в коммерческом училище. Когда я смотрел на нее, я не мог отделаться от мыслей о ее матери, толстой развратной женщине, излучавшей алчность. В отличие от нее, девушка воплощала для меня деликатность и великодушие, и более желанного создания до сих пор мне встречать не приходилось. Но я не привлекал ее. Я изредка замечал, как ее рассеянный взгляд ненадолго задерживался на мне, когда я изо всех сил пытался поддерживать беседу. Я не интересовал ее. Она считала, что для меня будет достаточно подержать ее за руку, когда мы шли вдоль беговой дорожки в ее заведение. Полагаете, что я должен был рассчитывать на продолжительные прогулки такого рода, прежде чем дело дойдет до поцелуев? Такой вот продолжительный романтический флирт в оккупированном немцами пригороде? Ничего подобного. В первый же вечер Жинет привела меня в гараж, принадлежавший ее отцу, от которого у нее был ключ. Она потребовала, чтобы я никому и никогда не говорил об этом месте. Я, разумеется, поклялся. В тот момент я мог поклясться по любому поводу. Это был гараж, запертый на несколько солидных замков, охраняемый большим сторожевым псом с таким же выразительным взглядом, какой можно увидеть только у солдата вермахта. Мне не составило труда понять необходимость такого стража. Отец-мясник Жинет использовал на всю катушку трудности военного времени. Не сомневаюсь, что уже в 1939 году он начал создавать запасы копченостей и колбас разных сортов. От всего этого у меня остались незабываемые воспоминания. Жинет, лежащая с задранным платьем на стопке мешков. Моя красавица в духе Пруста среди копченых свиных окороков. Мне пришлось обещать еще один раз, и я сдержал обещание. Она не хотела, чтобы я целовал ее, словно это было более предосудительно, чем все остальное. Потом Жинет привела в порядок одежду, чмокнула меня в щеку и рассталась со мной навсегда. Разумеется, я был у нее не первый. И, конечно, не последний. Впрочем, она ведь проявила внимание ко мне. И не только подарив близость. Прежде всего, она оказала мне доверие, приведя

на тайный склад своего отца. Я вспомнил разговор с одним старым завсегдатаем скачек, большим любителем лошадей. Он сказал, что жеребец после первой кобылы никогда не остается таким, каким был прежде. Дело в том, что до этого он думал, что знает. Но после этого он знает по-настоящему.

Не знаю, почему в этот момент я вспомнил об этой случайной беседе. Возвращаясь домой, я вспоминал ее и улыбался. Оставался более важный вопрос: что мы будем есть? Похлебку из брюквы или топинамбура? Впоследствии, когда чувство голода обострялось, меня не однажды охватывало желание прикончить пса и сорвать замки со склада мясника. У меня были все основания, чтобы успокоить свою совесть, посчитав это мероприятие вполне законным. Родители Жинет были отъявленными спекулянтами. А ее мать всегда расплывалась в улыбке, встречая на улице немца. Но я дал слово. И меня никто не освобождал от этой клятвы. В общем, это было попыткой сохранить остатки достоинства в мире пресмыкающихся.

5.

Проходили неделя за неделей. Свобода скончалась на самом деле. Наступил продолжительный период уныния. Каждый переживал это время по-своему. Многие уже начали изменять усопшей, озабоченные проблемой выживания. Другие, казалось, оставались в подавленном состоянии. Моя мать продолжала служить на железной дороге. Отец перестал изображать светского типа, потому что вино стало слишком дорогим. Дядюшка со всей семьей уехал из Парижа в Бретань, где снял на целый год домик, в котором они проводили лето. В деревне питались лучше, чем в городе, особенно, если был пятачок земли, где можно было содержать кур. Воскресенья стали совсем тоскливыми без них, без смеха моей кузины, воспринимавшей голодное время с юмором.

Я понял, что случилось нечто очень серьезное. Это было в тот день, когда я заметил, что отец перестал брюзжать. Для отца, как для многих коммунистов, потребность жаловаться была второй натурой. Его неожиданное примирение с существующим положением дел что-то скрывало за собой. Он стал пропадать часами, ничего нам не говоря. Иногда он уходил поздно вечером и возвращался только на следующий день. Мать ни о чем его не спрашивала. Когда я приставал к ней с вопросами, она молчала с видом заговорщика. Я всегда восхищался отцом. Воспринимал с уважением все, что он делал и говорил. Даже несмотря на то, что с годами жесткость позиции делала его в моих глазах все более и более суровым; казалось, что его представления о человеческом обществе окаменели и в них не оставалось места сомнениям. Потому что он никогда не сомневался, он никогда не предавался бесполезному философствованию, не расслаблялся, не ударялся в скептицизм, тогда как у меня была отчетливая склонность к подобным занятиям. Ведь так приятно ничего не делать под тем предлогом, что ты не знаешь окончательной истины. В общем, учитывая все эти соображения, я ничуть не удивился, когда он торжественно пригласил меня в свой кабинет на втором этаже.

Это было сентябрьским вечером 1941 года, накануне моего дня рождения. Назавтра я должен был отметить свое двадцатилетие вместе с бандой приятелей и несколькими не слишком щепетильными девушками. С организацией праздника было несколько проблем. Во-первых, поискам продуктов сильно мешал комендантский час, да и сложно было раздобыть достаточно спиртного, чтобы поставить на стол; во-вторых, наше жилище было не слишком просторным. В очередной раз, когда я оказывался центром внимания окружающих, все словно нарочно старалось мне помешать. Мой школьный приятель, некий Колло, догадался об этих затруднениях и предложил объединить мой день рождения с вечером, который хотела организовать его старшая сестра, уж не помню, по какому поводу. Поскольку у меня не было выбора, я согласился. Конечно, я знал, что

Колло сделал свое предложение только для того, чтобы удивить меня. Его отец был крупным капиталистом, королем винтов, шурупов и прочих резьбовых деталей. Я знал, что у него было пятеро детей, все такие чистенькие и гладенькие, словно их выпустили из автоклава, в котором высокая температура стерла все морщинки и прочие неровности на коже. Семье Колло принадлежала просторная квартира в Париже, на бульваре Распай, возле перекрестка с бульваром Монпарнас. Колло, чтобы показать, что их семья ни в чем не нуждается, даже разрешил мне пригласить нескольких моих лучших друзей при условии, что девушек будет столько же, сколько парней. Мне был очень неприятен этот Колло с его стремлением сделать из меня своего должника, но делать было нечего. День двадцатилетия не может промелькнуть мимо тебя, словно переполненный автобус.

Таким образом, как раз накануне этого дня отец раскрыл передо мной свои планы, полностью лишив меня возможности обсуждать что-либо. Делая вид, что национал-социализм защищает дело рабочего класса, фрицы ловко заморочили всем голову. Это стало ясно после их нападения на СССР. Теперь некогда было колебаться. Компартия Франции начинала борьбу против бошей и против Петена. Отец уже участвовал в ней. Он не стал мне говорить об этом подробнее, но объяснил, что подпольная война — это как математика. Чтобы продвигаться вперед, не нужно каждый раз доказывать теоремы. Ему понравилось это сравнение как свидетельство его интеллигентности. Часть программы, имевшая отношение ко мне, свалилась на мою голову, как горный обвал. Отец отправлял меня в подполье. Не интересуясь моим мнением, как это происходило несколько столетий тому назад с сиротами из высокопоставленных семей, которых, не спрашивая, отправляли в приют. Но я не мог отсутствовать подолгу, так как могли заподозрить участие нашей семьи в Сопротивлении. Тем более, я не мог участвовать в операциях подполья поблизости от нашего жилья — эти функции возлагались на более пожилых подпольщиков. Кроме того, я достиг возраста, когда меня могли в любой момент призвать в армию. Диктаторы любят молодежь — они хорошо понимают ее. Отец всерьез опасался, что немцы будут набирать в свою армию французов, чтобы отправить их сражаться на восток. Эта опасность была тем более реальной для меня, потому что моя мать была уроженкой Альзаса, вновь ставшего немецким. Поэтому отец решил, что я должен умереть, исчезнуть из списков гражданского состояния. У меня был только месяц для того, чтобы подцепить какую-нибудь опасную болезнь, быстро достичь агонии и благополучно скончаться. Это нужно было провернуть с участием врача, хотя и не бывшего членом партии, но считавшегося нашим единомышленником. На следующий день после своей кончины я должен был отправиться на юг и исчезнуть в тамошнем подполье. Вот таким образом я перенял эту профессию от своего отца. Мне даже не пришлось позаботиться о своем паспорте. Не посоветовавшись со мной, отец выбрал для меня фамилию Галмье, вспомнив мою старую школьную кличку. Я вышел из его кабинета с гудящей головой, забитой мыслями, словно сортировочная станция составами. Я не мог представить, что стану настоящим партизаном. Мне казалось, что я должен был стать артистом, чтобы сыграть эту непростую роль, достойную таланта Жуве или Габена.

Превратившись, таким образом, благодаря отцу, в подобие зомби, я в хорошем настроении отправился на праздник, явно последний для меня с моей настоящей фамилией. Едва я вошел, как почувствовал, что попал в высший свет. За два часа, потребовавшихся мне, чтобы добраться на велосипеде из моего пригорода до Монпарнаса, я превратился в мокрую мышь. Служанка, открывшая мне дверь, оглядела меня весьма неодобрительно. К счастью, в прихожую заглянул Колло с мундштуком в руке, золотыми часами в жилетном кармане и в галстуке-бабочке. Наверное, меня не выставили только благодаря его появлению. Едва за мной закрылась дверь в гостиную, как произошло чудо. Войне пришлось остаться в прихожей. В большой, обшитой деревянными панелями гостиной толпились французы и немцы с бокалами в руках, так мирно беседовавшие, как если бы

они оказались здесь после только что закончившегося теннисного турнира. У французов совершенно отсутствовал вид побежденных. Отец Колло поздоровался со мной, старательно отводя взгляд. Какой-то немецкий офицер разглядывал висевшие на стенах картины, явно испытывая наслаждение от этого занятия. После того как они вошли во Францию, словно нож в масло, местная элита готова была на все, лишь бы понравиться оккупантам. Единственная туча, несколько омрачавшая безоблачное небо, была связана с начавшейся на востоке новой кампанией. Тем не менее, никто не уходит из команды-победительницы. Я слышал, как отец Колло говорил какому-то коротышке с толстыми губами, что собирается запустить свои предприятия. «Нет войны без оружия, нет оружия без болтов и гаек». Его собеседник кивал головой, говоря: «Слава Богу, хаос был только иллюзией, за которой наши дела продолжаются в полном порядке».

Я увидел мадам Колло, старую истеричку. Ее другие дети, как и мой одноклассник, выглядели так идеально, словно их долго полировали мелкой наждачкой. Они делали вид, будто не замечают меня. Поль все же представил меня своей сестре, чей день рождения отмечали сегодня. Как и я, она родилась 13 июля 1921 года, так что нас можно было считать астрологическими близнецами. Выглядела она малость глуповатой, как дефективный ребенок, которого все еще носят на руках, хотя он давно вырос. Мой школьный приятель Марсель явился на праздник со своей кузиной. Шикарная девочка! Не знаю, то ли от вида стола, то ли по какой другой причине, но у нее широко открылись глаза. Поль тут же засек ее и подкатился к ней. Вскоре он отвел красотку за руку подальше от брата, чтобы без помех вскружить ей голову. Марсель сказал мне, что праздничный стол, уже порядком опустошенный, питал бы, считая в талонах, семью с восемью детьми в течение года. Вскоре гости старше тридцати лет постепенно стали уходить по одному. Немцы при этом щелкали каблуками, французы исчезали бесшумно. Мы остались, чтобы прикончить небольшие бутерброды, которые мы уже поглощали добрых полчаса, стараясь не разговаривать, чтобы успеть съесть побольше. Я много выпил, поскольку не желал, чтобы что-нибудь осталось на столе после моего ухода. Рядом со мной на стул устало опустилась какая-то девица. В приличном подпитии, с пресыщенным видом. Ее взгляд остановился на мне не столько из любопытства, сколько в поисках отдыха. Заметив, что рядом с ней кто-то есть, она завязала со мной разговор. Приглядевшись к ней, я нашел ее довольно симпатичной. Как оказалось, это была родственница наших хозяев, двоюродная сестра Колло. Начав длинный монолог, вызвать который может только алкоголь, она сообщила мне, что ей нравится жить во время, которое она назвала сумерками посредственностей. Фашизм привлекал ее, словно фонарь ночную бабочку. У нее была буквально физиологическая тяга к порядку и абсолютным истинам. Мечты ее ограничивались безумной ночной скачкой на большой черной лошади. Ей хотелось быть членом элиты общества, избавленной от банкиров-евреев. Слушая ее, я стал представлять себе фашизм совершенно не так, как вытекало из слов отца, параноидального приверженца теории борьбы классов. Похоже, что она страдала каким-то гормональным расстройством, буквально сжигавшим ее мозг.

Я понял, что понравился ей. Нам пришлось всего лишь пересечь бульвар Монпарнас, чтобы оказаться на улице Кампань-Премьер, в ее огромной квартире, напоминавшей ателье художника. Меня влекло к ней с той же силой, с которой негров тянет к белым женщинам, а белых мужчин к негритянкам. Стремление к неизведанному, к экзотике. Я был не в том возрасте, чтобы быть слишком требовательным к девушке из-за политических мотивов. Мы тихонько поднялись на третий этаж по широкой натертой воском лестнице; чтобы не шуметь, она даже сняла туфли на высоких каблуках. На ногах она ухитрялась держаться только с помощью перил. Я чувствовал, что живот у меня впервые за многие месяцы набит до предела; мне казалось, что он раздулся, словно у щенка, долго сосавшего свою мать. Раздевшись, она принялась причесываться.

С тем потерянным видом, который может быть вызван только неестественным увлечением идеологией.

Я с удивлением понял, как быстро заканчивается акт любви, по сравнению со временем, ушедшим на мысли о нем. Возможно, конечно, что так вышло из-за моих проблем с пищеварением. Потом я устроился в глубоком кожаном кресле, а девушка растянулась на диване, положив голову на подлокотник, и уснула в таком неудобном положении.

Утром она встала первой. После душа она принялась расхаживать по комнате совершенно голой. Я впервые видел женщину абсолютно обнаженной. Оказалось, что наблюдать за ней почти так же приятно, как и обладать ею. Конечно, слово «обладать» мало подходит для мимолетного соития без перспектив на дальнейшее.

Я уехал на своем велосипеде, подгоняемый дувшим мне в спину утренним ветерком. Он словно старался, чтобы я скорее удалился от своей случайной партнерши. Мне чудилось, что весь Париж вокруг меня сладострастно валяется в утренней постели. Путь домой показался мне очень долгим.

6.

Вернувшись домой, я застал мать в салоне, в низеньком кресле, с вязаньем. Подняв на меня глаза, она улыбнулась. «Я вяжу теплое для тебя», — сообщила она мне в ответ на вопрос, которого я не задавал. Она собирала мне чемодан так, словно речь шла о приданом для молодой невесты. В понедельник в десять часов вечера вернулся отец, бледный как смерть, в сопровождении доктора, которого можно было сразу узнать по кожаной сумке. Начиналось осуществление задуманного. Доктор принялся рассказывать мне о смертельном менингите, сокращая время действия пьесы. Оказывается, план изменился. Я должен был уехать через три дня, в ночь после того, как меня положат в гроб.

На протяжении двух последующих дней доктор непрерывно курсировал между своим кабинетом и нашим домом. Мать, старательно исполнявшая свою роль, рассказывала всем и каждому о том, что ее сын болен вирусным менингитом. Эта информация должна была держать сочувствующих на расстоянии. Скончался я на третий день вечером. Доктор заполнил свидетельство о смерти. Я напялил на себя свой единственный костюм. Мать загримировала меня, постаравшись придать как можно больше сходства с усопшим. На следующий день утром явились служащие погребальной конторы. Три коммуниста и один простофиля, выросший быстрее, чем его штаны. Их встретил отец, подробно рассказавший им об одолевшей меня заразной болезни. Заметив, что деревенский дурачок изменился в лице, коллеги предложили ему пойти подкрепиться стаканчиком успокоительного, пока они будут укладывать меня в домовину. Когда тот вернулся, гроб, наполненный мешками с песком, был заколочен, а я уютно устроился в шкафу. Бригада могильщиков направилась от нас на кладбище с гробом на катафалке. Родители шли за ним пешком. Вернулись они только к вечеру, с руками, распухшими от сочувственных рукопожатий соседей и знакомых. Ночью отец отдал мне поддельные документы и рассказал, как выглядит человек, с которым я должен был встретиться на юге. Получил я и деньги на несколько дней. Я поцеловал мать, как всегда, ласково улыбавшуюся мне, схватил чемодан из плотного картона и вышел через заднюю дверь на дорогу, проходившую вдоль берега Марны. Отец сказал мне, что эта дверь будет всегда открыта, пока не закончится война. Он похлопал меня по плечу и отвернулся. Я прошагал пару километров до дома одного из приятелей отца, где и оставался до утра. Отсюда, когда закончился комендантский час, находясь вдалеке от глаз знакомых, я добрался на трамвае до Лионского вокзала. Здесь-то я впервые почувствовал себя паршиво. У меня просто отказали ноги, как это бывало со мной после настоящих

похорон. Когда по-настоящему осознаешь, что умерший действительно ушел от тебя навсегда. В моем возрасте никто не боится смерти. И я скорее боялся жить вдалеке от родных. Мне стало так жаль себя, что пришлось скрываться в вокзальном туалете, чтобы спрятать слезы. Я никогда не забуду их солоноватый вкус, похожий на вкус жидкости из только что раскрытой устричной раковины. И отвратительный запах аммиака, заполнявший этот огромный хлев. Потом я подумал, что могу оказаться не только плаксой, но и трусом. И стал отвратителен самому себе. Подхватив чемодан, я направился к поезду, поклявшись себе, что никогда больше не проявлю такой слабости.

Очень скоро я понял, что могу влипнуть в большие неприятности. Перед выходом на перрон трое полицейских в компании с несколькими немецкими солдатами проверяли документы. В своих длинных, доходивших до щиколоток кожаных пальто они словно только что сошли с подиума, где демонстрировали модную одежду. Я знал, что в полицию записались в основном довоенные чиновники, ничтожные людишки, которым так или иначе не повезло в жизни. Своего рода результат скрещивания мелкой шпаны и тюремных надзирателей. Они жаждали реванша, оказавшись в обстановке, позволявшей им надеяться на успех. Кроме того, у них появилась возможность издеваться над соотечественниками, людьми, сбитыми с толку обстоятельствами. Они наслаждались возможностью обнаружить врага при проверке бумаг, поскольку это было единственное, в чем они хоть как-то разбирались. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы прочитать имя в документе, выданном префектурой. Если они видели, что имя заканчивалось на -штейн, -ски, -берг и так далее, то это означало, что жертва уже на крючке. Тем не менее я молился, чтобы мои документы не показались им подозрительными. Документы у меня взял самый невысокий из троих. Он действовал не торопясь, чтобы подчеркнуть важность своей работы. Сначала он осмотрел меня с головы до ног. Потом приказал повернуться в профиль, чтобы проверить, не похож ли я на космополита иудейского происхождения. Затем он приказал своему напарнику проверить содержимое моего чемодана. Сам он в это время принялся расспрашивать меня, куда я направляюсь и зачем. Он делал вид, что слушает меня невнимательно, но то и дело внезапно впивался в меня взглядом, чтобы определить, насколько я искренен. Я рассказал ему, что еду на похороны родственника. Он сделал вид, что колеблется, еще раз просмотрел мои документы и, наконец, отпустил меня, уже высматривая в толпе очередную жертву. Я заметил, что мое сердце бьется едва ли сильнее, чем перед проверкой. Кажется, мне удалось взять себя в руки.

7.

Атмосфера в вагоне была напряженной. Все косо посматривали друг на друга. Похоже, что люди никак не могли освоиться с этой войной, в которой противник не обязательно носил мундир вражеской армии. Чем-то это напоминало театральную постановку, в которой зритель внезапно отвечает на реплику, брошенную кем-то из актеров на сцене. Каждый раз, когда я в поисках свободного места открывал дверь в купе, на меня устремлялись тревожные взгляды. Поняв, что они имеют дело с юношей, похожим на студента, они успокаивались, поправляя лежавшие на коленях свертки и стараясь смотреть в сторону. В конце концов я остался в коридоре, где меня постоянно толкали то немецкие солдаты, то французские полицейские, поднимавшиеся в вагон на каждой остановке, словно у них была задача поддерживать нервозную обстановку. От нечего делать я смотрел в окно. Перед моим взглядом неторопливо проплывала моя милая Франция, спокойная и безразличная к тревогам своих обитателей. Пейзажи за окном чем-то напоминали мне лежащую на боку обнаженную женщину. Вот за эту Францию, мирную и нежную, я и должен буду сражаться. В городке Л. я сошел с поезда и

не торопясь направился к центру городка, старательно изображая хромого. Ко мне почти сразу подошел какой-то тип, высокий и тонкий, чем-то напоминавший лошадь, отощавшую на высохшем пастбище. Он спросил, как меня зовут. Продолжая старательно хромать, я ответил, что я Галмье. Мне показалось, что он поверил мне. Планы были таковы. Мы должны были отправиться в деревню, чтобы поселиться на несколько недель у одной женщины, учительницы литературы. Я ничего не должен был ей рассказывать о себе, о своем прошлом. Парень объяснил мне короткими сухими фразами, что подполье похоже на трюм судна. Множество водонепроницаемых перегородок. Если одна из них будет прорвана, судно все равно останется на плаву. Я должен жить у этой женщины так, чтобы обо мне никто не знал. В ожидании приказа. Никто не знает, когда он поступит. Через несколько дней, недель, может быть, месяцев. Теперь он будет моим единственным связным. Если от него придет кто-нибудь другой, то пароль будет «большой вечер». Я должен следовать за ним, не задавая вопросов.

Мы вышли к вокзальчику в старой части городка. Естественно, я уже не хромал. В сельскую местность нас доставил небольшой поезд с настежь распахнутыми окнами: в вагонах, нагретых августовским солнцем, было неимоверно душно. Слава богу, путешествие заняло не более трех четвертей часа. Мы сошли с поезда на станции, единственный домик которой прижался к склону зеленого холма. Поезд поволокся дальше. Когда стихло громыханье старого железа, наступила тишина. Ни единого звука, если не считать щебетанья птиц и хруста гравия под башмаками. Наша тропинка долгое время змеилась вдоль железнодорожного пути, потом свернула к холмам, покрытым смешанным лесом. Мой связной быстро шел, не говоря ни слова, пока не заметил, что я обливаюсь потом в шерстяном пальто с тяжелым чемоданом в руках. Он сделал остановку на берегу небольшого озерца, поверхность которого слегка морщил слабый ветерок, неспособный охладить мое потное лицо. Здесь я смог перевести дух. Развалившись под кустом, мой спутник сорвал травинку и принялся жевать ее, глядя куда-то вдаль.

Просидели здесь мы не меньше часа, дожидаясь наступления ночи. Потом принялись снова карабкаться вверх по тропинке во все сгущающейся темноте. Мы с трудом различали под ногами корни деревьев, едва выступавшие из-под толстого слоя мха, усыпанного сосновыми иглами. Неожиданно впереди в лунном свете появилась застывшая в мертвой тишине хижина, к которой и вела нас тропинка. Я поставил свой чемодан на землю и устало опустился на ствол упавшего дерева. Мой спутник принялся негромко выстукивать в дверь что-то похожее на азбуку Морзе. В дверном проеме появился силуэт женщины, освещенный тусклым светом лампы. Мы вошли, не говоря ни слова. Я увидел перед собой высокую девушку с бледным лицом и длинными волосами и подумал, что на нас троих вместе не будет и шестидесяти лет. Ее выразительный профиль говорил о сильном характере. Легкое платье висело на ней, словно на манекене. Парень протянул ей пачку денег, которые она стала, не глядя, перебирать пальцами. Потом он попросил ее показать мне запасные выходы на случай опасности. Мне он посоветовал вести себя так, словно за мной гналась вся местная полиция, и никогда не выходить из дома, не убедившись в безопасности. Девушка бесцветным голосом пригласила пройти в предназначавшуюся мне комнату. Мы пересекли несколько помещений, настоящий лабиринт из бревенчатых коридоров. Небольшая дверь вывела нас в прямоугольный дворик, со всех сторон окруженный хозяйственными постройками. Мы зашли в хлев, в котором дремало несколько овец. По крутой лестнице поднялись на чердак под соломенной кровлей и через очередную дверь вошли в комнатушку. Это была настоящая монашеская келья с двумя небольшими оконцами. Одно из них выходило наружу, другое во двор. Койка, небольшой шкаф, перекосившийся под грузом лет, стол, стул с плетеным из соломы сиденьем. Все это освещалось слабой лампочкой без абажура. Я с облегчением бросил на постель чемодан и снял пальто. Каждое движение здесь поднимало клубы пыли. Я поблагодарил судьбу за то, что не был ни туберкулез-

ником, ни астматиком. Девушка попросила у меня что-нибудь из одежды, чтобы повесить в свой шкаф. Таким образом, в случае облавы мы могли делать вид, что живем вместе. Потом она принесла мне миску с супом, совершенно пустым, с добавкой какой-то непонятной муки. К счастью, у нее было вино. Подвал у нее был заполнен бочонками с продававшимся повсюду церковным вином. Пока я с чувством неловкости возил ложкой по миске, она, не говоря ни слова, стояла и смотрела на меня. Заговорила она только для того, чтобы сообщить, что уходит на работу в семь тридцать утра и возвращается вечером часов около пяти. Затем она сказала, что у нее есть кое-какая живность и завтра вечером она расскажет мне, как с ней обращаться. Что в ее доме довольно много книг. И что она покажет, где я могу постирать свое барахло. Такие вот три основных вида деятельности для меня на неопределенное время. Я быстро усвоил, что должен каждое утро отводить на пастбище лошадь, козу и овец и не забывать наполнять водой поилку. Это занимало не много времени, так что дни казались мне невероятно длинными. Моя молодая хозяйка относилась ко мне с настороженным вниманием, с каким монашенка относится к новенькой, только что и весьма поспешно обращенной в монашеский сан. Вернувшись из школы, она закрывалась в своей комнате, которую старательно оберегала от моих взглядов. Если не считать первого дня, то мы с ней совершенно не разговаривали. Наверное, вели себя как неопытные, но слишком старательные подпольщики, боящиеся сказать что-нибудь лишнее. Возможно, имело значение и то, что наши характеры оказались слишком разными. Она была интеллектуалкой, и ее тело казалось всего лишь материальной опорой для духа; ее плоские формы подчеркивали это. Долгое время я был способен только есть и пить, не в состоянии сконцентрироваться хотя бы на несколько минут на книгах, заполнявших дом. Я метался по своей комнатушке, чувствуя, что у меня портится характер. Моим главным врагом стала скука; я понял, что участнику Сопротивления приходится больше ждать, чем действовать.

Через какое-то время девушка стала более приветливой, словно мой испытательный срок успешно закончился. Она даже стала разнообразить мое меню яйцами и овечьим сыром. В конце концов она полностью раскрылась передо мной. Это была настоящая коммунистка. Из своей фермы, затерявшейся в лесах, она видела весь мир в красном цвете. Я впервые столкнулся с таким интеллектуальным членом партии. До сих пор мне были знакомы только пролетарии, подчинявшиеся инстинкту старые ворчуны, ненавидевшие своих хозяев до болей в желудке. Клодин, как называла себя моя хозяйка, ни к кому не испытывала злобы. Она просто работала, чтобы приблизить неизбежное наступление власти рабочих. Бунтовщики 89-го года расправились с аристократией. Оставалась буржуазия. Клодин и ее ненавидела. Она работала на Сопротивление, сражаясь с фашизмом, апофеозом буржуазной системы: рассылала конверты с листовками и содержала пересадочную станцию для таких ребят, как я, ожидающих отправки в неизвестном направлении. Она быстро поняла, что я был скорее наследником убежденного коммуниста, чем одержимым коммунистическими идеями. Но разъединяло нас не только это. Она была жутко костлявая, а мне нравились женщины в теле. Тем не менее, мы все же сошлись. Слишком мы были одиноки. Проходили неделя за неделей. Мне кажется, что она в конце концов полюбила меня. Я был развлечением для этой феминистки, наслаждавшейся тем, что заставляла мужчину томиться в ожидании. Ведь мне становилось все труднее убивать время.

Однажды мне пришла в голову отличная идея: я решил научиться ездить верхом. В одном из шкафов я отыскал покрытое пылью и изгрызенное мышами седло, а также ржавые удила. Уздечку сделал сам из веревки. На то, чтобы подогнать ее к конской голове, у меня ушло два дня, потому что конь все время мотал головой, словно говоря «да», которое на самом деле означало «нет». К счастью, на протяжении всей операции животное не переставало спокойно жевать свое подгнившее сено. Если в жилах моего коня и текла чистая кровь, то ее происхождение явно относилось ко времени первых вторжений арабов на Иберий-

ский полуостров. У него были слишком толстые бабки и совершенно потухший взгляд, что говорило об отсутствии каких-либо амбиций. После того как я закончил реставрацию сбруи, которую смазал жиром, залежавшимся в хозяйстве с войны 14-го года, я забрался на коня прямо во дворе фермы. Животное было таким могучим, что, кажется, даже не заметило моего появления в седле. Удар пятками по бокам заставил моего скакуна сделать несколько шагов, после чего он не только остановился, но, по-моему, даже заснул. Я повторял опыт несколько дней подряд, но все с тем же результатом. Конь всегда засыпал посреди двора.

8.

Я покинул моего верного сонного скакуна без предупреждения и даже не попрощался с хозяйкой. У нас появились два парня. Один — высокий блондин, чем-то похожий на летчика и, похоже, умеющий наслаждаться жизнью. Второй — брюнет маленького роста, явно привыкший думать за двоих. Хитро улыбаясь, он назвал мне пароль:

— Сегодня у тебя большой день, старина; у тебя есть десять минут, чтобы собрать шмотки.

Я быстро побросал свое имущество в мешок, совершенно забыв, что добрая половина моей одежды висит в шкафу у Клодин. Вспомнив с опозданием, я сказал парням об этом.

Малыш ответил:

— Если речь не идет о свитере, связанном твоей мамашей, можешь не волноваться, мы найдем тебе какие-нибудь обноски.

К счастью, мамин свитер был на мне, ведь он, как я думал, должен был приносить мне удачу. Остальное меня не волновало.

Мы шли тем же путем, что и раньше, только листва на деревьях стала осенней. Багряный лес выглядел нарядным, словно египетская принцесса. На гребне мы свернули по незаметной тропинке налево, и она привела нас к грунтовой дороге. Здесь нас ожидал похожий на рабочего парень. Он стоял, прислонившись к капоту забавного автомобильчика, и попыхивал сигаретой в облаке табачного дыма, словно паровоз в облаке пара. Не говоря ни слова, он похлопал меня по плечу и открыл багажник, куда я свалил свои вещи. Мы с трудом втиснулись в небольшую легковушку. Особенно тесно было мне сзади, рядом с типом, который хотя и был немного ниже меня, но плечи у него оказались необычно широкими. У меня немного кружилась голова от свежего воздуха, как случается после долгого пребывания в больнице. Я заметил, что они все время петляют, чтобы я не смог запомнить дорогу. Потом невысокий брюнет сообщил мне дальнейшую программу.

— Ты поживешь у Реми два-три дня.

Реми — это симпатичный блондин с улыбкой кинозвезды.

— Завтра у нас трудный день. Если все пройдет как по маслу, ты останешься с нами на некоторое время. Если сдрейфишь, тебя отправят туда, откуда ты прибыл.

Через несколько поворотов он спросил у меня небрежным тоном:

— Как тебе кажется, ты будешь говорить под пыткой?

После секундного колебания я ответил:

— Такое вполне возможно.

Брюнет повернулся, улыбаясь, ко мне:

— Будем считать, что ты выдержал первый экзамен. Если бы ты сказал, что будешь молчать, мы тебя тут же высадили бы из машины. С хвастунами всегда случаются разные неприятности. Ну, ладно. Меня зовут Поль, а нашего водителя — Малыш Луи. Я объясню тебе, как работает наша сеть. Есть три горизонтальные перегородки между ее частями. Между действием, поиском новых членов и раз-

ведкой. У каждого подразделения свой шеф. Я, к примеру, шеф подразделения действия. Именно здесь ты должен будешь проявить себя. Если все пройдет нормально, тебе позволят отдохнуть, занимаясь сбором сведений. Если позднее ты окажешься подходящим, тебя переместят в разведку. Но это будет решать шеф сети. Возможно, ты когда-нибудь встретишься с ним, но не будешь знать, кто он такой. В ближайшие несколько недель ты будешь иметь дело только с нами троими. Ты умеешь обращаться с оружием?

— Нет.

— Ничего, научишься, и очень быстро. Вот тебе важное правило: никогда не задавай вопросов. Чем меньше ты знаешь, тем меньше сможешь рассказать, когда тебе будут выдирать ногти щипцами.

Мы продолжали болтаться в сельской местности еще около часа. Малыш Луи смолил маисовые папиросы, одну за другой, наполовину выкуривая, наполовину сжевывая. Несмотря на опущенные стекла, в машине вокруг нас плавали облака голубовато-серого дыма. Потом мы свернули с главной дороги на другую, более узкую, постепенно поднимавшуюся вверх, петляя между каштанами. После поворота справа показалась проселочная дорога, уходившая к вершине покрытого густой зеленью холма. По крутизне подъема, заставлявшей задыхаться мотор нашей машины, и по здоровенным выбоинам на дороге я понял, что мы направляемся к идеальному труднодоступному укрытию. Туда невозможно добраться так, чтобы тебя не увидели или не услышали. Минут через пять мы подъехали к расположившемуся на самой вершине строению. Большой старинный дом, простой и благородный. Длинный фасад с многочисленными окнами, часть из которых была замурована: было время, когда государство облагало налогом двери и окна у зданий. Я впервые попал в имение крупного буржуа, размером раз в десять больше, чем домик моих родителей в пригороде.

Поражало удивительное спокойствие, царившее в этом месте. Перед домом несколько верховых лошадей мирно щипали траву на лугу, огороженном неошкуренными жердями. Задней стороной дом выходил к хвойному лесу, какие часто встречаются на высокогорных плато. Большой и густой лес позволял в случае необходимости уйти отсюда вершинами соседних холмов, тоже покрытых лесом.

Чтобы спрятать машину, ее загнали в гараж из трухлявых досок. Нам навстречу вышла мать Реми — высокая стройная женщина с длинными светлыми волосами, собранными в высокий шиньон. Ее бледно-голубые глаза, казалось, выцвели от времени. Строгие черты красивого лица. Наверное, ей было около шестидесяти. Не произнося ни слова, она смотрела на меня, чужого человека, появившегося невесть откуда.

Комнаты были заполнены ароматом увядающих цветов. Казалось, обитатели дома решили сохранить его здесь навсегда. Налет печали на всем резко контрастировал с жизнерадостным характером Реми.

Обеденный стол стоял на кухне, возле большой плиты, в одиночку сражавшейся с сочившимся сквозь сырые стены холодом. Мы уселись за стол с постными физиономиями крестьян, приглашенных отобедать в людской благородного замка. Малыш Луи, внешне очень похожий на простого рабочего, сидел сгорбившись и стараясь занимать как можно меньше места.

Наша робость быстро исчезла, когда мы увидели, что оказалось на столе. Жаркое из кабана с картофелем и красное вино. Оказывается, Реми в свободное от участия в Сопротивлении время охотился на территории в несколько сотен гектаров, окружавших имение. Немцы и их французские подручные еще не успели реквизировать диких животных. Короче говоря, члены действующего подразделения местной сети Сопротивления набивали животы добрых два часа, подталкиваемые опасением, что следующее застолье случится бог весть когда.

После обеда мы поблагодарили хозяйку, которая так и не присоединилась к нам, и затем перебрались в небольшой зимний салон, пропахший пылью и старой кожей. Устроившись вокруг низкого столика, Поль развернул топографическую

карту. На ней кружком была обведена цель. Это был небольшой городок, от которого лучами расходились дороги. В городке находился банк. Задачей сети было добывание средств. Конечно, нас не могло устроить ограбление церковных кружек для пожертвований или выпрашивание милостыни на паперти. Подпольная борьба обещала быть продолжительной. При поддержке коллаборационистов немцы стали чувствовать себя весьма уютно. Мы не могли даже предположить, сколько они у нас еще пробудут. Пять, десять лет? Или даже больше? Единственным способом досадить им было ограбление. Мы должны были грабить всех, у кого могли оказаться деньги. Всех, у кого, несмотря на смену флага, не изменились привычки. Мы и организованы были, как банда гангстеров. Водитель в машине с работающим двигателем. Разведчик, следящий за происходящим вокруг. Два налетчика. Отважный Реми и я, новичок, еще не прошедший крещения огнем.

Встреча была назначена на шесть утра на дороге у подножия холма, чтобы шум двигателя наверху не разбудил местное население. После налета нам нужно было встретиться с двумя девушками, которые будут ждать нас в двух километрах от городка на машине. Мы должны передать им деньги и оружие, чтобы вернуться домой с невинным видом, не опасаясь застав. Поль был инженером, что позволяло ему оценить вероятность той или иной опасности. По его убеждению, участники ограбления ни в коем случае не должны передвигаться с доказательством их вины — рано или поздно окажутся в руках полиции. А вот если полицейские задержат девушек с деньгами, с набитым в багажнике оружием, для них это будет означать конец. Но это будет всего лишь одиночной пробоиной в корпусе судна, разделенном водонепроницаемыми перегородками. Они не знают нас, как и тех, кто послал их на задание, и ничего не смогут рассказать.

Когда план операции был разработан, Поль и Малыш Луи попрощались и исчезли. Реми, подхватив чемодан с моими вещами, отвел меня в небольшую комнатку, выходившую на чердачную лестницу. Слуховое окно смотрело на заднюю сторону здания. Кровать, комод и умывальник — вот все убранство каморки. Реми пояснил:

— Тебя поместили сюда совсем не для наказания; если возникнет опасность, поднимешься на чердак, оттуда сможешь спуститься прямо в подвал. Там есть подземный ход, вырытый еще протестантами, которым когда-то принадлежало здание; в те времена католики играли роль бошей. Мой отец прожил здесь лет тридцать, прежде чем обнаружил этот туннель. Я тебе покажу, как им воспользоваться, если… Вообще-то здесь тебе ничто не угрожает. Нас никто не подозревает, иначе мы были бы в курсе.

У меня давно вертелся на кончике языка вопрос. И я задал его.

— Скажи, Реми, почему вы все так доверяете мне? Похоже, что ты не член партии, и ведь ты ничего обо мне не знаешь?

— Я не знаю. Но знают другие. Твои родители, похоже, играют в Сопротивлении важную роль. Не представляю, какую именно, но это что-то очень серьезное. Что касается партии, то здесь это не самое главное. Просто мы сражаемся в одних рядах. Нас не слишком много. Если бы нам еще нужно было организовывать ячейки, мы бы просто увязли во всем этом. В 14-м году, когда всех призывали в окопы, никто не принимал во внимание политическую окраску. То же самое сегодня. Старик Петен тащит за собой как правых, так и левых из числа соглашателей. Сегодня главный критерий — это твои потроха. Всегда легче иметь убеждения, если тебе нечего терять, чем если на карту поставлена твоя жизнь. Что касается тебя, то ты ничем особенно не рискуешь. Ты такой тощий, что если тебя схватят, ты отдашь концы раньше, чем заговоришь.

Реми был старше меня на пару лет. Мне его трудно было представить своим другом.

Я просидел в одиночестве до темноты. Из отдаленных помещений не доносилось ни звука. В конце концов я уснул, думая о Клодин, которую, вероятно, никогда больше не увижу. Впрочем, это было к лучшему.

Разбудил меня Реми. Как и обещал, он показал запасной выход. Потом мы спустились в столовую. Теперь, после роскошного пиршества в честь нашего появления, нам пришлось поститься супом. Мать Реми, по-прежнему молчаливая, держалась холодно, но предупредительно. Во время завтрака вошла сестра Реми. По крайней мере, я решил, что это его сестра, так как они были очень похожи. Девушка лет восемнадцати показалась мне такой красивой, что я едва не проглотил ложку. Она появилась в столовой, словно Дева Мария в храме гугенотов. Улыбнувшись мне вместо приветствия, она присоединилась к завтраку, но очень скоро встала и вышла. После завтрака Реми провел меня в курительную, где предложил папиросу и стаканчик сливовой настойки, обжегшей мои внутренности. Когда я пришел в себя настолько, что смог разбирать обращенные ко мне слова, Реми рассказал мне о предстоящей операции.

— Выступаем завтра. Откладывать не можем. Теперь о твоей роли. Тебе придется убрать одного типа. Хладнокровно. Из засады. Уверяю тебя, это не проверка. Просто ты единственный, кто может сделать это. Выполнив это задание, можешь в тот же день исчезнуть из наших краев.

С того момента, как отец привлек меня к участию в Сопротивлении, я не расставался с мыслью о возможной смерти. Но я никогда не думал, что мне придется убивать. Ведь солдат, отправляясь на войну, надеется, что ему придется убивать на расстоянии и неизвестных ему людей. К этому кошмару примешивалась новость о том, что мне придется уезжать отсюда, от сестры Реми.

Ночью ни на минуту не удалось сомкнуть глаз. В пять утра Реми постучался в дверь. Мы быстро перекусили, а потом занялись чисткой оружия. Как сказал Реми, нет ничего хуже, чем осечка в тот момент, когда в тебя целятся. Мне достался стандартный револьвер с барабаном. Реми зарядил его и показал, как пользоваться предохранителем. Спрятав оружие в мешок, мы отправились к месту встречи.

Со стороны можно было подумать, что мы идем на охоту. Ночные птицы разлетались по своим гнездам, возвращавшиеся с водопоя животные то и дело шуршали в кустах.

Малыш Луи и Поль пришли к подножию холма почти одновременно с нами. Первый уже был окутан облаком табачного дыма, второй выглядел необычно серьезным.

Около часа ушло на езду по извилистым проселочным дорогам. В условленном месте, в тени под каштаном, нужно было дожидаться назначенного часа.

План был простой. Реми должен зайти в банк. Мне полагалось держаться сзади в нескольких метрах, прикрывая его. При малейшем подозрительном движении служащего банка я должен был стрелять. Поль остается снаружи на шухере, а Малыш Луи сидит в машине с работающим двигателем. Настоящая банда, идущая на дело.

В восемь тридцать въехали в городок и остановились возле банка. Мы с Реми вошли внутрь, надвинув на лоб фуражки и прикрыв лица платками. Реми выхватил револьвер так, словно занимался этим всю жизнь, подошел к кассиру и вежливо попросил его спокойно, без паники передать нам все деньги, находившиеся в наличности. В это время я держал под прицелом двух рассыльных, явно переживавших самое невероятное событие в их жизни. Они подняли руки так высоко, словно хотели достать до потолка. Я очень боялся, что если мне придется стрелять, я могу зацепить Реми, спина которого почему-то перемещалась передо мной то вправо, то влево, как будто он изображал стеклоочиститель на ветровом стекле. Но все прошло без эксцессов. Забрав деньги, мы заперли служащих банка в кабинете директора, потом спокойно вышли на улицу.

Оказавшись в машине, Поль с удовлетворенным видом пересчитал добычу. Мы быстро домчались до места встречи с девушками. Нас ждали невзрачная толстушка и симпатичная стройная девушка. Мы быстро переложили деньги и оружие в тайник багажника их машины, стерли грязь с номеров нашей малоли-

тражки и не торопясь двинулись к поместью Реми. По дороге я впервые услышал голос Малыша Луи, с умным видом сообщившего:

— Знаете, этой маленькой блондинке… Ей не пришлось бы долго упрашивать меня.

Реми хлопнул его по плечу:

— Я считал, что ты женат, животное!

— Все так, но моя супружница что-то часто стала отворачиваться от меня.

— Так она просто не знает, что ты у нас герой!

— Если мне придется ожидать конца войны, чтобы сказать ей об этом, то я немедленно выхожу из дела!

Мы рассмеялись с облегчением, хотя во время операции ни на мгновение не почувствовали страха.

Поль и Малыш Луи высадили нас у подножья холма, на том же месте, где встретились утром, и вскоре мы лихо расправлялись в столовой с банкой консервов. Мамаша Реми пару раз навестила нас с отсутствующим видом. Послеобеденное время прошло в полном безделье. Играли в карты, слушали радиоприемник, спрятанный в кладовке. Реми поинтересовался, умею ли я ездить верхом. Не вдаваясь в подробности о моем недавнем опыте взаимоотношений с сонной лошадью, я ответил, что однажды сидел верхом на статуе.

— В таком случае у тебя есть два часа, чтобы научиться скакать на коне, как казак, — сообщил Реми с видом человека, которого ничем не удивишь. — Завтра, когда ты выполнишь еще одно задание, тебе придется добираться до очередной конспиративной квартиры верхом, по тропе, идущей по гребню холмов. Там ты не рискуешь встретиться с бошами. Ну, а если это случится, мы поможем тебе оторваться от погони. Я провожу тебя, а потом вернусь с двумя лошадьми.

Я попросил Реми уточнить, как должна проходить операция.

— В восемь часов ты должен находиться в засаде над дорогой. Твой человек подъезжает к этому месту каждое утро между четвертью и половиной девятого. Там очень крутой поворот, после которого дорога идет в обратном направлении, поэтому водитель должен сбросить скорость до тридцати километров в час. В бинокль ты сможешь увидеть машину за несколько минут. У тебя будет время, чтобы отложить бинокль и взять ружье. С того места, где ты будешь сидеть, промахнуться невозможно. Целиться нужно будет в ветровое стекло с правой стороны. Картечь идет не очень кучно, так что ты наверняка попадешь в него. Если же он останется невредим, он все равно не сможет видеть дорогу через поврежденное стекло, и ему придется остановить машину. Тогда ты выходишь на дорогу и стреляешь второй раз. Запомни: ты не должен уходить, не убедившись, что человек убит. Потом ты собираешь свои манатки, не оставив ничего, даже пуговицы, и возвращаешься домой по тропинке. Наша команда займется зачисткой места. Нужно будет избавиться от трупа и убрать машину. Поэтому целься как следует в ветровое стекло, чтобы не задеть двигатель. У него отличный внедорожник, и он нам еще пригодится. Я буду дома примерно через час после тебя. Вот увидишь, все пройдет как по маслу.

Я почувствовал тошноту, от которой уже не смог избавиться. Мне придется совершить хладнокровное убийство. Лишить жизни человека, о котором я ничего не знаю. Не знаю ни его прошлого, ни мотивов убийства.

Мне иногда случалось ходить с отцом на охоту, когда мы бывали в Бургундии, у его родителей. Но я никогда не мог выстрелить в живое существо, даже если это была какая-нибудь пичуга. Отца всегда раздражала моя мягкотелость, но я ничего не мог поделать с собой. Однажды я подстрелил утку-крякву, упавшую прямо мне под ноги. С перебитым крылом, она была еще жива. Отец приказал мне прикончить ее. Я был вынужден подчиниться. Всего лишь один удар ногой по голове… Но каким подлецом почувствовал я себя после этого…

Реми, натура весьма тонкая, несмотря на внешность уличного хулигана, видимо, понял мои чувства. И он добавил:

— Если ты не уберешь этого человека, то рано или поздно нас с Малышом Луи и Полем раскроют. Не забывай, что даже раздавленный шершень может ужалить.

Я понимал, что должен выполнить задание, но понимал только головой. Все во мне бунтовало.

Последовавший за нашим разговором урок верховой езды был не таким уж неприятным. Он показался мне чем-то вроде урока танца для короля, которого ждал эшафот. У верховой нормандской лошадки ростом не более метра семидесяти в холке, на одном глазу было бельмо, что позволяло подозревать ее в коварстве. Реми убедил меня, что изящные руки интеллектуала из пригорода вполне могут управлять животным с помощью уздечки. Но это было теорией. На практике все выглядело иначе. При передвижении шагом я сползал лошади на шею и выглядел, как прачка, склонившаяся над своим корытом. Когда мой лихой скакун переходил на рысь, то тряска смещала мне позвонки, заставляя их слипаться в болезненный стержень. Во время галопа я чувствовал себя на взбесившихся качелях, швырявших меня то вверх, то вниз. К счастью, эта пытка быстро заканчивалась моим падением, и падать мне пришлось раз десять. И все же я в конце концов научился сносно держаться в седле на любой скорости. Мы тренировались больше часа, пока не замучили окончательно меня и лошадку.

9.

Этой ночью спать не пришлось. Я лежал и слушал, как каждый час, копируя звуки медного колокола, отбивают время старинные часы. Утром я почувствовал себя раздвоившимся. Мой живот, вспученный от метеоризма, и я сам, передвигавшийся с грацией автомата, существовали раздельно.

Джип появился в назначенный час. Он двигался не торопясь. Водитель в тесном клетчатом костюме выглядел спокойным. Я выронил бинокль от неожиданной рези в желудке. На мгновение джип скрылся из виду, потом снова появился, притормозив почти до полной остановки, чтобы вписаться в крутой поворот. Я нажал на спусковой крючок. Очень тугой. Через долю секунды прогремел выстрел. Приклад едва не вывихнул мне плечо. От удара картечи ветровое стекло брызнуло во все стороны. Джип прокатился еще несколько метров и остановился, уткнувшись в кочку. Я вывалился из кустов на дорогу. Мужчина стоял, пошатываясь, опираясь на капот. Услышав мои шаги, он обернулся и уставился на меня вытаращенными глазами. Мне показалось, что передо мной Реми, только постаревший лет на десять. Я выстрелил второй раз. В лицо. Бессильное тело рухнуло на землю вместе с тем, что осталось от головы. Он не шевелился. Когда я сошел на обочину, чтобы подобрать бинокль, то почувствовал, как что-то теплое струится по моим бедрам. Я обмочился. Я убил француза.

Я с трудом добрался домой, еле передвигая ноги, словно глубокий старик.

Мать Реми ожидала меня на террасе. Она не стала расспрашивать меня. Не говоря друг другу ни слова, мы спрятали ружье. Я поднялся к себе. Мне нужно было умыться. Стараясь избавиться от смятенных чувств, я рылся в своих вещах с точностью движений, свойственной психическому больному, с маниакальной тщательностью наводящему порядок в своей комнате. Потом я сел на край постели, подперев руками голову. На лестнице послышались шаги. В комнату вошла мать Реми. Она опустилась на постель рядом со мной.

— Реми сегодня домой не вернется, — сказала она. — Будет лучше, если вы уедете, ни с кем не повидавшись. Лошадь оседлана. В седельной кобуре лежит карта. Вы и так не заблудитесь, если будете держаться тропинки, идущей по гребню холмов, никуда не сворачивая. Через пару часов увидите хижину, сложенную из необработанного камня. Возле нее оставьте лошадь — там снаружи есть кольцо, к которому ее можно привязать. За вами приедут завтра утром. Пароль тот же. Вам все понятно?

Я долго смотрел на женщину, зная, что больше никогда не увижу эти благородные черты.

— У меня есть один вопрос к вам. Только он очень личный.

— Спрашивайте.

— Ваш муж, отец Реми, он еще жив?

— Он умер. В 1934 году. Рождественским утром. Он выбросился из окна своей комнаты в час, когда дети разворачивают свертки с подарками. Не спрашивайте, почему. Этого никто не знает.

Из долины донесся грохот сильного взрыва. Ее лицо осталось спокойным.

— А теперь вам пора уезжать.

Я вскарабкался в седло; лошадь была та же, что и вчера. Последние следы смятения исчезли, но я вызывал отвращение у самого себя. Я ударил лошадь каблуками, чтобы пустить ее в галоп. У меня не было сапог, и стремена могли быстро ободрать мне лодыжки до крови. Но это было бы несравненно лучше, чем ободранная совесть.

Вокруг меня прекрасное ноябрьское утро заливало окрестности мягким золотистым светом. Согретая неярким осенним солнцем природа встречала меня слабым ароматом гниющей листвы, едва пробивавшимся сквозь резкий запах конского пота. Я ни о чем не думал, стараясь не встревать в бесконечные дискуссии с самим собой. Но в глубине сознания оставалось такое же четкое, как афиша на театральной тумбе, потрясенное, залитое кровью лицо моей жертвы. В конце концов я сказал себе, что должен остановиться, если не хочу сойти с ума. Я должен считать себя солдатом, который подчиняется приказам командиров тайной армии. Никогда не возвращаться к воспоминаниям о своих поступках. Выполнять приказы.

Я без труда нашел хижину. Как и предполагалось, мне никто не встретился на пути, если не считать фазана, который, как будто ему было недостаточно яркого карнавального наряда, распевал во все горло. Он так увлекся, что я мог схватить его голыми руками, но для этого мне пришлось бы слезть с лошади, а я не был уверен, что она позволит мне снова забраться в седло.

Хижина оказалась удивительно чистой, хотя служила, по-видимому, пристанищем для пастухов во время перегона овец на летние пастбища. Стол и кровать были сколочены из грубо обтесанных досок. Вместо матраса на доски был брошен старый вытертый до основы ковер. Возле печурки, сложенной из дикого камня, были аккуратно сложены сухие поленья. Я долго сидел снаружи, глядя на ночное небо и удивляясь, что в один и тот же день мне довелось убить человека, а потом спокойно любоваться звездным небом.

10.

Незадолго до рассвета за мной пришли двое. Открыв глаза, я увидел две симпатичных пролетарских физиономии с красными носами, типичными для тех, у кого печень уже на справляется с лошадиными дозами вина. Это были связные подпольной сети, которые должны были позаботиться обо мне.

На протяжении следующих шести месяцев я ни разу не провел две ночи под одной и той же крышей. Первое время я продолжал заниматься пополнением кассы местного Сопротивления. Мы грабили банки, почтовые отделения, казначейства — в общем, любые учреждения, в которых можно было надеяться найти любое количество банкнот. Мне казалось, что мы превратились в хорошо организованную банду анархистов, потрошивших буржуев. Три моих сообщника были самыми видными членами этой банды. Один оказался идейным марксистом, готовым придушить свою мать, если это поможет более быстрому наступлению диктатуры пролетариата. Второй, сельскохозяйственный рабочий,

был способен убить быка ударом кулака по лбу. Для третьего, еще недавно владевшего небольшим бистро, война была всего лишь временным этапом между работой за стойкой в его прежней и будущей забегаловками. Но гестапо с помощью французских жандармов, всегда готовых услужить бошам, сидело у нас на хвосте. В конце концов трое работавших со мной парней однажды не приехали на место назначенной встречи. Они должны были подобрать меня возле церкви какого-то небольшого городка. Я прождал их лишних полчаса. Между нами было условлено, что после этого срока я должен исчезнуть. Меня охватила паника. Я решил, что меня выдали и вот-вот арестуют. Но паниковал я не от страха за себя, а только потому, что впервые в моей работе подпольщика механизм, работавший как часы, дал сбой. Те, кто утром доставил меня на место встречи, должны были забрать меня только через несколько часов, да и то при условии, что они узнали о ситуации и что вся полиция кантона не была поднята на ноги. По моему лицу, по груди и спине стекали струйки пота. Я чувствовал себя в ловушке. Моя изолированность от остальных членов нашей группы в этом случае была против меня. Я не мог вернуться туда, откуда меня доставили утром. Но и другого адреса, где я мог бы укрыться, у меня не было. И я, как заведенный, ходил кругами вокруг церкви, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее у меня было ощущение, что за мной наблюдают. Каждый случайный прохожий казался мне шпиком. К тому же начался дождь. Крупные капли падали на сухую землю со звуками, напоминавшими все усиливающиеся аплодисменты. Я продолжал в отчаянии кружить вокруг церкви. Когда я попытался спрятаться от дождя под ее контрфорсами, мне почудилось, что на лицах каменных святых появились злорадные усмешки. И чем дольше я оставался возле церкви, тем сильнее была уверенность в том, что за мной давно следят чьи-то холодные глаза. Внезапно рядом со мной распахнулась массивная боковая дверца. Железная рука ухватила меня за плечо, я потерял равновесие и тут же очутился в темноте. Тяжелая дубовая дверь захлопнулась за мной. В тусклом свете я увидел перед собой Квазимодо в сутане. Сатанинское выражение лица, могучие плечи рабочего с Центрального парижского рынка. Толстые губы не скрывали неровный ряд кривых испорченных зубов.

Мне никогда раньше не приходилось бывать в церкви. Даже на похоронах родственников отец не позволял мне принимать участие в религиозной церемонии. К опиуму для народа он относился с ненавистью, смешанной с презрением. Зато мы оказывались первыми на кладбище, где на нас со всех сторон обрушивались злобные взгляды святош, сопровождавших гроб. Очевидно, они считали, что мы нанесли усопшему смертельное оскорбление.

Раздался голос человека, привыкшего обращаться к толпе:

— Мне жаль, что я заставил вас ждать. Но я должен был убедиться, что никто не следит за вами и не собирается вас арестовать.

Он протянул мне большое пахнущее пылью полотенце.

— Просушите волосы. Вам только недостает подцепить какую-нибудь неприятную простуду, когда снаружи вас ожидает столько смертельных опасностей.

Пока я вытирал свою насквозь промокшую шевелюру, мой собеседник продолжал:

— В шестеренки вашего механизма явно попал камешек. Уверен, вы уже считали, что ваши дни сочтены. Но Господь решил иначе. Присаживайтесь, я хочу кое-что рассказать вам. Это будет история одного немецкого мальчика, страдавшего аутизмом. Со дня рождения он не произнес ни одного слова. Но однажды, когда ему было уже лет десять, он неожиданно произнес за обеденным столом целую фразу: «Суп сегодня совсем холодный». Потрясенные родители спросили у ребенка, почему он до этого момента столько лет не говорил. И мальчик ответил: «Потому что до сих пор все было в порядке».

Я улыбнулся, выслушав эту историю. Мой собеседник продолжал:

— Когда я открыл вам дверь, я сразу понял, что у вас на языке вертелась фраза «Суп сегодня совсем холодный». Этот день стал для вас очень важным.

Незаметный анонимный грабитель поднимается на одну ступеньку в табели о рангах. Немцы убеждены, что в вашем лице имеют дело с важным деятелем Сопротивления, координирующим работу подпольщиков в этой части Франции. Конечно, они ошибаются. Но только пока. Вам нельзя пытаться покинуть город в течение нескольких дней. Ваши товарищи арестованы. Мы должны обождать два-три дня, чтобы убедиться, что они не заговорили под пыткой. И, соответственно, выяснить, какие от этого будут последствия. Мне было поручено связаться с вами. Могу сообщить, что вас собираются повысить в звании. Если вам удастся выбраться из этого города, ставшего для вас таким опасным, то вы будете исполнять обязанности казначея всех групп Сопротивления в этом районе. Мы прекращаем налеты на местные банки и захваты небольших денежных сумм, потому что наше снабжение деньгами отныне будут обеспечивать англичане. Для этого они собираются организовать специальный канал через Швейцарию. На вас будет возложен контроль за поступлением денег и их распределение. Пока же вам придется набраться терпения. Я спрячу вас у себя на несколько дней, пока не уляжется возникшая суматоха. В доме вам прятаться слишком рискованно, поэтому я оставлю вас в храме. В средневековом подвале, темном и плохо вентилируемом. Но под мраморными плитами вас никто искать не станет. Поднять их можно только с помощью особого механизма, которым управляют из склепа, что находится в глубине помещения. Так что вы должны молиться, сын мой, чтобы меня не задержали. Я вижу, что вы неверующий. Но в вашем положении не стоит пренебрегать молитвой. Не думаю, что вам придется просидеть в подвале больше чем трое суток; Бог не позволит немцам проводить расследование дольше. Но кто знает, может быть, вера позволит вам выйти из своего убежища гораздо раньше.

Кюре оставил мне подсвечник на пять свечей, молитвенник, подушечку прелата, чтобы подложить под голову, и одеяло, дырявое, словно старый мешок для картошки. Я никогда не находился так долго в замкнутом пространстве. Без дневного света, без часов, не имея никакого представления о смене дня и ночи. Еды у меня было на три дня: черствый хлеб, сухой прогорклый сыр, немного церковного вина.

Оказавшись ближе к аду, чем к раю, я решил исследовать катакомбы. Несколько костей, торчавших из земляного пола, были осуждены на вечное пребывание здесь. Их присутствие наглядно подтверждало прописную истину, согласно которой костные ткани сохраняются лучше, чем мягкие части тела человека. Используя вынужденное безделье, я много спал. Раз уж оказался в могиле, то не оставалось ничего другого, как расслабиться.

Когда находишься в могильной тишине, у тебя невольно обостряется слух. Время от времени я отчетливо слышал шаги над головой. Скорее всего, это были верующие, пытающиеся найти у церкви поддержку. У меня не было времени познакомиться с внутренней обстановкой в церкви, но по царившему здесь запаху она напомнила мне сельский дом, простоявший всю зиму неотапливаемым. Запах старого шкафа… В общем, довольно зловещее место, подходящее не столько для веселья, сколько для жалоб и стенаний. Здесь все настраивало на печаль, а не на радость. Что-то похожее мне пришлось испытать во время посещений партийных собраний. Теперь мне стало понятно, почему мой отец так редко смеялся. Ведь он был человеком, твердо убежденным в партийных догмах. А смех способен породить сомнения. Я решил, что если мне суждено выбраться из подземелья и увидеть свет Божий, то посвящу всю свою дальнейшую жизнь веселью.

Однажды над моей головой раздались звуки, похожие на то, как если бы по мраморным плитам стучали молотком. Я понял, что надо мной что-то происходит, так как шарканье башмаков молящихся сменилось грохотом подкованных сапог. Нацисты. Что, если они поднимут плиту? Это будет конец… Я был готов угаснуть, словно свеча без кислорода. Похоже, что я и моя смерть, находившаяся так близко, переживали этот момент в добром согласии.

Внезапно металлический стук сапог исчез, уступив место заполнившей все вокруг тишине. Мне показалось, что она длилась бесконечно. Потом мраморная плита беззвучно поднялась. В отверстии появилась круглая физиономия кюре.

— Они зашли поговорить со мной. И на всякий случай обыскать церковь. Они ничего не нашли. Судя по всему, твои приятели ничего не рассказали. Немецкий офицер предложил мне присутствовать на казни, которая должна состояться на рыночной площади. Я думаю, что парней повесят. Немцы выгоняют на площадь горожан, чтобы казнь видело как можно больше французов. Эта казнь должна послужить для всех нас уроком. Мне для этой печальной обязанности нужен помощник. И помогать мне придется вам. Потом под предлогом, что я должен посетить умирающих, которые ждут соборования, мы выберемся из города, куда я вернусь уже один. Вы не должны упустить эту возможность, несмотря на то, что вам придется превратиться в монаха, надев соответствующее одеяние. Да, конечно, по вашему взгляду я понял, что такое превращение будет для вас весьма кратковременным.

Переодетый в ризничего, я последовал за кюре на рыночную площадь. Мастера заканчивали возведение третьей виселицы на невысокой платформе, использовавшейся во время праздников. Вокруг теснились горожане, согнанные на казнь. На их лицах я не увидел ни капли сострадания. Только ужас.

Подъехал крытый брезентом грузовик с осужденными. Их лица, в ссадинах и синяках, распухли и были неузнаваемы. Руки связаны за спиной.

Кюре подошел к осужденным для благословения. Каждому он шепнул: «Ваша жертва не окажется напрасной, мы не забудем вас». Солдат повесил всем на грудь картонку со словом «Террорист». Потом им связали веревкой ноги и вздернули над помостом вниз головами. К висельникам поднялся офицер. Вытащив нож, аккуратно, стараясь не забрызгаться, он перерезал жертвам горло. Из моих товарищей выпустили кровь, словно это были кролики. Во взглядах немцев я не уловил ни злобы, ни ненависти, только удовлетворение от хорошо выполненной работы. Казненные для них были не людьми, а всего лишь террористами. Поэтому их не казнили как людей, а зарезали, как животных.

В этот страшный день я дал себе клятву бороться за человеческое достоинство до последнего вздоха, если уж случится так, что мне придется расстаться с жизнью.

Небо потемнело. Мне казалось, что мрачные тучи едва сдерживали слезы.

11.

Мы покинули сцену, на которой разыгралась трагедия, чтобы посетить умирающих естественной смертью. Два безнадежно больных человека ожидали соборования в отдаленной части кантона, именно там, где со мной должны были связаться подпольщики. Я попросил кюре, чтобы он переслал мне мои вещи, если это будет возможно. По крайней мере, хотя бы свитер, связанный матерью.

Вынужденный менять квартиры чуть ли не ежедневно, я превратился в настоящего кочевника. У меня появилась привычка молча, произнеся только пароль, входить в любой дом. Подпольная сеть продолжала разрастаться. Наши ряды пополняли в первую очередь дезертировавшие из службы обязательной трудовой повинности. По крайней мере, так они говорили. Отдельные ячейки сети начали координировать действия. Мне все чаще встречались не только рабочие, но даже священники и крупные буржуа. Но политика не интересовала меня. Голлисты или субъекты неясной политической принадлежности — я знал, что у них не было шансов на успех. Если бы еще в рядах наших противников были одни немцы. Но рядом с ними были французы. Нация разделилась на три неравных части. К самой многочисленной относились те, кто старался быть как можно более незаметным, кто робко суетился в погоне за съестным, словно мышь перед

наступлением зимы. Вторую по величине группу составляли те, кто любил получать вознаграждение и был уверен, что им к лицу положение приглашенных к дележке. Они находили удовольствие в деятельности на службе у немцев. К самой небольшой группе относились мы. Армия босяков, шатавшихся по лесам и при любой возможности втыкавших в зад противнику иголки, хотя вместо них лучше было бы иметь рогатины.

Я быстро понял, что в одиночку нам не справиться. Без иностранной помощи от нас быстро остались бы только жалкие остатки, скитающиеся между холмов и лесов.

На протяжении следующих четырех месяцев моей обязанностью было получать большие суммы денег, которые англичане переправляли нам через Швейцарию. Первое время я сам ходил через границу. Каторжная работа. Карабкаться, задыхаясь, в гору в холод, дождь и туман по едва заметным тропкам, стараясь, чтобы тебя не заметили. Потом ожидать в укромном месте появления денег. После этого спускаться по скользким склонам с увесистым чемоданом в руке, настороженно прислушиваясь к лаю сторожевых собак. Постоянно ожидать выстрела в спину, отправляющего тебя за пределы мира, пусть и известного тебе только с самой неприглядной стороны. Чтобы обмануть чутье собак, я использовал один совет, полученный мной от одного случайного знакомого: стараться больше передвигаться по ручьям. Каждый раз, когда мне по дороге попадался ручей, я входил в воду и поднимался вверх по течению метров на пятьдесят, и только потом снова выбирался на берег. Вода, заполнявшая при этом ботинки, быстро начинала замерзать, и лед охватывал мои ступни, словно волчий капкан. Я часто думал, что такие приемы могут окончиться ампутацией ступней, как это бывает с альпинистами, бессмысленно истязающими себя. Но желание выжить любой ценой всегда побеждало страх перед опасностью гангрены.

После двух десятков успешных походов за деньгами мои игры с пограничниками закончились. Мне больше не нужно было надеяться, что ищейки в очередной раз потеряют мои следы, беспомощно повизгивая на берегу ручья. Мне поручили заняться распределением денег. Я должен был строго соблюдать нашу обычную методику, когда каждая группа подпольщиков отделялась от других непроницаемой перегородкой. Теперь, когда я превратился в казначея, от меня впервые потребовалась не столько преданность, сколько сообразительность.

Я продолжал то и дело менять убежища. Теперь я должен был обеспечивать добровольцев тайной армии оружием, позволяя им сменить древний мушкет на современную штурмовую винтовку и превращая таким образом банды жакерии в организованные боевые группы.

Деньги я получал каждый раз в другом месте и сразу же перевозил их в тайник, тоже каждый раз другой. Моя натура облегчила мне превращение в рядового француза, чем я и пользовался. Если ты слишком часто оказываешься на глазах у окружающих, то рано или поздно станешь привлекать внимание. К тому же меня давно разыскивали. И весьма активно, как мне довелось узнать от наших осведомителей, связанных с коллаборационистами, начинавшими задумываться о будущем, о том будущем, когда власть изменится. У преследователей не было моей фотографии, только словесное описание. Тем не менее, я чувствовал, что они идут за мной по пятам, оказываясь в месте, служившем мне укрытием через несколько дней после того, как я оставлял его. Сначала этот интервал составлял 4—5 дней. Потом они стали отставать всего на 2—3 дня. Когда же они устроили обыск в гостинице, которую я оставил только накануне, я понял, что мне пора перебираться в другие края. Оставалось только получить очередную сумму денег, которая ждала меня в большом городе, центре департамента. Мне не терпелось после многомесячного пребывания в сельской местности затеряться в массе горожан. Для этого я поменял деревенский облик на городской. В моем чемоданчике денег было намного больше, чем было нужно, чтобы безбедно просуще-

ствовать на протяжении полугода, даже если я буду заказывать на десерт после обеда дорогой сыр.

Я отправился на вокзал. Выглядел я подслеповатым интеллигентом в круглых очках с бифокальными стеклами, опасающимся оступиться и поэтому подчеркнуто осторожно ступающим по ступенькам. Перед вокзалом ждал связной, от которого я узнал, что в пункте доставки меня могут ждать неприятности. Самым разумным было бы переждать до утра в гостинице, адрес которой он сообщил мне. Таким образом, мне впервые представлялась возможность не зависеть ни от кого. И мне захотелось немного отдохнуть. Ведь прошло уже почти два года, как я из соображений безопасности жил отшельником, ни разу не познакомившись ни с кем из мелькавших передо мной лиц. И, конечно, я не подружился ни с одной девушкой из числа тех, которые прятали меня на фермах, в подвалах или чуланах, скрывая при этом страх, словно я был бомбой замедленного действия. Я чувствовал ностальгию по уходящему времени, навсегда отделившему меня сегодняшнего от меня двадцатилетнего. Моя юность быстро исчезала, словно окурок, оставленный дотлевать на краю пепельницы.

После короткого диалога со своей совестью, впрочем, весьма быстро вставшей на мою сторону, я решил позаимствовать небольшую сумму из денег, предназначенных для подпольной работы, и потратить ее на праздничный вечер. В двух шикарных ресторанах меня отказались обслужить из-за слишком скромного одеяния. В конце концов мне удалось обосноваться в третьем. Обстановка в стиле бель-эпок напомнила мне, что в Европе были и лучшие времена. Война словно осталась за порогом. Зал ресторана ненавязчиво заставлял подумать о той легкости, которая наступает, когда во время погони за чем-то низменным человек внезапно осознает, что у него желание уступает чувству. Метрдотель усадил меня за отдельный столик в углу, оформленный под вагон первого класса. Светильники в виде тюльпанов рассеивали мягкий желтый свет, терявшийся на бордовых стенах. Доносившиеся из кухни ароматы искусно поддразнивали мой аппетит. Я внимательно просмотрел меню, после каждой страницы бросая рассеянный взгляд на зал и его посетителей, казавшихся медленно передвигающимися иррациональными тенями. Подчиняясь суровой необходимости, они откровенно демонстрировали склонность к компромиссам, позволявшим им существовать — хотя бы и краткое время — в мире вчерашнего дня. Многие из них использовали войну как своего рода механизм, позволявший им попасть в прошлое. Странно, но я чувствовал себя очень уютно в этом мире антиподов. Красное вино и ликер из черной смородины обеспечили мне блаженство. Я ни о чем не думал. Я ничего не боялся. Наслаждался безопасностью. Не думал, что меня могут арестовать в этом месте, предназначенном для удовольствия, хотя не исключал и того, что здесь же находились те, кто пришел развеяться после трудного дня, проведенного в выслеживании меня. Смешно, но они так старательно гонялись за мной, потому что считали меня важной птицей. Их паранойя создавала генерала из жалкого капрала. Не исключено, что большое значение придавалось мне из-за информации, исходящей от моего начальства. Вероятно, они надеялись, что мое исчезновение в ближайшем будущем заставит немцев хотя бы немного расслабиться. А пока их возможное соседство не причиняло мне неприятностей. Я заказал закуску: два десятка больших мясистых устриц, приправленных луком и уксусом. Потом мне принесли дораду, зажаренную под солью. Запивая рыбу старым кальвадосом, я представлял себя коренным нормандцем. Как мясное блюдо я заказал каплуна в сопровождении двух бутылок вина с виноградников Шалон-на-Марне. Обед получился прямо-таки мушкетерским. Если не считать того, что мне пришлось сходить в туалет и потихоньку освободиться там от съеденного и выпитого. От римских императоров, использовавших этот же прием, я отличался тем, что мой желудок был испорчен картофелем, употреблявшимся годами в самом разном виде.

Близость смерти стимулирует желание. Непосредственной и примитивной целью которого является продолжение жизни. Оказавшись под градусом, я наплевал на наступивший комендантский час и отправился в бордель, рекомендованный мне метрдотелем. Оказавшись в этом заведении, я уже не мог покинуть его до рассвета. В фальшиво роскошном зале все пропахло дешевыми духами. Посетители были представлены исключительно младшими немецкими офицерами и их французскими коллегами, то есть таким же отродьем. Я показал себя разборчивым клиентом, отклонив трех девушек, предложенных мне с самого начала. От них несло, как от базарных торговок или работниц на сдельщине. Содержательница заведения воспринимала меня не слишком доброжелательно, пока я не перестал капризничать. Поэтому мне пришлось выбрать четвертую кандидатуру. Это была девушка примерно моего возраста. Она очаровала меня чудесной улыбкой, хотя и выглядела потерянной. Звали ее Люси. По сравнению с товарками, она выглядела едва ли не невинным созданием. Она поинтересовалась, не член ли я местной милиции. Пришлось изобразить важное лицо, заинтересованное в том, чтобы сохранить анонимность. Раздев ее, я приложил ухо к ее раковине, словно надеялся услышать шум моря. Она не захотела разговаривать со мной, и мне стало совсем тоскливо. Несколько сгладило обстановку то, что ее задница оказалась такой же эффектной, как и ее грудь. Природа редко бывает такой щедрой, обычно у девушек выигрышно выглядит или то, или другое.

Хозяйка борделя, внимательно следившая за часами, постучалась к нам и сообщила, что мое время истекло. Тогда я достал пачку банкнот и предложил оплатить свое спокойствие до утра. Хозяйка согласилась, хотя и не очень охотно. Я остался с девушкой как единственный и последний клиент лупанария. Когда утром я хотел сделать Люси небольшой подарок, она отказалась, показав этим, что она не так уж плохо провела ночь со мной.

12.

Рано утром я вернулся в отель. При встрече с очередным агентом я сдал ему оставшиеся деньги без каких-либо угрызений совести. Шел довольно сильный дождь. Он всегда заставляет прохожих торопиться, чуть ли не бежать.

Захватив с собой мамин свитер и кое-какие мелочи из остального барахла, я отправился к связному, первому в длинной цепочке, которая должна была привести меня на запад страны, где мне предстояло заняться сбором информации. Моим единственным товарищем на всем протяжении весьма продолжительного путешествия был случай. Именно он заставил мою лодку сбиться с курса во время переправы через Луару и пристать к берегу точнехонько возле немецкого поста. Но он исправился, сделав так, что часовой в это время задремал, убаюканный вином с виноградников все той же Луары. Потом были часы и часы бесконечных переходов по заброшенным тропинкам в обход дорог и деревень. Волдыри на натертых местах усеивали мои ноги. Ночи я обычно проводил в сараях, охотничьих хижинах или на сеновалах.

Когда речь моих случайных спутников, менявшихся на каждом этапе, стала более певучей, я понял, что позади осталась большая часть пути. Действительно, через несколько дней мы достигли пункта назначения. Я выглядел настоящим оборванцем; пыль покрывала меня, словно кольчуга, но лицо светилось, как у паломника, достигшего святыни. Я очень устал. Особенно досталось моим ногам. И я устал не только от дороги; меня утомила эта нелепая война без линии фронта, в которой участвовали солдаты, не имевшие воинской формы. Я был измотан врагом, находившимся одновременно повсюду и нигде, но все время гнавшимся за мной, словно щука за блесной. Конечно, я в любой момент мог просто выйти из игры и вернуться к учебе. Чтобы без пользы проводить день за днем, изнывая в бездеятельности и занимаясь всего лишь перелопачиванием знаний, получен-

ных кем-то другим. Или вернуться к родителям, в наш уютный домик напротив ипподрома. Степенно выпивать время от времени рюмочку черносмородинового ликера, курить английские сигары.

Оказавшись здесь после нескольких недель странствий по глухим местам, я основательно расслабился. Конечно, ничего особенного здесь не было — город как город, с прямыми улицами, упорядоченный и скучный, как все города на западе Франции, разбогатевшие на торговле вином. Товарищи, с которыми я прошел последний отрезок пути, оставили меня в задней комнате небольшого бистро с такой же небрежностью, с какой бросают вещь, ставшую ненужной. Хозяин забегаловки явно был из наших. Ничего не спрашивая, он поставил передо мной на столик стакан белого вина и положил местную газету, в которой главной новостью наверняка был попавший под машину пес. Все остальное было враньем и наглой пропагандой. Я в течение часа пытался прочесть что-нибудь между строк, искал признаки ослабления нашего противника. Но для него, похоже, барометр застыл на отметке «ясно».

Мой облик сезонного рабочего, с ног до головы покрытого грязью, которую невозможно воспроизвести никакой косметикой, ни у кого не вызывал интереса. От нечего делать я наблюдал за хозяином, усердно зарабатывавшим свой кусок хлеба. Если бы Создатель не внушил человеку вкус к абсурдному, тот не придумал бы спиртное. Я пользовался этим изобретением, опираясь на доставшуюся мне по дешевке чистую совесть.

Мне уже добрый десяток минут приходилось бороться со сном, когда в дверях появился высокий женский силуэт. Она была слишком красива для этой мрачной забегаловки. Не дав мне времени как следует рассмотреть себя, она уселась на стул напротив.

— Добрый день. Заканчивайте свой стакан. Пора уходить.

Мне показалось, что она автоматически воспроизводит записанные в мозгу фразы. Тем временем она сунула мне в руки конверт и продолжила негромким голосом:

— Ваши новые документы. Вас зовут Габриэль Димон, вы студент юридического факультета, родителей у вас нет. Вас воспитывали дядя и его жена, у них та же фамилия. Они живут в городке Иссижак в Дордони. В университет вы поступили в 1941 году. Сейчас вы заканчиваете второй курс. Начиная с сегодняшнего дня с вами никто, кроме меня, не будет контактировать. Мы будем встречаться два раза в неделю. Другим членам организации вы будуте известны как Барака.

— Почему Барака?

— Потому что вы настоящий везунчик. Вам удивительно везло до сих пор. Гораздо больше, чем вы думаете. В общем, с этого момента вы будете совершенно другим человеком. Ветер надежно засыпал песком ваши следы.

Я был уверен, что выгляжу жалким созданием, если учесть мои жирные волосы, круги под глазами и пропитавший одежду запах пота, который я пытался не распространять вокруг, стараясь сидеть неподвижно. Она холодно смотрела на меня, явно не видя того, кто сидел перед ней. Я украдкой рассматривал ее длинные изящные руки, матовую кожу лица со следами усталости, черные волосы, непослушные, словно конская грива, запоминающиеся с первого взгляды черты.

Мы вышли из бистро через заднюю дверь. Она проводила меня до центра города. Очень скоро мы очутились в коротком тупичке, так же безразличном к несчастьям оккупации, как и к жестокостям якобинцев, свирепствовавших полтора века назад. Это была мощенная булыжником улочка, упиравшаяся в ограду большого жилого здания, очевидно, принадлежавшего какому-то состоятельному горожанину. Почти вплотную к нему с правой стороны стоял пятиэтажный дом, увенчанный мансардой. После оккупации владельцы здания, жертвуя удобством ради выгоды, решили сдать комнатенку под самой крышей, которую до войны занимала горничная, убиравшая квартиры этажом ниже. Мой несуществующий родственник еще до моего появления снял комнату и оплатил ее на три месяца

вперед. Ключи были у консьержки, строго соблюдавшей правила. Своим инквизиторским видом она напомнила мне мелкого чиновника префектуры, готового пожертвовать целым миром ради куска дешевой колбасы.

Моя спутница знаком показала, чтобы я поднимался первым; сама она поднялась вслед за мной через несколько минут, постаравшись проскользнуть незаметно для консьержки. Как она сказала, эта дама два дня в неделю, по средам и субботам, нянчила детей владельца здания. Это и были дни наших свиданий, назначенных на семь часов вечера.

Она рассказала, что тупик, за которым находилось смежное здание, только выглядел тупиком; в конце коридора, в который выходила дверь мансарды, находилась небольшая незаметная дверь, открыв которую ключом, который она мне вручила, я попадал на черную лестницу соседнего здания, спустившись по которой, оказывался на другой улице. Поэтому моя мансарда и была выбрана местом наших встреч.

Мое жилище оказалось достаточно спартанским, но достаточно чистым. Кровать, стол, умывальник с холодной водой. Окошко в крыше с видом на небо. Мне понравилась комната, соответствовавшая моей натуре домоседа. Все остальное — поздние возвращения домой, ранние выходы в неизвестность — тоже вполне устраивало меня. Лошадь добралась до своего сена…

Она уселась на единственный стул. Я в это время проверил пружины матраса, ржавые и скрипучие. Она говорила, не обращая внимания на мою реакцию, говорила быстро и страстно, словно проповедник, вдохновляясь принадлежностью к рядам участников Сопротивления. Судя по всему, она была старше меня года на три, не больше. Похоже, в Сопротивление она вступила раньше меня. Возможно, перед этим она прошла гражданскую войну в Испании. Едва заметный акцент позволял предполагать ее происхождение.

— Несколько ближайших недель вы будете заниматься вербовкой. Потом вам сообщат, что делать дальше. Пока же вас ждет достаточно простая работа. Нужно завербовать двух или трех шлюх, готовых присоединиться к нам, не оставляя свое основное занятие.

Грубость ее жаргона немного рассердила меня, и я перебил ее:

— Не думаю, что, называя их так, вы быстрее получите согласие.

Она несколько сменила тон.

— Ладно, называйте их как хотите. Проститутки, торговки своим телом, девушки легкого поведения… Но нам нужна хотя бы одна девушка, чтобы провернуть важную операцию. Разумеется, ее участие в этом деле будет хорошо оплачиваться.

— Я могу узнать еще какие-нибудь детали будущей операции?

— Больше вы узнаете позднее. На этом этапе лишние сведения вам ни к чему.

— Что касается вербовки, то как я должен действовать?

Она взглянула на меня с видом строгого преподавателя, которому ученик задал наивный вопрос.

— Все очень просто. Вам будет нужно обойти несколько борделей и выбрать девушку, которая покажется вам подходящей. С ней вы завяжете доверительные отношения. В общем, я мало что знаю об этих особах. Так или иначе, вы же понимаете, что я не могу выполнить эту работу вместо вас. Так что вы уж постарайтесь справиться самостоятельно.

Она явно была смущена разговором на щекотливую тему. Я воспользовался этим и постарался подколоть ее:

— Я предлагаю метод, достоинством которого можно считать его простоту. Я устраиваюсь в курительной комнате пользующегося известностью заведения с большим плакатом, на котором будет написано: «Сопротивление ищет шлюху, чтобы спать с немцами и, в случае необходимости, с сотрудниками вишистской полиции. Заинтересовавшимся обращаться к представителю». Если этот метод не

годится, придется заняться вербовкой в ходе процесса. Я, наверное, справлюсь. Конечно, придется проверить десяток-другой девушек, если не сотню, пока не удастся обнаружить ту жемчужину, которая согласится на мое предложение. Разумеется, это сработает в случае, если вы расскажете мне, зачем все это нужно. Вы понимаете, что я имею в виду?

Мне показалось, что она удивилась.

— Вы хотите сказать, что никогда не прибегали к услугам профессионалок? И для вас существует проблема этического плана? Или вы опасаетесь, что при выполнении задания на вашу мужественность могут покуситься некоторые насекомые?

Она резко встала, чтобы прекратить разговор, относящийся, как она считала, не столько к работе, сколько к душевным переживаниям. Достав из сумочки конверт, она бросила его на постель.

— Это вам на текущие расходы. Если окажется, что этого недостаточно, скажете мне. Как мы условились, следующий раз увидимся в среду в семь часов. Постарайтесь выполнить задание побыстрее. Я знаю, что вы любите возражать. Но учтите, что теперь вы входите в круг важных шишек. Когда я приду, я постучусь в дверь три раза быстро, потом два раза медленно. Если меня не будет в четверть восьмого, немедленно уходите. Следите за этой явкой на протяжении трех дней. Если все будет спокойно, можете вернуться в свое логово. К вам придет кто-нибудь другой с тем же условным стуком в дверь. Ну, а если никого не будет, возвращайтесь к себе домой.

Перед тем как уйти, она небрежным тоном, словно бросая подачку, сообщила, как ее зовут. Ее звали Мила.

После ухода Милы я разложил свои вещи в небольшом стенном шкафу, проделав это с тщательностью человека, старающегося навести порядок в своих мыслях. Комната все еще была наполнена присутствием этой странной женщины. Женщины, предложившей мне переспать с проститутками неизвестно сколько раз подряд. Причем, таким небрежным тоном, словно она предлагала мне попробовать какое-нибудь редкое блюдо из ресторанного меню.

Я решил проверить запасной выход и без приключений оказался на улице, спустившись по черной лестнице. Потом мне пришлось немного поблуждать по незнакомым кварталам, прежде чем я нашел бистро, в котором встретился с Милой. Поскольку его хозяин был одним из наших, я спросил у него адрес портного, чтобы заказать вечерний костюм. Похоже, что я вряд ли мог обратиться к нему с более странной просьбой, даже если бы заказал отыскать для меня статуэтку доколумбовой эпохи. Он объяснил мне, что эта профессия исчезла вместе с евреями. Менее странной ему показалась просьба сообщить мне адреса нескольких публичных домов.

Я вернулся в бистро на следующий день. Хозяин передал мне список адресов, в том числе адрес женщины, шившей по заказу. Он даже сам отвел меня к ней, жившей в старом мрачном здании. Нас встретила полная женщина неопределенного возраста, которой не нужно было стареть, так как она никогда не была молодой. Она сняла с меня мерку с видом гробовщика, выполняющего заказ на изготовление гроба. Мне показалось, что ей не понравились мои плечи, оказавшиеся слишком узкими по сравнению с талией. Она даже едва не бросила сантиметр и записную книжку, но потом почему-то передумала. Отозвав хозяина бистро в сторону, она что-то прошептала ему. Я расслышал, как тот ответил: «Ему можно доверять». Все еще сохраняя подозрительный вид, она отвела меня в подвал. В убогой каморке, освещенной двумя тусклыми свечами, сидел, скорчившись над шитьем, пожилой мужчина. Когда мы вошли, он поднял глаза на меня. В этот момент я понял, отчетливее, чем когда-либо раньше, почему я участвую в этой войне. Да, я примкнул к Сопротивлению именно для того, чтобы никогда больше не увидеть в глазах человеческого существа такой бездонный ужас.

Старик, прекрасный мастер портняжного дела, был краток. Когда через несколько минут мы покинули его убежище, женщина пробормотала со смущенным видом:

— Вы же понимаете, сегодня всем нужно хоть как-нибудь зарабатывать.

В ожидании костюма я сидел в своей комнатушке, вживаясь в новый облик: благополучный студент, немножко денди, малость жуликоватый и в меру подловатый.

Ничто так не похоже на лупанарий, как другой дом терпимости. Повсюду слоняются подвыпившие клиенты, во взглядах которых блестит похотливость. Преобладают отчаявшиеся типы, подавленные сплошными неудачами, но не понимающие, что они, подобно современному Сизифу, снова и снова вкатывают на вершину горы свой камень. Желание, не основывающееся на любви, не находит выхода. Удовольствие действует на них примерно так же, как примочка на смертельно больного. Они не сознают, что ненависть лишает их больше, чем кого-либо другого, возможности любить хотя бы самую малость. Большинство среди пленников мимолетного наслаждения составляли слуги порядка.

Девушки, наряженные для жертвенного алтаря, переживают свою тоску в формах, казалось, не имеющих ничего общего с обычными человеческими чувствами. Наименее чувствительные отдают свое тело с безразличием, характерным для представителей мелкой уличной торговли. Самые молодые из них явно не могут поверить, что они лишены свободы. И они с увлечением слушают любые россказни посетителей, которые позволяют им немного помечтать. Если бы мне не нужно было постоянно помнить о задании, я смог бы расслабиться и получать удовольствие, но я выполнял приказ. Приказ Милы, красота которой становилась в моей памяти все ярче, хотя воспоминания о нашей единственной встрече постепенно таяли. Эта женщина была моим начальником. По ее приказу я должен был продолжать спать неизвестно со сколькими проститутками, пока ее задание не будет выполнено.

В следующую нашу встречу в среду я сразу понял, что Мила рассердилась, когда узнала, что я не могу сообщить ей ничего существенного. Холодным и высокомерным тоном она дала мне понять, что я задерживаю начало важной операции:

— Мы подошли к переломному моменту войны. Ваше задание крайне важно. Оно должно быть выполнено не позже чем через неделю. Командование теряет терпение.

Я попытался объяснить ей, что невозможно завербовать подходящую кандидатуру, просто щелкнув пальцами:

— То, что вы требуете от меня, не может быть выполнено в один день. Невозможно увлечь высокой целью девушку, погрязшую в дерьме, простым кивком головы. С нашей последней встречи я каждую ночь провожу в борделе, но у меня пока нет подходящей кандидатуры. Ни у одной из проверенных мной девушек мне не удалось обнаружить требуемый психологический профиль. Мне попадались такие, кто был готов последовать за мной, но ни одна из них не выдержит длительное испытание, не поддавшись соблазну быть перекупленной по более высокой цене. В конце концов я задумался: почему нужно ограничиваться вербовкой профессионалки? Если в наших рядах находятся женщины, готовые ради пользы дела пожертвовать жизнью, то почему среди них не найдется готовой принести в жертву свое тело?

Мне показалось, что мое предложение шокировало Милу. Но она в очередной раз показала мне свой характер. Решительный и несгибаемый.

— Если через неделю вы никого не найдете, я сама возьмусь за дело и поступлю так, как вы советуете...

Эта фраза произвела на меня эффект, сходный с прямым попаданием пули. На мгновение я представил Милу в объятиях полицейского или немца.

— Не беспокойтесь, к нашей очередной встрече я найду для вас эту редкую жемчужину.

Мне оставалось совсем немного времени. Всего две ночи.

Я оставил сомнительные заведения в темных переулках и перебрался на ярко освещенные улицы старого города. Именно сюда устремляются моряки, когда их корабли приходят в гавань, чтобы оказаться в сетях этих сирен, превращающихся в сон, как только очередным дождливым утром развеются пары спиртного.

Улица, на которой я очутился, спускалась к докам полосой мокрого булыжника. Я привлекал дам легкого поведения своим шикарным костюмом, игравшим роль паруса шхуны, раздуваемого налетающими на порт порывами бриза. Я резко выделялся среди здоровяков в рабочих комбинезонах, с трудом передвигавшихся под грузом мышц, обеспечивавших им заработок. Они смотрели на меня с тем же выражением, с каким бульдог смотрит на комнатную собачку.

Здесь я выбрал очередную жертву. Девушка, которой едва исполнилось девятнадцать лет и которой было стыдно того, что она оказалась в таком месте. Стеснявшаяся своего безупречно сложенного тела, она пряталась от жадных взглядов за ветхой дверью. Только благодаря ее скромности я смог найти ее. Я давно понял, что мне нужно было искать именно такое создание. Я поднялся за ней по ступенькам бесконечной лестницы с истертыми ступенями. В убежище, служившем ей рабочим помещением, Агата почти сразу поведала мне свою банальную историю. Ее отец оказался в плену в Германии в самом начале войны. По крайней мере, она так думала. Ее мать воспользовалась ситуацией, чтобы броситься в объятия молодого бизнесмена, поймавшего слепую удачу. Он вскоре бросил ее, предоставив ей самостоятельно бороться со все более и более суровой жизнью. У юной девушки не было другого выхода. У нее скоро появился свой сутенер, периодически избивавший ее, чтобы подтвердить свою привязанность.

Я положил на прикроватную тумбочку толстую пачку банкнот. Потом погладил ей руку и постарался убедительно объяснить, что очень нуждаюсь в ней. Я предложил ей послужить Франции, хотя и воздержался от уточнения, какую именно Францию я имел в виду. Я развернул перед ней картины будущего, которое никак не могло быть хуже настоящего. Упомянул я и о возможности освобождения ее отца, что должно было стать основной платой за ее преданность. Изложив ей это, я встал, показывая этим, что она должна принять решение немедленно. Вместо ответа она поинтересовалась, не смогу ли я на время приютить ее. Поскольку у меня не было выбора, я согласился. Она быстро собрала свое жалкое имущество, и мы направились ко мне, постаравшись по дороге не попасться на глаза ее сутенеру.

Поднявшись вместе с Агатой в мансарду, я почувствовал себя крайне неловко. Нам пришлось спать в одной постели, словно брату с сестрой. Утром я был вынужден уйти, чтобы не мешать ей заниматься туалетом. Вернулся я только в полдень, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, я был доволен удачной вербовкой, но меня беспокоила реакция Милы на неосторожное поведение. Я был уверен, что ей вряд ли понравится, что я оказался в мансарде не один.

В субботу перед встречей с Милой я попросил Агату пойти погулять пару часов. Она исчезла, не задавая лишних вопросов. Мила появилась в назначенный час в хорошем, как мне показалось, настроении.

Из небольшого оконца мы могли видеть крыши соседних домов, похожие на дворовых псов, валяющихся животами кверху под теплыми лучами весеннего солнца. Мила впервые обратила на меня внимание, хотя это мог быть и последний раз, поскольку то, что она собиралась сказать мне, вполне было способно лишить нас нашего общего будущего. Руководитель нашей сети назначил меня своим заместителем. Я должен был руководить командой героев, которой было поручено следить за рейдом, откуда в море выходили немецкие подлодки, чтобы атаковать конвои союзников. Они делали это весьма успешно, отправляя на дно сотни судов. Англичане, которым надоели ссоры между разными подпольными организациями французов, решили создать свою собственную тайную сеть. От них регулярно поступали деньги, а к ним так же регулярно должна была посту-

пать информация, которая позволила бы отправлять на дно смертоносные немецкие субмарины сразу же после выхода из гавани в открытое море. Нужна была информация, ничего, кроме информации. Я должен был также координировать действия работавших на нас в арсенале докеров. Ко мне должны были стекаться все детали, любые слухи, даже самые незначительные. Полученные сведения после обработки полагалось предавать Миле два раза в неделю. Наша группа, руководителем которой я был назначен, помещалась в большом кафе, расположенном неподалеку от гавани, где базировались немецкие подлодки. В этом кафе немецкие подводники проводили все свободные вечера, в том числе и последний вечер перед выходом на задание. И именно сюда они приходили, когда возвращались на базу, чтобы отпраздновать очередную отсрочку. Если морские глубины не захотели поглотить их, то теперь они могли надеяться получить очередной отпуск на родину. Наш бар был единственным мирным местом в мире, пропитанном запахами смолы, бензина и ржавого железа, изъеденного соленой морской водой. Не знаю, как это удалось Миле, но она добилась, чтобы меня приняли на работу официантом в этот бар. Малышка Агата должна была присоединиться ко мне, чтобы работать тоже официанткой, а при необходимости и проституткой. В баре до меня уже устроился один наш человек. Он был поваром и одновременно обеспечивал заведение всем необходимым как снабженец. Эти обязанности позволяли ему собирать интересующие нас сведения от докеров, работавших на немцев в гавани. Они знали только его, а он, в свою очередь, знал только меня. Мила знала, что хозяин заведения был связан с немецкой контрразведкой. Он сообщал в гестапо о подозрительном поведении работавших в кафе французов, а заодно и о некорректных высказываниях подвыпивших немецких подводников, обычно начинавших вести себя слишком непринужденно после третьего стакана шнапса. Мила также сообщила мне, что агентами немцев были две работавших в кафе официантки из местных. В этом заведении, где я должен был провести несколько месяцев, хищники и их жертвы были перемешаны в близости, которая в любой момент могла перерасти в настоящую бойню.

Пока Мила подыскивала для Агаты жилье поблизости от гавани, я рассказывал ей о правилах поведения и о том, что она должна была говорить о себе коллегам по работе. При этом я изображал нас как своего рода тайную полицию, следившую за обычной полицией Петена. Как недреманное око правосудия, следившее за порядком в стране. Мне пришлось прибегнуть к подобному варианту, так как я понял, что Агата слишком простодушна, чтобы вести двойную игру. Даже если она принимала свою роль близко к сердцу, она оставалась самым слабым звеном в нашей сети. Но мы нуждались в информации, которую можно было извлечь из пьяной болтовни немецких моряков, когда совместное воздействие алкоголя, желания и страха подталкивало их к излияниям на грани между надеждой и отчаянием. В такой обстановке едва ли не любой секрет неизбежно оказывался на кончике языка. Мила также сообщила мне, что один из сотрудников префектуры, тоже наш человек, рекомендовал меня и Агату хозяину кафе, заигрывавшему с полицией и больше заботившемуся о выручке от спиртного, чем о своей чести француза.

Наступило время, когда должен был распахнуться занавес перед сценой на которой будет разыгрываться спектакль без зрителей и без заранее известного финала.

13.

Все было готово, оставалось только молиться. Так, как может молиться коммунист. Страстно надеясь, что ни одна песчинка не вызовет сбой запланированной партии фальшивого покера.

Во время нашей третьей встречи Мила не проявила ни капли дружелюбия. Она явно решила сохранять безопасную дистанцию. Подчеркнуто старалась

держаться как можно более холодно, как будто малейшее проявление теплоты ко мне могло повлиять на исход нашей операции. Мне хотелось надеяться, что в ее внешне столь безразличном отношении ко мне таились признаки печали, как будто она предчувствовала, что рано или поздно обстоятельства заставят нас расстаться навсегда. Особенно тщательно она старалась создать вокруг себя непроницаемую оболочку. Она не поддавалась воздействию слов и чувств. Всего, что могло создать между нами хотя бы намек на интимность. Более того, при каждом удобном случае она старалась показать себя с отрицательной стороны. Конечно, такое ее поведение выглядело весьма неестественно, но даже оно умиляло меня и еще крепче привязывало к ней.

Я приступил к исполнению своих обязанностей в среду вечером. Из города я приехал на велосипеде. Двадцать пять километров, не отводя глаз от коварной дороги, извивавшейся между дюнами. Всю дорогу меня сильно беспокоила велосипедная цепь. Я боялся, что она может захватить складку моих брюк от сшитого на заказ костюма, несмотря на использованную мной защипку для белья. Я придерживался умеренной скорости, чтобы не вспотеть и не испортить воротничок моей накрахмаленной рубашки.

Внезапно открывшийся передо мной рейд показался мне скопищем уснувших чудовищ, чьи то резкие, то закругленные контуры чередовались на фоне морских волн, то печально голубых, то темно-зеленых или защитно-серых.

Чтобы лгать, требуется больше ума, чем для того, чтобы говорить правду. Все, кому приходилось вести двойную жизнь, знают эту истину. Спускаясь с последней дюны к строению, где мне предстояло работать, я почувствовал, что у меня сжимается сердце. Скорее всего, это была боязнь оказаться недостойным моих сотрудников, которые наверняка были гораздо опытнее меня. Невысокое сооружение, в котором предстояло собраться компании тайных агентов, казалось, случайно возникло на неподходящем для него месте. Бетонный куб, чем-то похожий на заброшенный общественный туалет, пятнистый из-за отваливающейся кусками со стен штукатурки. Со стороны моря песок образовал невысокую гряду, окрашенную лучами заходящего солнца в зловещий багровый цвет. Я обогнул здание, чтобы найти вход. Очевидно, заведение только что открылось. Высокая девушка с вызывающей внешностью в одиночестве расставляла за стойкой бара стаканы. Она уставилась на меня с таким агрессивным видом, что я почувствовал себя чем-то вроде неудачно написанного натюрморта. Я подошел к ней, безуспешно стараясь избавиться от вида неуклюжего школьника, пытающегося найти свой класс в первый день занятий. Она широко открыла глаза, показывая этим, что заметила мое появление, но явно не представляла, что ей делать дальше. Я спросил управляющего. Пока мои слова совершали долгий путь от ее ушей до мозга, мне пришлось подождать не меньше минуты. Наконец девушка догадалась предложить мне присесть. Я не решился нарушить порядок, в котором пребывали стулья, и торчал столбом добрых четверть часа, рассматривая помещение. Стойка бара описывала плавную дугу, отгораживая примерно половину небольшого зала. Она была сделана из какого-то дешевого материала, имитировавшего красное дерево. Опора для ног, очевидно, была хромирована и походила на бампер американского автомобиля. Квадратные столики располагались по обе стороны от центрального прохода. Стены увешаны черно-белыми фотографиями, на которых изображены анонимные корабли, парусники и пароходы с одной или двумя трубами. В баре могло поместиться несколько десятков клиентов. Это меня успокоило, так как я надеялся стать менее заметным среди многочисленной публики.

Толчком распахнув двустворчатую дверь, в зал влетел мужчина. Это мог быть только управляющий. Годы придали его массивной фигуре почти кубическую форму. Низкий лоб над маленькими бесцветными глазками, усы, плохо скрывавшие неудачно зашитую заячью губу. Весь его облик говорил о частых вспышках гнева. Но его голос, точнее, голосок, оказался высоким и тонким. Он уставился на меня взглядом акушера, увидевшего выкидыш.

— Из префектуры меня предупредили, что вы должны подъехать. Вы, кажется, студент?

Моя легенда была хорошо отработана. Мне полагалось выглядеть бесцветной, робкой личностью, типом, которого тут же забывают, едва отведя от него взгляд. Я молча кивнул в ответ.

— Запомните: здесь всем наплевать на вашу науку. Днем вы можете заниматься всем, что взбредет вам в голову. Главное — ваша работа вечером. Если вам взбредет в голову заняться вечером своей учебой, я тут же выставлю вас отсюда пинком под зад. Мне чихать, что вы чей-то там протеже. Здесь один шеф — это я.

Он выпалил эту тираду, задрав нос и сильно пыхтя. Потом он продолжал все тем же хамским тоном:

— Здесь главная клиентура — немцы-подводники. Стоит увидеть их, и вы сразу поймете, с кем вам придется иметь дело. Бравые, отважные мужчины. Солдаты, не знающие, что такое страх. Не то, что наши трусы, о которых мы узнали в июне сорокового. Эти немецкие парни заслуживали победы. Я говорю вам это потому, что никогда не участвовал в Сопротивлении. Мне пришлось побывать на войне четырнадцатого года, хотя и всего десять последних месяцев. С января по ноябрь восемнадцатого. В пехоте. На моем счету на меньше двух десятков немцев. А мне они смогли всего лишь повредить губу. Это не заячья губа, слышите! Потом я сообразил, что мы ошибались. Ведь немцы раньше нас поняли, что главная причина болезни Европы — это евреи и большевики. Так в чем их можно упрекнуть, а? Ладно, я сам скажу. Ни в чем! Короче, мы здесь для того, чтобы дать им возможность немного поразвлечься. И показать, на что способны французы. Это все. Да, вот что еще. Главное, что я всегда буду требовать от вас — это уважать меня. И у вас не будет проблем. Я назначаю вас заниматься баром. Девушки работают в зале. С немцами все очень просто. Пиво и шнапс. А когда спиртное подействует, их руки то и дело оказываются под подолом у девушек. Ничего большего им не нужно. А вы должны внимательно следить за их стаканами. Не заставляйте их ждать. Когда вы к ним привыкнете, то почувствуете гордость, что вам пришлось обслуживать людей такой закалки. И последнее. Я строго слежу за внешним видом моих людей. Первая небрежность в одежде, и я отправлю вас к вашим тараканам. Вопросы есть?

Я покачал головой. Этот человек показался мне способным говорить одно, а делать совсем другое. От него так и несло самодовольством. Вот уж не ожидал найти в нем так мало ума. Вообще-то мне свойственно недооценивать противника.

Появились обе официантки. Обычные девушки. Блондинка с белой кожей, совершенно бесцветная; чтобы запомнить ее лицо, требовалось несколько недель постоянно общаться с ней. Толстушка брюнетка с немного кривоватыми ногами, но с более живым взглядом. Управляющий заметил мне, что третьей официантки пока нет. Туберкулез. Вот-вот должна появиться новенькая. Я понял, что имелась в виду Агата. Наша сеть формировалась в соответствии с планами.

Пока не было третьей девушки, я согласился немного поработать в зале. Заглянув на кухню, познакомился с поваром. Высокий худощавый блондин пожал мне руку так, словно мы были старыми друзьями. Потом он показал мне двух мальчишек-поварят, похожих на подмастерьев сапожника или какого-нибудь другого мелкого мастера.

К своим обязанностям я отнесся с прилежанием начинающего. Проверил все бокалы, надраил стойку, отполировал хромированную опору для ног. И с нетерпением ожидал, когда распахнется занавес.

Окончание следует.

Перевод с французского Игоря Найденкова.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Избранник неба

АЛЬБАТРОС

Как часто заскучавшие матросы,
Средь грозных неизведанных морей
Забавы ради ловят альбатросов,
Скользящих за громадой кораблей.

Избранник неба и король лазури
Беспомощен на палубной доске.
И крылья, не боящиеся бури,
Как сломанные весла на песке.

Крылатый пилигрим, лишенный силы!
Властитель волн, посмешищем он стал.
Он раскрывает клюв, кричит уныло —
Хромой калека потешает зал!

Поэт — как альбатрос. Небесный странник
Средь облаков так сладостно парит!
А на земле он проклятый изгнанник,
И крылья не дают ему ходить.

* * *

Одежды перламутровые струи…
Походка — танца легче и нежней.
Ритмичные движения чаруют,
Как колыхания священных змей.

Песок унылый и лазурь пустыни —
Влюбленной паре не дано страдать.
Переплелись они, как волн извивы,
Бесстрастия вкушая благодать.

Ее глаза — шлифованные камни.
В ее природе таинства слились:
И непорочный белокрылый ангел,
И древний улыбающийся сфинкс.

Сталь, золото, алмазов переливы
И вечное сияние светил —
Величественный блеск холодной дивы
Надменных звезд мерцание затмил.

ТРЕСНУВШИЙ КОЛОКОЛ

Как зимней ночью горестно и сладко
Взбираться среди всполохов огня
По лестнице воспоминаний шаткой,
Колоколами памяти звеня!

О колокол! Как имя твое свято!
Зовешь к молитве ты из тьмы веков!
Подобен ты бывалому солдату,
Не спящему под пологом шатров.

Моя душа надтреснута. И часто
Ее напевы ночи холодней,
И голос этот грустный, безучастный
Подобен хрипу раненых зверей

На побережье озера из крови,
В неисчислимой череде смертей.
Он замирает в тишине суровой,
В пучине неизмеренной страстей.

ИЗ ГЛУБИНЫ…

Из глубины воззвал к Тебе, единый,
К кому обращена душа моя!
Из пропасти грехов необозримой
Прошу о снисхождении, скорбя.

Я вопию из тьмы, где нет исхода,
Где богохульства беспробудна ночь,
И ужасом исполненные своды,
О Боже, дай мне силы превозмочь!

Полгода светит солнце, но не греет,
Полгода мрака распростерт покров.
Там нет ни рек, ни зелени, ни зверя,
Тот край беднее, чем просторы льдов.

Все кары во Вселенной не сравнятся
С жестоким хладом ледяных светил,
И Хаос первобытного пространства
Средь мрака и отчаянья уныл.

Завидую я гнусных тварей судьбам,
Всецело погруженных в глупый сон, —
Так медленно на роковом распутье
Разматывает нить клубок времен.

СЛЕПЫЕ

Душа моя, воззри: они пугают,
Как манекены жуткие впотьмах.

Палимые огнем, не постигают,
Что их удел — пронзительная тьма.

Из их очей исчезла искра Бога,
Но к небесам воздет их взор пустой.
Они не видят пред собой дороги,
Задумчиво поникнув головой.

Они идут сквозь безграничность ночи.
Им брат — вселенской тишины покров.
О город! Ты смеешься и грохочешь,
Поешь вкруг нас на сотни голосов,

Ты в наслаждения влюблен до изуверства.
Смотри: и я в убожестве влачусь.
Зачем слепые созерцают небо? —
Спросить тебя в беспамятстве хочу.

* * *

Продолговатых глаз зеленоватый свет,
Любимых, нежных, стал сегодня грустным.
Над морем торжествующий рассвет
Дороже мне, чем все земные чувства.

Любовь, уют, пылающий очаг
Мне не заменят волн бегущих моря,
Поющих в желтых ласковых лучах
На солнечном сияющем просторе.

О, сердце кроткое! Люби меня, как мать,
Хоть пред тобой во многом виноват я.
Возлюбленной или сестрой назвать
Хочу тебя под крыльями заката.

Мгновения бегут. Могила алчет.
К твоим коленям припадаю лбом.
Ловите миг и обретайте счастье
В осеннем увяданье золотом.

* * *

Я восхищен тобой, как полуночным сводом,
О, чаша сладости, молчания сосуд!
Исчезнув, а потом явившись, мимоходом
Ты украшаешь тьму, как небо — Млечный Путь.
И легче убежать в немыслимые дали,
Чем бездну наслаждения забыть.
Ты искушения источник небывалый,
И страсти эликсир я не устану пить.
И атакую я, ползком иду на приступ,
Как на холодный труп — скопление червей.
Жестокость глаз твоих, неумолимо чистых,
Жжет пламенем меня все жарче, все сильней.

Перевод с французского Натальи Ивановой.

ХЕНРИК КОЗАК

Помнит только время

Просьба

я молился у чудесной иконы Черной Мадонны
с благодарностью стоял на коленях перед Гробом Ее Сына
в переулках Вифлеема
Иерусалима и Назарета
искал Его следы
восхвалял Господа в храмах Парижа и Рима

а моя мать
всю свою жизнь молилась
в деревянном костеле в Ситнике
местности которой
пожалуй нет даже
на карте небесной

но именно она
а не я
заслужила место
в Твоем кортеже

отыщи ее Господи!

Убеждение

когда-то еще проснусь весной на рассвете
в родном своем доме
в щели между балками
скворцы будут строить гнездо
я же побегу босиком через сад
навстречу возвращающейся откуда-то матери
и все будет как прежде
молодое светлое и красивое

Проездом в городке

я жил здесь помню
комнату в еврейском доме
с кафельной печкой
и видом из окна
на церковь
и Буг мерцающий темной водой
через гущу ивовых зарослей

была была девушка
как в рассказах Бунина
приходила вечером
и клялись мы друг другу
при свече
в любви на всю жизнь
такой какая еще
никогда и ни с кем
в этом городе не случилась

спрашиваешь меня
кто из нас
в поиске счастья
первый сбежал из городка
не простившись
не оставив адреса

может это была она
может это был я
а помнит только
то время

Непокорное стихотворение о молодости

Пани Т.

ох Пани сколько мудрецов
желают лишить меня воспоминаний
а другие
безумно
издеваются над моей молодостью

что простая
народная
и навытяжку

ну а я ведь не откажусь от нее
как от Подляшья
матери
и Анны Марии Магдалены
соседа хохла
который вечерами
после возвращения из города

запевал украинские думки
или русские романсы
а по субботам
в пожарном депо
наши подляшские тянули
все тоскливые и жалобные
как тихий плач куликов
где-то над болотными зарослями
за деревней
весною

я даже Пани
не мечтал о другой
и даже стыдно признаться
наперекор мудрецам
все время тоскую по ней

даже по тем июлям
на полях за Зарослями
покрикиваниям отца
что лентяй и тупица
что не умею
ходить с косой
иль за плугом

а это трудней
чем отлеживаться с книгой
под грушей

ох как бы я снова сбежал
в субботний полдень
к влодавскому озеру
или в Серпелице у Буга

знаю что завидуешь мне
Пани

Перевод с польского
Григория Михайловского.



МИХАИЛ БУБЛЕЕВ

Испытание властью

Вместо предисловия

Я заинтересовался историей жизни Михаила Васильевича Зимянина, когда в белорусской газете «Звязда» прочитал о том, что вдова бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машерова, погибшего в автокатастрофе, выражала недоумение в связи с приездом на похороны в Минск секретаря ЦК КПСС М. В. Зимянина. «Как будто в Москве, — возмущалась она, — не знали, что у покойного были с ним весьма сложные отношения».

С годами я все больше укреплялся в намерении разобраться в сложных хитросплетениях судеб белорусских руководителей послевоенной поры. Каждый из них — Пономаренко, Патоличев, Козлов, Притыцкий, Сурганов, Мазуров, Машеров — были по-своему яркими личностями.

Во время приездов в Москву в середине 1990-х годов мне удалось ознакомиться с редкими материалами. Вместе с мемуарной литературой и опубликованными историческими исследованиями эти документы открыли мне противоречивую картину жизни людей, принадлежавших к высшим эшелонам власти в Советском Союзе.

* * *

Он ушел из жизни 1 мая, в день, который в СССР и странах социализма отмечался как международный праздник солидарности трудящихся. Прощались с ним 5 мая, в День печати. Поминальный девятый пришелся на празднование Великой Победы — 9 мая 1995 года. Даже даты, связанные с его кончиной, символичны, словно отражают его жизненный путь — труженика, журналиста, воина.

Да и родился он 21 ноября (8 ноября по старому стилю) 1914 года, в день, когда православный русский народ празднует честь и память Архистратига Михаила, вождя воинства Господня, защитника веры и хранителя людей, главного борца против сатаны. По святцам был наречен Михаилом сыном Василия по фамилии Зимянин, созвучной названию его родной белорусской деревушки Земцы, что неподалеку от Витебска.

По прошествии более 90 лет со дня рождения Михаила Васильевича Зимянина, советского партийного и государственного деятеля, попытаюсь рассказать, каким он был.

Не обойтись без цитат, зачастую довольно пространных, из мемуарной литературы, исторических трудов, документов. Наибольший интерес представляют свидетельства тех людей, которые встречались, сотрудничали с Зимяниным.

Отзывы разные: одни пишут о нем уважительно, воздавая должное его заслугам, иные сдержанны в оценках, а кому-то он просто не по душе.

Так, историк и публицист Сергей Семанов, долгие годы собиравший материалы о советских руководителях, опубликовал две книги — жизнеописания Брежнева и Андропова. От последнего Семанов немало натерпелся, фактически угодив в начале 1980-х годов под домашний арест. В те времена член КПСС,

главный редактор журнала «Человек и закон», Семанов распространял в писательских и журналистских кругах, как это следует из секретной докладной КГБ, «клеветнические измышления о проводимой КПСС и Советским правительством внутренней и внешней политике», допуская «злобные оскорбительные выпады в адрес руководителей государства». Очевидно и то, что для КГБ не было секретом тайное сотрудничество Семанова с эмигрантскими изданиями. «Рабочий, так сказать, секретарь ЦК по идеологии М. Зимянин, одногодок Андропова, так и не был введен в Политбюро; здоровый и подвижный, он отличался нерешительностью и слабохарактерностью, боялся сам принимать мало-мальски важные решения (о происхождении его супруги говорили разное...)», — пишет Семанов. Следующее упоминание о Зимянине уже из книги о Брежневе. «Тогдашний секретарь ЦК по идеологии Петр Нилович Демичев был ничтожеством из ничтожеств». Новым секретарем, его сменившим, «стал бывший редактор “Правды” М. В. Зимянин. Был он таких же дарований, как и его предшественник, но человек Суслова, он явно был сторонником его “интернациональной линии”».

В воспоминаниях «архитектора перестройки» А. Н. Яковлева, носящих примечательное название «Омут памяти», можно прочитать следующее: «Любопытный человек Михаил Зимянин. Партизан. Комсомольский, а затем партийный секретарь в Белоруссии, посол во Вьетнаме, заместитель министра иностранных дел, главный редактор “Правды”. Как раз в это время (1973 год. — *М. Б.*) у меня сложились с ним добрые отношения, достаточно открытые. Мы доверяли друг другу. На Секретариате ЦК он выступал довольно самостоятельно, не раз защищал печать и иногда спорил даже с Сусловым. Поддержал мою статью в “Литературке”, позвонил мне и сказал добрые слова. (Речь идет о яковлевской статье «Против антиисторизма», опубликованной в «Литературной газете» в 1972 году. В этой статье Яковлев в худших традициях вульгарно-социологической литературной критики подверг нападкам творчество выдающихся советских русских писателей и поэтов патриотического направления. Откровенная русофобия новоявленного «литературоведа» вызвала раздражение у Брежнева. «Этот мудак хочет поссорить нас с русской интеллигенцией», — буркнул он в сердцах и распорядился убрать Яковлева из аппарата ЦК КПСС. Яковлева отправили послом в Канаду, откуда он был возвращен при Андропове спустя десять лет. — *М. Б.*).

Я отправился в Канаду с этим образом Михаила Васильевича. В один из отпусков решил зайти к нему. В первые же минуты он соорудил изгородь. Я попытался что-то сказать, о чем-то спросить — стена из междометий. Я встал, попрощался, но тут он пошел провожать меня, дошел даже до коридора, глядя на меня растерянными глазами, буркнул: «Ты извини, стены тоже имеют уши». Собеседник мой боялся, что я начну обсуждать что-нибудь сакраментальное, как бывало прежде. Больше я к нему не заходил.

Когда я вернулся в Москву, он уже был секретарем ЦК. Однажды он пригласил меня по делам института... (По возвращении из Канады Яковлев был назначен директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. — *М. Б.*) Во время разговора раздался звонок Андропова. Зимянин сделал мне знак молчать. Все его ответы Андропову сводились к одному слову: «Есть». Я видел его перепуганное лицо. После разговора он облегченно вздохнул и сказал мне: “Ты не говори, что присутствовал при разговоре”».

Академик-американист Георгий Арбатов в своей книге «Человек системы» пишет о том, что «все были рады», когда Зимянин сменил Демичева на посту секретаря ЦК по идеологии. «Репутация у него была неплохая, но на посту секретаря ЦК с ним что-то произошло. Может быть, он не выдержал испытания властью. А может быть, это было возрастное. Но во всяком случае Зимянин стал совсем другим, превратился в покровителя реакционеров, а в некоторых неблаговидных делах (в частности, в попытке разгромить в 1982 году ИМЭМО АН СССР) активно участвовал сам».

В главе, посвященной Андропову, утверждается, что тот придерживался нелестного мнения о Зимянине и не раз Арбатову об этом говорил.

Бывший редактор «Комсомольской правды», бывший руководитель Всесоюзного агентства по авторским правам, бывший министр иностранных дел СССР, бывший посол в Великобритании и Швеции, ныне проживающий в Стокгольме Борис Панкин в своих воспоминаниях «Пресловутая эпоха» приводит следующий рассказ известной советской писательницы Мариэтты Шагинян о встрече с Зимяниным.

«Когда-то давно, она не помнила, то ли в 48-м, то ли в 56-м, она пришла в Праге в советское посольство. Хотела раздеться.

— Вдруг какой-то маленький человечек бросился взять у меня пальто. По старой буржуазной привычке я протянула ему крону, и он взял эту крону. Я спросила, как пройти к послу, он рассмеялся и сказал, что он и есть посол. Вот такой он тогда был. Кстати, крону мне так и не вернул, по-моему. Может быть, взял ее на память».

Точности ради отметим, что Зимянин возглавлял Посольство СССР в Чехословакии в 1960—1965 годах, а приведенный Панкиным забавный эпизод относится к лету 1963 года, когда Шагинян провела несколько недель в Праге, собирая материалы для книги о чешском композиторе Йозефе Мысливечеке.

Вторая встреча, о которой Мариэтта Сергеевна поведала Панкину, состоялась уже в ЦК КПСС. Писательница пришла к секретарю ЦК по идеологическим вопросам Зимянину с просьбой помочь приобрести дачу в Переделкино, а тот отказал, да еще и выговорил ей: «Как это можно? Коммунист не должен иметь никакой собственности. Вот посмотрите на меня. (А он, между прочим, блестяще одет, — отмечает Шагинян.) У меня нет ничего. У моих детей нет ничего. Они не пользуются никаким блатом».

Шагинян в гневе покинула секретарский кабинет, а Зимянин, по ее словам, бросился за ней, «просил не сердиться, задержаться». Но негодующая писательница ушла. «Он вообще изменился, боже, как он изменился, — восклицала Шагинян. — Он ведь был сталинист, ярый сталинист, когда началось все это. А теперь совсем другое. Как сумел он попасть в масть?»

По прочтении этого отрывка поневоле возникает вопрос: для чего профессиональный журналист Панкин, небезразличный к литературной форме, столь тщательно воспроизводит косноязычие 90-летней литераторши, не утруждая себя ни редакторской правкой, ни, казалось бы, полезными комментариями? Попробуйте с ходу определить, что фраза «когда началось все это» означает период хрущевской «оттепели», а «теперь совсем другое» — брежневский «застой». С другой стороны, нужны ли эти объяснения? Вот как ухитрялся «попадать в масть ярый сталинист» Зимянин? Думается, устами старушки Шагинян этот вопрос задает сам Панкин.

«Отличался объективностью и здравомыслием, — характеризует Зимянина представитель так называемой «литературы факта» Николай Зенькович, автор 30 популярных книг по советской и новейшей российской истории. — Чаще всего любая серьезная коллизия заканчивалась у него в кабинете и не имела продолжения. Деликатный по характеру, вместе с тем был прямолинейным в суждениях, честным и правдивым в оценках, недостаточно податливым к зигзагам в идейных вопросах. Лично скромный, открытый, контактный, несколько эмоциональный. Говорил очень быстро».

И одновременно мастер «литературы факта» повторяет байку сына Хрущева о том, как Посол СССР в Чехословакии Зимянин в октябре 1964 года позвонил из Москвы, куда он был вызван на Пленум ЦК КПСС, отдыхавшей в Карловых Варах Нине Петровне Хрущевой и поздравил ее с назначением на пост Первого секретаря ЦК КПСС Брежнева. Заодно шустрый посол сообщил ни о чем до той поры не подозревавшей женщине, что «врезал как следует» по методам хрущевского руководства. По недоуменным вопросам Нины Петровны понял, к

ужасу своему, что по привычке попросил соединить его с женой Хрущева вместо Виктории Петровны Брежневой. Обе вместе отдыхали на карловарских водах. Пробормотал в расстройстве что-то невнятное и повесил трубку...

Ну что тут скажешь? Если бы Михаил Васильевич при жизни прочитал эти анекдотические истории о себе, он бы от души посмеялся. Чувство юмора у него было отменное.

Мемуарная зарисовка Станислава Куняева, поэта, публициста, главного редактора журнала писателей России «Наш современник». «Маленький Зимянин» с «глубоко запавшими глазками» разговаривает с Куняевым на банкете по случаю очередного съезда Союза писателей: «А — это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?» — «Я только этим и занимаюсь в последние годы», — печально отшутился Куняев.

А вот портрет Зимянина, вышедший из-под пера Сергея Викулова, предшественника Куняева на посту главного редактора «Нашего современника»: «В нем не было ничего, что говорило бы о человеке гордом, волевом, самолюбивом: ниже среднего роста, круглое бабье лицо, курносый нос, тонкие губы, негромкий, без басовой струны голос, тараторный, лишенный ораторских интонаций говор». По описаниям Викулова, «щупленький, невысокий» Зимянин постоянно «нервничает», «весь в движении», «подергивается на стуле», «суетливо жестикулирует», говорит «зло и резко», часто прерывает собеседника. Когда же он выступал с трибуны, то «не было в его говорении ни душевного волнения, ни боли, ни тревоги. Этакая ровная, скучная, прошу простить за сравнение, церковная монотонность. Слушаю, хочу записать, а записывать нечего...»

С легкой руки Викулова, а потом и сменившего его Куняева пошла гулять по страницам «Нашего современника» и других изданий патриотического направления формулировка, характеризующая руководство культурой и идеологией советского периода, — «Сусловы, зимянины, шауры» (В. Ф. Шауро — заведующий отделом культуры ЦК КПСС в 1965—1986 гг. — *М. Б.*). Сформулировано в полном соответствии с известными образцами советской публицистики. Поневоле вспоминается классическое: «...гитлеры приходят и уходят...». Пренебрежение, презрение, если не ненависть к определенным личностям сквозит в написанных с маленьких, строчных, букв фамилиях, да еще упомянутых во множественном числе. Имена собственные становятся нарицательными...

«Маленьким», в «мышиного цвета костюмчике», «постоянно шмыгающим носом» — таким запомнился Зимянин поэту, секретарю Правления Союза писателей России В. Сорокину.

У идейного антипода трех последних авторов Евгения Евтушенко свое видение образа Зимянина, который лично к нему относился «весьма неплохо, тем не менее часто и весьма легко впадал в ярость по поводу всего того», что поэт писал и делал.

В книге «Волчий паспорт» Евтушенко живописует, как при объяснениях с ним Зимянина «трясло», как он от возмущения по поводу каких-то стихотворений поэта вскакивал со стула, крича: «Это издевательство над всей советской жизнью, над нашим строем!» «При начале перестройки Зимянин несколько раз впадал в истерики — так, он буквально бесновался перед Съездом писателей СССР, перед пленумом СП РСФСР, полутребуя, полуупрашивая писателей не упоминать еще не напечатанный тогда роман «Дети Арбата» Рыбакова, который он сам называл антисоветским».

Забавно, но в своем «Романе-воспоминании» Анатолий Рыбаков пишет следующее: «Итак, роман запрещено даже упоминать. Евтушенко выбросил его из своего выступления. Потом разыскал меня, передал свой разговор с Зимяниным.

— Не думайте, я не испугался, но «скалькулировал», что мое умолчание будет выгодно для романа.

Я улыбнулся, представляя, как маленький, тщедушный Зимянин наскакивает на долговязого Евтушенко.

— Чего вы улыбаетесь? — насторожился Евтушенко. — Повторяю, я не испугался.

— Знаю. У меня нет к тебе претензий. Я никогда не сомневался, что ты мне хочешь помочь».

И снова цитата из книги Евтушенко. Читаем: «Зимянин не замечал, что с каждым днем он все больше и больше становился анахронизмом. Его трагедия была в том, что, будучи субъективно честным человеком, в силу своей запрограммированности на так называемую идеологическую борьбу он превратился в верного Руслана — лагерную овчарку из повести Вадимова, которую учили брать мертвой хваткой всех, кто посмеет выйти из колонны заключенных. Зимянин, как и другие идеологи, был настолько занят надзирательством, что почти не бывал в театрах, и если что-нибудь читал, то только по служебной необходимости.

Однажды он меня неожиданно спросил в редакции «Правды»: «Тут так срабатываешься, что я уже не помню — когда в последний раз стоящую книжку читал. Не посоветуете ли мне что-нибудь почитать?» Я посоветовал ему «Сто лет одиночества». Такие люди, руководя культурой, сами в ней ориентировались еле-еле. Но все-таки была у них культура чтения, правда, особого склада. Они понимали силу слова, понимали, как самый вроде бы мягкий подтекст может становиться рычагом исторических перемен».

В том же «Волчьем паспорте» не названный по фамилии секретарь ЦК по идеологии, но понятно, что речь идет о Зимянине, распекая поэта за репортаж о Монголии в американском журнале «Лайф», вызвавший возмущение монгольского руководства, «вдруг сварливо добавил:

— И с вашей женитьбой на англичанке вы тоже учудили. Надо же было до такого додуматься! Почему вы все время противопоставляете себя обществу, гусей дразните?!

Я встал и сказал:

— Это мать моих двух детей. Если вы немедленно не извинитесь, я сейчас же уйду.

Он с торопливой гибкостью обнял меня за плечи, усадил:

— Ну, хорошо... Снимаю личный вопрос... Но гусей-то дразнить все-таки не надо... Ни монгольских, ни своих...»

В 1964 году познакомился с Зимяниным известный дипломат и журналист, руководивший в 1988—1991 годах Международным отделом ЦК КПСС Валентин Фалин: «Небольшого роста, щуплый, подвижный как ртуть. Большую часть войны партизанил в Белоруссии. С партийной работы попал в дипломаты. Будучи послом во Вьетнаме, Зимянин энергично противодействовал тому, чтобы эту страну постигла полпотовская драма».

В конце лета 1979 года Фалин, тогда первый заместитель заведующего отделом международной информации ЦК КПСС, с секретарем ЦК Зимяниным с глазу на глаз обсуждали ситуацию в Афганистане. Страна охвачена гражданской войной, и соотношение сил явно не в пользу правящего режима. Президент Тараки и премьер Амин молят Москву о военной помощи, не только оружием, но и войсками. До осени 1979 года позиция советского руководства сводилась к тому, чтобы оказывать Афганистану политическое и экономическое содействие, в том числе оружием и военной техникой, но не более того.

В этой новой ситуации Фалин задавал вопрос: от кого и с кем теперь защищать афганскую революцию? И он, и Зимянин замечали возросшую активность советского Генштаба и тех отделов ЦК, которым положено заниматься афганской проблематикой. Друг другу они доверяли, поэтому поделились общим печальным выводом: страну втягивают в «авантюру с сомнительным финалом».

Упомянул Зимянина в своих размышлениях на тему «“Русский орден” в ЦК партии: мифы и реальность», опубликованных в газете «Завтра» в июне 2002 года, руководитель Союза писателей России, в прошлом крупный комсомольский деятель, В. Н. Ганичев.

Зимянин на Всероссийском совещании журналистов устроил Ганичеву, тогда главному редактору «Комсомольской правды», разнос за серию статей о взяточничестве среди высокопоставленных руководителей в Ставрополье, Краснодаре, Сочи. Мол, «Комсомолка» тщится доказать, что в СССР есть коррупция. Позднее, уже на писательском съезде, Зимянин подошел к Ганичеву и жестко сказал: «Вы должны уйти из “Комсомольской правды”. Только не жалуйтесь... (Ганичев полагал, что принимавшие по его кандидатуре решение партийные аппаратчики опасались заступничества М. А. Шолохова, который с большой симпатией относился к “Комсомолке” и ее главному редактору. — *М. Б.*). Мы вас убираем по возрасту. (Хотя сам Ганичев, по его убеждению, был значительно моложе первого секретаря ЦК ВЛКСМ и многих других именитых комсомольцев. — *М. Б.*) Вот, пожалуйста, “Роман-газета”, вы с писателями дружите, сами пишете, вам и карты в руки...» Я уже был членом Союза писателей и понял, что надо уходить в литературную нишу, скрываться от преследований товарищей по партии, да и духовно мне там было бы интереснее. Я дал добро. Так и поговорили с Зимяниным... Так что попытка сделать из “Комсомольской правды” оплот патриотизма, подобный “Молодой гвардии”, у меня не вышла».

На одной из встреч с журналистами Зимянин уже в качестве секретаря ЦК КПСС обрушился, по воспоминаниям Ганичева, на публикацию Владимира Солоухина, посвященную проблеме сохранения русских памятников старины. «“Пишут черт его знает что! Вот опять об этой Оптиной пустын*е* (делая то ли специально неправильное ударение, то ли по безграмотности). Что, у нас нет настоящих памятников революционерам, героям? Пишите себе!” Да, может быть, не самый атеистически мракобесный человек был Михаил Васильевич, но невежда безусловный», — заключает Ганичев.

Еще одно любопытное высказывание о Зимянине, принадлежащее Ричарду Косолапову, бывшему главному редактору журнала «Коммунист». Зимянин ценил его как философа-теоретика и относил, как и В. Г. Афанасьева, о котором речь пойдет далее, к числу своих друзей. «В конце семидесятых годов в связи с приближением 100-летия со дня рождения Сталина, — вспоминает Косолапов, — я внес предложение переопубликовать в журнале “Коммунист” его статью “Октябрьская революция и тактика русских коммунистов”.

— Ты что, хочешь показать, какой Сталин умный? — парировал это предложение секретарь ЦК КПСС по идеологии Зимянин.

Вопрос был закрыт. Между тем Зимянин (умерший в мае 1995 года) полностью пересмотрел в конце жизни (якобы под влиянием чтения Гегеля) свое отношение к марксизму и доказал лишь то, что он, как и многие в “застойном” партийном руководстве, занимался не своим делом».

* * *

Уже по приведенным цитатам становится понятно, что писать о Зимянине непросто. Судьба его сложилась так, что довелось ему быть не только свидетелем, но и участником важных событий отечественной истории, которые до сих пор тревожат умы. Он прожил трудную, полную драматических эпизодов, до предела насыщенную событиями жизнь. Да, случалось, он ошибался, иногда терпел поражения, и довольно тяжелые, но все же чаще достойно преодолевал выпадавшие на его долю испытания.

Выйдя на пенсию, Михаил Васильевич начал работать над воспоминаниями. В то же время ему, в полной мере познавшему искус оперативной журналистской работы, хотелось делиться своими впечатлениями и размышлениями о повседневной политической жизни страны. Время от времени его статьи и заметки появлялись в любимой им «Правде».

Его публицистическое дарование, помноженное на огромный опыт профессионального политика, способного предугадывать развитие событий, пожалуй, наиболее ярко проявилось в статье «Маневры закончились — начался штурм

Советов», опубликованной в «Правде» 19 марта 1993 года. Статья, к несчастью, оказалась пророческой. Через полгода по ельцинскому приказу средь бела дня в центре Москвы танки расстреляли здание, в котором укрывались опальные депутаты Верховного Совета России.

Тяжелая болезнь помешала Михаилу Васильевичу завершить работу над воспоминаниями. Некоторые отрывки из незаконченной рукописи удалось опубликовать в форме интервью в белорусской газете «Звязда» в июле—августе 1992 года и в московском еженедельнике «Политика» в 1992—1993 годах.

Он был счастлив, когда его пригласили участвовать в подготовке сборника «Живая память», посвященного пятидесятилетию Великой Победы. Статья Зимянина как одного из организаторов партизанского движения открывала раздел документальных свидетельств о всенародной борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Он успел увидеть свою работу напечатанной.

Как уже говорилось, Михаилу Васильевичу довелось участвовать во многих событиях, которые можно назвать поворотными в судьбе Советского государства. Но не было, пожалуй, в жизни Зимянина времен более сложных и драматичных, чем те, что наступили для него после смерти Сталина 5 марта 1953 года.

Он избегал говорить об этом периоде. Напоминания причиняли ему боль. Даже когда во времена горбачевской гласности стали появляться публикации, в которых искажались события в Белоруссии в марте—июне пятьдесят третьего года и роль Зимянина в этих событиях, он предпочитал отмалчиваться. Только на исходе дней нашел в себе силы рассказать близким о том, что долгие годы таил в памяти. Мог ли он предвидеть, что определенные политические силы в постсоветской Белоруссии будут использовать имя, выхватив из драматических событий лета пятьдесят третьего года идею «белорусизации», и вновь попытаются развести русских и белорусов.

* * *

Вечером 8 июня 1953 года в кабинете заведующего Четвертым Европейским отделом МИД СССР Зимянина раздался звонок. Звонили по городскому телефону. «Михаил Васильевич? Добрый вечер. Вас беспокоят из секретариата товарища Берия. Лаврентий Павлович просил Вас перезвонить ему по кремлевской связи».

Через минуту Зимянин разговаривал с Берия. На вопрос, как он попал в МИД, Зимянин ответил, что в апреле после встречи с В. М. Молотовым состоялось соответствующее решение Президиума ЦК КПСС, и он перешел на работу в центральный аппарат МИДа. «Знаете ли Вы белорусский язык?» — неожиданно спросил Берия. «Знаю», — последовал ответ. «Вызову Вас на беседу», — буркнул Берия и повесил трубку.

Зимянин сразу же перезвонил Молотову и доложил ему о разговоре с Берия. Но вопреки ожиданиям Молотов принял его только утром следующего дня. Поздоровавшись, министр вопросительно посмотрел на Зимянина.

— Мне думается, Вячеслав Михайлович, речь может пойти о моем переводе на работу в систему Министерства внутренних дел. — Зимянин старался скрыть волнение. — Очень бы просил Вас принять во внимание мое желание продолжать службу в Вашем министерстве.

Молотов сухо ответил, что, по его мнению, предложение Лаврентия Павловича может быть иным. И ему, Молотову, будет трудно возражать против этого предложения.

Спустя несколько дней Зимянину снова позвонил помощник Берия и опять попросил воспользоваться для разговора кремлевской связью. На этот раз Берия предложил Зимянину явиться к нему в понедельник вечером 15 июня.

Поздоровавшись, Берия задал прежний вопрос: как Зимянин попал в МИД? Когда тот начал отвечать, прервал его: «Решение, принятое в отношении Вас, неправильно, более того, ошибочно!»

— Мое дело солдатское, — слегка опешив, сказал Зимянин. — Не могу рассуждать, правильно или неправильно решение ЦК партии. Я обязан выполнять его.

— Нет, — досадливо поморщился Берия, — Ваше дело не совсем солдатское. И даже вовсе не солдатское. Что, все белорусы такие на удивление спокойные? На руководящую работу их не выдвигают — они молчат, хлеба дают мало — они молчат. Да узбеки или казахи на их месте заорали бы на весь мир. Что же за народ белорусы?

— Белорусы народ хороший, товарищ Берия, — ответил Зимянин, озадаченный таким ходом беседы.

— Ладно. А как Вы оцениваете товарища Патоличева?

— Мне недолго довелось с ним работать, — осторожно начал Зимянин, — как известно, он крепкий хозяйственник...

Берия резко взмахнул рукой, прервав собеседника.

— Напрасно разводите «объективщину», товарищ Зимянин! Патоличев никуда не годный руководитель, да и человек пустой!

Грузно поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и остановился за спиной Зимянина.

— Я подготовил докладную записку в ЦК, — с подчеркнутой значимостью произнес Берия, — в которой оцениваю положение дел в Белоруссии с проведением национальной политики и с колхозным строительством как крайне неудовлетворительное. Такое положение надо срочно поправлять. И предстоит этим заняться Вам, товарищ Зимянин!

Берия вернулся за стол, снял пенсне, подышал на стекла, медленно их протер фланелевой салфеткой. Прищурившись, посмотрел на Зимянина.

— Я бы посоветовал Вам не искать себе «шефов», чем грешили Ваши предшественники.

— «Шеф» в партии один — Центральный Комитет, товарищ Берия, — скорее отрапортовал, чем ответил Зимянин.

— И правительство, — жестко дополнил Берия.

— Разумеется, — подтвердил Зимянин. — И ЦК партии, и правительство неотделимы друг от друга.

— Хорошо, — удовлетворенно заключил Берия и вдруг повторил с угрозой: — Не советую искать «шефов»!

— Учту Ваш совет, товарищ Берия, — спокойно отозвался Зимянин и, думая, что беседа закончена, поднялся из-за стола.

— Не торопитесь, товарищ Зимянин, — остановил его Берия, но садиться уже не предложил. — Вы, должно быть, не в курсе того, что нами назначен новый министр внутренних дел Белоруссии? Это товарищ Дечко. Ряд белорусских товарищей займут посты начальников областных управлений республики. Вам следовало бы познакомиться с ними. Вообще надо всячески поддерживать чекистов, товарищ Зимянин.

— Чекисты не могут пожаловаться на отсутствие поддержки со стороны ЦК Компартии Белоруссии.

— Повторяю: надо поддерживать чекистов! У них работа острая. Знайте, что в свою очередь их долг поддерживать Вас!

Берия встал и, уже протягивая на прощание руку, осведомился, читал ли Зимянин его записку о Белоруссии, и тут же распорядился принести ее и на первой странице размашисто начертал: «Ознакомить т. Зимянина».

В дверях Зимянин в третий раз услышал предостережение не искать себе «шефов».

Записка Берия в Президиум ЦК КПСС, датированная 8 июня 1953 г., о неудовлетворительном использовании национальных кадров в республиканских, областных и районных партийных и советских организациях Белоруссии завершалась предложением выдвинуть на пост первого секретаря ЦК республики

«т. Зимянина М. В. — белоруса по национальности, бывшего второго секретаря ЦК КП Белоруссии, недавно переведенного на работу в Министерство иностранных дел СССР в качестве начальника отдела».

Знал ли Зимянин о готовящемся постановлении Президиума ЦК КПСС по Белоруссии, в основу которого легла записка Берия? Мог ли он, 38-летний провинциал, не слишком искушенный в аппаратных играх высшего руководства, предвидеть приближающуюся развязку борьбы за власть внутри правящей после смерти Сталина четверки — Маленков, Молотов, Хрущев и Берия?

Беседа с секретарем ЦК Маленковым, который, как и в сталинские времена, занимался подбором и расстановкой кадров, была предельно краткой. Смысл ее сводился к традиционному партийному «Надо!»: «Белорус? Язык знаете? Вот и хорошо. Мы вам доверяем. Собирайтесь. Поедете на родину».

Вернувшись далеко за полночь в 627-й номер гостиницы «Москва», где он провел после приезда из Минска несколько тягостных своей неопределенностью недель, Зимянин долго не мог заснуть. Вспомнилась первая встреча с Маленковым в апреле 1947 года в Москве перед назначением на пост секретаря ЦК Компартии Белоруссии.

Тогда, увидев Зимянина, Маленков широко улыбнулся и воскликнул:

— Какой же Вы маленький!

К удивлению всесильного сталинского кадровика, Зимянин шутки не принял:

— Вы ошиблись адресом. Поищите кого-нибудь ростом повыше! — Круто повернулся и направился к двери.

— Постойте, не горячитесь. Мы же оба понимаем, что не это главное, — миролюбиво сказал Маленков. Зимянин ему явно понравился.

Остался доволен Георгий Максимилианович и результатами собеседования. Ответы Зимянина были по-военному краткими и точными. По достоинству оценив его искренность и прямоту, Маленков в то же время отметил присущие Зимянину горячность и резкость, о чем и доложил И. В. Сталину.

Тогда, в апреле 1947 года, решением Политбюро ЦК ВКП(б) М. В. Зимянин был утвержден секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Порадовался высокому назначению Зимянина его старший товарищ Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, секретарь ЦК ВКП(б), по праву считавший Михася, как называли Зимянина с партизанских времен белорусы, своим воспитанником.

В 1938 году Пономаренко возглавил партийную организацию Белоруссии, пережившую полосу жестких массовых чисток. На одном из совещаний в Могилеве его внимание привлек бойкий черноволосый паренек, оказавшийся вожаком могилевских комсомольцев. Они разговорились, и Пономаренко удивила начитанность комсомольского секретаря, к тому же еще и студента исторического факультета Могилевского педагогического института. В 1940 году Пономаренко выдвинул Михаила Зимянина на пост первого секретаря республиканского комсомола.

Начало войны застало Зимянина в Белостоке. С частями 3-й, 4-й и 10-й армий Западного и Центрального фронтов, прикрывавших Белоруссию, прошел тяжкий путь, с боями отступая к Барановичам и Минску. Уже в конце июня 1941 года он в числе других белорусских руководителей приступил к созданию в тылу немцев подполья, формированию из местного населения партизанских отрядов, которые усиливались выходящими из окружения солдатами и командирами.

* * *

Обратимся к воспоминаниям Мазурова, видного государственного и партийного деятеля, на протяжении 13 лет входившего в состав руководящего органа КПСС — Политбюро. Зимянин считал его одним из самых близких друзей. На большинстве фотографий партизанской поры они рядом.

«Осенью 1936 года после двухлетней отсрочки меня призвали в Красную Армию, — вспоминал Мазуров. — В первые же дни пребывания в полку я познакомился с Михаилом Зимяниным. Живой и компанейский, добрый и ровный в общении с товарищами, хотя и острый на язык, он выделялся своей эрудицией — учился в педагогическом институте — и быстро завоевал авторитет у курсантов и командования... После окончания полковой школы Михаила Зимянина назначили редактором газеты нашей части. Выпуском ее он и занимался до конца службы».

Мазуров завершил свои мемуары описанием событий лета 1944 года, когда освобождением Минска от немецких оккупантов фактически завершилась партизанская война в Белоруссии. На страницах его книги часто встречается имя Зимянина. Вспоминает Кирилл Трофимович и о том, как в 1942 году друг его Михаил помог ему разыскать мать, брата и сестру, эвакуированных в Барнаул.

И еще об одном эпизоде военной поры, который упоминается уже в дневниковых записях Зимянина. В июле 1941 года, когда Михаил Васильевич пробирался из Витебска в Гомель, он вспомнил, что в районе городка Кричева проживала семья его друга — белорусского поэта Аркадия Кулешова. Зимянин разыскал Кулешовых — жену, старика-отца, помог им за полчаса собраться и вывез их в Брянск, откуда они были переправлены за Волгу.

В августе сорок первого на окраине Гомеля Михаил Васильевич в последний раз увиделся с родным братом Володей. Брат чудом вырвался из окружения после боев в Западной Белоруссии, где он в составе электротехнической роты возводил укрепления на новой границе. Крепко обнялись Зимянины на прощанье. Владимира Зимянина, рядового пулеметчика, направили под Киев, где он в кровопролитных боях сложил голову и был похоронен в безымянной солдатской могиле.

Известный литературовед Вадим Кожинов, увлекавшийся историей, беседовал как-то с обозревателем радиостанции «Голос России». Назвав отечественную партизанскую войну «грандиозной», Кожинов заметил, что иногда эту войну не совсем правильно представляют. «В ней видят такую, знаете, войну, которая возникла как бы сама собой. Но так не бывает, это трудно. Конечно, она управлялась из Москвы». В подтверждение сказанного Кожинов сослался на одного из руководителей «тогдашнего партизанского движения, известного человека по фамилии Зимянин», который ему, Кожинову, «очень много рассказывал».

«Михаил Васильевич (кажется, так его звали?), скажите, сколько раз вы были за линией фронта?» Зимянин отвечал: «В 1941 году — один раз, в 1942 году — два, а вот в 1943 году — уже восемь, наверное». Кожинов поверил Зимянину, поскольку тот мог заявить, что «вообще не вылезал из немецкого тыла», и проверить это было бы невозможно. А Зимянин честно сказал и скромно: «Не так много».

В начале октября 1941 года Пономаренко с Зимяниным были направлены на Брянский фронт, где в течение двух недель они пытались обеспечить организованный отход наших войск, едва не истребленных танками Гудериана.

После Брянского фронта член Военного совета 3-й Ударной армии Пономаренко командировал старшего батальонного комиссара Михаила Зимянина в район Ржева и Великих Лук, где шли долгие кровопролитные сражения, «для выполнения специального задания по сбору данных о противнике и по вопросам связи с партизанскими отрядами». Здесь, в болотах и лесах, создавались так называемые окна, через которые налаживалась связь с белорусскими партизанами, доставлялись боеприпасы, другое военное снаряжение, продукты питания, медикаменты.

Рассказывая о совместной работе в Минско-Полесской партизанской зоне, Мазуров утверждал, что работа Зимянина «принесла большую пользу» не только ему, но также партийным и партизанским руководителям.

Только за пять первых месяцев 1943 года руководитель белорусских комсомольцев, ближайший сотрудник начальника Центрального штаба партизанско-

го движения Пономаренко Зимянин побывал в отрядах Минской, Полесской, Гомельской, Пинской областей.

«Человек подвижный, необычайно энергичный, целеустремленный, он всех заражал своим энтузиазмом, — рассказывал генерал КГБ СССР, а в годы Великой Отечественной войны герой-партизан, Эдуард Нордман. — Его обаяние, широкий политический кругозор, талант организатора, смелость и выдержка в сложной обстановке снискали ему уважение среди партизан».

Как известно, Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования был создан только 30 мая 1942 года. По решению И. В. Сталина штаб возглавил Пономаренко. Известно также, что первый секретарь ЦК коммунистов Украины Хрущев предлагал на этот пост своего ставленника — руководителя украинского НКВД некоего Сергиенко.

Годом позже Сталин намеревался переместить Пономаренко на Украину вместо Хрущева, которому удалось сохранить свой пост только благодаря энергичному заступничеству Берия, Маленкова и Булганина, с мнением которых Сталин тогда считался. «Заступники» же не без оснований рассматривали Пономаренко как политического противника, более опасного для них, чем простоватый, как им тогда представлялось, Никита Сергеевич.

Соперничество между Пономаренко и Хрущевым началось в 1939 году, когда после завершения военной кампании в Польше белорусский руководитель сумел отстоять перед Сталиным свой вариант западной части белорусско-украинской границы. Хрущева же вождь высмеял за представленную в качестве довода, по выражению Сталина, «петлюровскую карту», согласно которой ряд районов Белоруссии, в том числе города Брест, Пружаны, Пинск, Лунинец, большая часть Беловежской пущи отходили к Украине. Вместе с тем белорусы, понимая желание соседей получить лесные территории, которых так недоставало Украине, поделились с украинцами Камень-Каширским районом.

Жесткие споры Хрущева с Пономаренко не затихали и в военные годы. Как правило, Сталин принимал сторону Пономаренко. Так, на одном из совещаний в Кремле Хрущев выступил с инициативой создания крупных семитысячных партизанских бригад. Пономаренко же утверждал, что отряды должны быть небольшими по численности и поэтому более мобильными и маневренными. Многотысячные, базирующиеся во вражеском тылу соединения должны были снабжаться за счет и без того разоренного оккупантами населения. Рано или поздно ситуация, когда обирали бы и «свои» — партизаны, и «чужие» — оккупанты, вызвала бы взрыв людского негодования, направленного не только против немцев, но и против партизан. Понимая это, Сталин предложение Хрущева отверг.

Однажды, выслушав доводы разгоряченных очередным спором Никиты Сергеевича и Пантелеймона Кондратьевича, вождь с усмешкой заключил: «Вот если бы к энергии Хрущева да голову Пономаренко!» Легко представить, какие чувства при этом испытывал болезненно самолюбивый Хрущев...

Конечно, сюжеты взаимоотношений высокопоставленных деятелей принадлежали к особо хранимым тайнам «кремлевского двора». Сталин жестко пресекал любые обсуждения высшей кадровой политики за стенами своего кабинета. Видимо, поэтому у многих партийных чиновников, работавших в сталинские годы, на всю жизнь осталась маниакальная боязнь оказаться услышанными, а точнее, подслушанными в самое неподходящее время.

По каким-то одному ему ведомым причинам Сталин потворствовал усилению неприязни Хрущева к Пономаренко. Иначе чем объяснить, к примеру, вызов Пономаренко в сталинский кабинет в тот момент, когда перед вождем на коленях стоял Никита Сергеевич. Об этом эпизоде, относящемся к 1943 году, Пантелеймон Кондратьевич поведал спустя много лет своему помощнику В. М. Николаеву. По версии Пономаренко, Хрущев умолял Сталина сохранить жизнь сыну Леониду, военному летчику, перешедшему на сторону врага, а затем захваченному партизанами, но получил отказ. Вспомним, что вождь не пощадил и собственного сына

Якова, который одно время находился в фашистском концлагере на территории Белоруссии. Разрабатывался даже план освобождения Якова силами тринадцатой партизанской бригады, но Сталин об этом и слышать не хотел.

По свидетельству Николаева, Пономаренко и сам был не всегда безупречно вежлив по отношению к Хрущеву. «В годы войны, как известно, Пантелеймон Кондратьевич возглавлял Центральный штаб партизанского движения, — вспоминает Николаев, — а Хрущев был членом штаба. Как-то раз он заставил ждать Никиту Сергеевича в приемной своего кабинета почти два часа... Таких вещей злопамятный Никита никому не прощал».

На XIX съезде партии в октябре 1952 года Пономаренко избрали членом Президиума ЦК КПСС. Оставаясь одним из ведущих секретарей Центрального Комитета, ответственным за вопросы государственного планирования, финансов, торговли и транспорта, он также занимал пост министра заготовок СССР.

Поднаторевшая в кремлевских интригах «старая гвардия», а ее позиции после съезда значительно ослабли (Сталин отдалил Молотова, Микояна и Ворошилова), настороженно следила за усилением позиций сталинских выдвиженцев — Н. А. Михайлова, В. А. Малышева, М. Г. Первухина, М. З. Сабурова и особенно Пономаренко, который продолжал пользоваться особым расположением вождя.

В начале 1953 года Сталин распорядился ознакомить членов Президиума ЦК КПСС с проектом документа о назначении Пономаренко Председателем Совета Министров СССР. Выдвинув Пономаренко на ключевой государственный пост, который сам Сталин занимал с мая 1941 года, вождь окончательно определил своего преемника.

Внезапная болезнь Сталина и его кончина 5 марта 1953 года вызвали вспышку яростной борьбы за власть. Согласно официальному сообщению вождь умер в 21 час 50 минут. А в 20 часов, еще при живом Сталине, его «верные соратники» Хрущев, Маленков и Берия уже созвали совместное заседание Пленума ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. «Страна не может терпеть ни одного часа перебоя в руководстве», — заявил Маленков, которого по предложению Берии срочно назначили Председателем Совета Министров СССР.

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС, переведен из членов Президиума ЦК в кандидаты и назначен министром культуры СССР.

Неприязненное отношение к Пономаренко мстительный Хрущев вскоре распространит на сослуживцев и друзей Пантелеймона Кондратьевича. В хрущевский «черный список» будет занесен и Зимянин.

* * *

25 июня 1953 года в Минске Зимянин выступал перед участниками Пленума ЦК Компартии Белоруссии. Впервые за всю историю своих пленумов и съездов белорусские коммунисты с удивлением слушали директивный доклад на родном языке. Еще больше удивило их содержание доклада.

Как следовало из выступления Зимянина, Центральный Комитет КПСС выражал обеспокоенность по поводу того, что белорусское руководство не поняло поставленных перед ним задач по выдвижению национальных кадров на работу в партийные и советские учреждения. Приведенные докладчиком примеры показывали, что в аппарате партийных органов кадры коренной национальности составляли всего 62,2%. Так, в системе республиканского Министерства внутренних дел из 173 начальников районных отделов только 33 являлись белорусами.

Зимянин назвал ненормальным явлением ведение делопроизводства в партийных и советских органах республики только на русском языке, крайне малые тиражи книг, журналов и газет на белорусском языке, который фактически пре-

вратился в предметную дисциплину в большинстве школ и высших учебных заведений.

«Говорить с народом нужно на его родном языке!» — провозгласил Зимянин, вызвав дружное одобрение земляков. Правда, докладчик тотчас разъяснил, что его призыв не сводится к требованию говорить в Белоруссии только по-белорусски. Ведь среди населения республики тысячи русских, украинцев, евреев, представители других национальностей, которые имеют полное право говорить на своих родных языках. Точно так же более активное продвижение национальных кадров на руководящие посты не означает огульной замены работников небелорусской национальности.

— За годы работы в Белоруссии, — отметил Зимянин, — многие русские товарищи и работники других национальностей изучили белорусский язык, культуру, обычаи белорусского народа. Те же, кто не придавал до сих пор необходимого значения изучению белорусского языка, должны выправить это. Изучение белорусского языка не явится особенной трудностью, ибо он чрезвычайно близок языку старшего брата — великого русского народа.

А вот следующая фраза породила впоследствии немало кривотолков и послужила поводом для обвинения Зимянина в национализме. Этим не преминут позднее воспользоваться сторонники отчуждения Белоруссии от России, причислив Зимянина к своим единомышленникам.

— Ну а те, — сказал Михаил Васильевич, — кто посчитает более целесообразным перейти в условия, где для них будут возможности работать на родном языке, — заявил Зимянин, — пусть обращаются в партийные органы, где они получат возможность перевестись на работу в соответствующие республики и области.

Зимянин завершил выступление сталинскими словами: «Партия посчитала необходимым помочь возрожденным нациям нашей страны стать на ноги во весь рост, оживить и развить свою национальную культуру, развернуть школы, театры и другие культурные учреждения на родном языке, национализовать, то есть сделать национальными по составу, партийный, профсоюзный, кооперативный, государственный, хозяйственный аппараты, выращивать свои национальные партийные и советские кадры и обуздать все те элементы, — правда, немногочисленные, которые пытаются тормозить подобную политику партии».

В итоге двухдневных прений все положения основного доклада получили единодушную поддержку, а кадровая рекомендация ЦК КПСС, означавшая замену русского Патоличева белорусом Зимяниным на посту Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, столь же дружно одобрена.

Вечером 26 июня Зимянину позвонил Маленков. Поинтересовавшись, как проходит пленум, он вдруг спросил: «А может быть, оставить Патоличева в Белоруссии? Не трогать его? Что Вы думаете?»

— Раз есть у вас такое предложение, перечить не буду, — просто ответил Зимянин и неожиданно для себя добавил: — Сами знаете, я сюда не рвался.

— Ну, хорошо, дадим такую рекомендацию ЦК участникам пленума, а они пусть проголосуют и решат. Поручаем сказать об этом Вам.

О дальнейших событиях Михаил Васильевич рассказывал следующее:

«Возвращаюсь в зал заседаний, выхожу на трибуну: «Товарищи! Звонили из Москвы...»

Мне и невдомек было знать, что в этот день — 26 июня — арестовали Берию. Об этом Хрущев уже сообщил Патоличеву, а тот, естественно, никому ни слова. Не зная всей подоплеки, продолжаю: «В Москве есть мнение: с учетом хода Пленума оставить товарища Патоличева на посту первого секретаря. Давайте решим».

До этого обсуждение шло достаточно оживленно: звучали выступления и с критикой, и с добрыми словами. Теперь же итоги дебатов были фактически предрешены. Проголосовали, естественно, за то, чтобы «просить Президиум ЦК КПСС пересмотреть постановление ЦК КПСС от 12 июня с. г. в отношении тов. Патоличева Николая Семеновича и оставить его Первым секретарем ЦК КПБ».

Объявили перерыв. Я позвонил Маленкову. «Хорошо, — сказал тот. — Позднее мы Вас информируем о нашем решении».

Доложил участникам о том, что Кремль дал «добро» и передал председательство на пленуме Патоличеву, а тот сразу на трибуну выступать: «Товарищи, ЦК поддерживает наше решение! У ЦК также есть мнение о назначении товарища Зимянина Председателем Совета Министров БССР, а товарища Клещева, занимавшего этот пост, отправить на партийную учебу. Нет возражений? Нет!»

Поздно вечером захожу к Патоличеву. Поздравил его, а потом спрашиваю: «Будьте добры, скажите, говорили ли Вы с Хрущевым? Что означают подобные повороты?»

— А разве ты не знаешь? Берия арестован. В этом весь вопрос!

— Николай Семенович, будем считать наш разговор законченным. Желаю вам успехов, а сам, с вашего разрешения, завтра уезжаю в Москву. Надеюсь, что здесь я с вами больше не встречусь.

Повернулся и ушел.

В секретариате Н. С. Хрущева попросил меня принять. Через три дня он меня принял: «Это еще что такое? Почему тут появился?»

— Так уж получилось. Не складывается...

— Вы очень легкомысленно относитесь к решениям ЦК: то туда, то сюда!

— Никита Сергеевич, а вы меня спрашивали, когда направляли туда, а потом отменяли свое решение? Поинтересовались, согласен ли я работать Предсовмина Белоруссии? Прошу доложить Центральному Комитету о моей просьбе: разрешить мне вернуться в Москву.

Через два дня вызвали на заседание Президиума ЦК — Маленков, Хрущев, Молотов, Ворошилов...

— Товарищ Зимянин, мы считаем, что Вы честно выполнили решение ЦК по Белоруссии, — сказал В. М. Молотов. — К Вам претензий нет. И все-таки, почему Вы хотите оттуда уехать?

Я постарался не вдаваться в подробности.

— Видите ли, товарищ Молотов, обстановка складывается так, что мы с Патоличевым будем напоминать двух медведей в одной берлоге. Прошу избавить меня от этого.

— А Вы, собственно, чего хотите? — прозвучал после короткой паузы вопрос.

— Здесь присутствует Вячеслав Михайлович... Если не будет возражений, хотел бы работать в МИДе.

Неожиданно меня поддержал Н. С. Хрущев.

— А действительно... Вячеслав Михайлович, как Вы смотрите на это предложение?

— Пожалуйста, хоть завтра, — ответил Молотов. — Он для нашей компании подходит. Пусть возвращается».

* * *

Молотов поддержал Зимянина, упомянув его как «хорошего товарища» на июльском Пленуме ЦК КПСС, участники которого в течение шести дней осуждали «преступные антипартийные и антигосударственные действия Берии и его приспешников».

А ведь к таким приспешникам мог быть причислен и Зимянин. Хрущев в своих «Воспоминаниях», изданных впервые на Западе в начале 1970-х годов, уверял, что линия на выдвижение национальных кадров в руководстве союзных республик «всегда была налицо в партии. Но он (Берия. — *М. Б.*) поставил этот вопрос под резким углом антирусской направленности в выращивании, выдви-

жении и подборе кадров. Он хотел сплотить националов и объединить их против русских. Всегда все враги Коммунистической партии рассчитывали на межнациональную борьбу, и Берия тоже начал с этого...».

Смертельно опасное испытание выпало тогда на долю Зимянина. Было ему в пятьдесят третьем году всего тридцать девять лет. Угодил он, сам того не желая, в жернова большой политики, коварной и безжалостной. Но устоял, не поступился ни честью, ни достоинством и, как покажут все последующие прожитые годы, сохранил свое доброе имя.

Правда, навсегда останутся в его душе горький осадок, обида на старых товарищей, которые тогда предпочли отойти в сторону. Слепое подчинение партийной дисциплине? Боязнь навредить себе? Никогда он не позволял себе высказывать в их адрес слов осуждения. Уже будучи смертельно больным, он, вопреки запретам врачей и близких, нашел в себе силы, чтобы студеным декабрьским днем проводить в последний путь своего земляка и боевого друга, поддержки которого ему так не хватало в далеком пятьдесят третьем...

Лишь в начале 1990-х годов Михаил Васильевич в беседе с белорусским журналистом согласился поговорить о событиях почти полувековой давности.

То, что произошло с ним в пятьдесят третьем, он во многом объяснял ненавистью Хрущева к Пономаренко и его окружению.

«Направляя меня в Минск, за две недели до ареста Берии, Хрущев уже все решил. Об этом мне позднее говорил один из его помощников.

Перед поездкой Никита Сергеевич давал мне такие наставления: «Деликатно проконсультируйтесь у осведомленных людей, как там в Минске, какие ошибки допущены руководством, как их лучше исправить. Используйте эти две недели для того, чтобы подготовить Пленум надлежащим бразом. Вам же его вести». Думаю, что, нацеливая меня на проведение «консультаций» с белорусами, Хрущев хотел потянуть время, чтобы я до расправы с Берией не успел сменить Патоличева. А с Патоличевым Никиту Сергеевича Хрущева связывали теплые воспоминания о совместной работе на Украине и борьбе с Л. М. Кагановичем. Хрущеву, конечно же, хотелось меня проверить, ведь я был воспитанником ненавистного ему Пономаренко. А то и подловить меня на возможных интригах в борьбе за власть.

Предстояла задуманная еще при Сталине замена русских руководителей партийных организаций Украины и Белоруссии на представителей коренных национальностей. Кстати, на Украине новым руководителем стал человек Хрущева — Алексей Илларионович Кириченко.

Я же ни о чем ином не думал, кроме одного — успешно выполнить директивы Центрального Комитета. Разумеется, позволь я себе хотя бы на мгновение проявить пренебрежительное отношение к Патоличеву или выразить стремление удержать власть, все могло завершиться по-другому.

Да, в финальной истории с Берией Хрущев вел себя мужественно, он рисковал жизнью, и я ценю его за это. Но со мной он вел бесчестную игру. Спасла меня тогда, да и спасает теперь, наука моего учителя Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко: «Живи по совести!»

Зимянин к Молотову сохранил благодарно-уважительное отношение. Летом 1956 года, когда Молотова снимали с должности министра иностранных дел, Зимянина, как заведующего отделом и члена Коллегии МИДа, вызвали на заседание московского партийного актива, с расчетом на то, что он выступит с осуждением политических ошибок своего бывшего руководителя. Михаил Васильевич ограничился критикой позиции Молотова по югославскому вопросу. Молотов считал Югославию буржуазной страной и соглашался на восстановление прерванных Сталиным советско-югославских отношений только по государственной линии. Зимянин подчеркнул, что он неоднократно выражал несогласие с такой позицией министра, ведущей к ослаблению влияния Советского Союза на Балканах.

Выступление Зимянина вызвало раздражение у руководителя московской партийной организации Екатерины Алексеевны Фурцевой: «Могли бы и больше сказать!»

Михаил Васильевич промолчал, хотя он был далек от того, чтобы идеализировать Молотова, зная много примеров его грубого, черствого и даже жестокого отношения к людям. Этим Вячеслав Михайлович разительно отличался от Пономаренко, который в послевоенные годы наказывал Зимянину, тогда секретарю ЦК Компартии Белоруссии по кадрам, занимавшемуся проверкой личного состава партийных и государственных органов республики: «Смотри, Миша, не губи людей!»

При встречах с Патоличевым Зимянин держался предельно вежливо, но всегда соблюдал дистанцию и всячески избегал какого бы то ни было неофициального общения. Не скрывал своей антипатии к Зимянину и Патоличев. Хорошо знавший обоих журналист из «Правды» недоумевал: «Два умнейших человека так и остались непримиримыми, не смогли перешагнуть через личную неприязнь, глубоко засевшую в их сознании».

Михаил Васильевич считал Патоличева «очень опытным партийным работником», но вместе с тем отмечал его «откровенную самовлюбленность, стремление к авторитарному стилю руководства». «Особенно настораживала его хитрость. Он был явно не из тех, кто говорил прямо. В 1950—1953 годах я работал с ним с определенной оглядкой, хотя в целом наши отношения были в пределах нормы».

Патоличев руководил партийной организацией Белоруссии до 1956 года, пока Хрущев не распорядился перевести его в МИД СССР на должность заместителя министра. Еще через год он был назначен министром внешней торговли СССР.

Правительство Белоруссии возглавил после отказа Зимянина Мазуров. В 1956 году он сменил Патоличева на посту первого секретаря ЦК КПБ.

А в жизни Михаила Васильевича начался «дипломатический период». Он вернулся в Четвертый Европейский отдел, руководство которым после его отъезда в Минск было поручено Андропову.

Они знали друг друга с довоенной поры. Оба работали в комсомоле, возглавляли молодежные организации Белоруссии и Карело-Финской ССР. В войну встречались в Москве в Центральном штабе партизанского движения у Пономаренко. До 1953 года состояли в высшем партийном руководстве своих республик. Почти одновременно «погорельцами», как шутил Михаил Васильевич, пришли к Молотову в МИД. Зимянину доводилось слышать о том, что Андропову, едва ли не единственному из руководителей Карелии, чудом удалось избежать ареста в связи с «ленинградским делом». Оценивая деликатность Юрия Владимировича, не докучавшего расспросами о минской поездке, Зимянин также избегал вопросов о карельском периоде жизни Андропова. Хотя у него вызывало недоумение отсутствие боевых наград у человека с партизанским прошлым, который к тому же как-то обмолвился, что занимался подготовкой и заброской диверсионных групп за линию фронта.

Спустя многие годы секретаря ЦК КПСС Зимянина неприятно удивит жесткость Генерального секретаря партии Андропова при обсуждении на одном из совещаний в Центральном Комитете вопроса о рукописи книги Пономаренко «Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941—1944 гг.». Резко возражая против ее опубликования, Андропов ссылался на мнение специалистов по диверсионному делу. К их числу он ненавязчиво причислил и себя. Мол, в книге описаны методы и приемы партизанской борьбы, которыми могут воспользоваться современные террористы. Зимянину же, внимательно прочитавшему рукопись, виделась более весомая причина возражений Генерального: на ее страницах ни разу не упоминалось имя Андропова.

С большим трудом Михаилу Васильевичу удалось добиться издания труда Пономаренко ограниченным тиражом с грифом «Для служебного пользования».

Он успел вручить книгу автору, и это скрасило последние дни жизни Пантелеймона Кондратьевича.

А тогда, в сентябре 1953 года, передавая дела Зимянину, Андропов не скрывал облегчения: «Миша, это не отдел, а сумасшедший дом. Ни сна, ни покоя!»

Работали в МИДе помногу и подолгу, нередко заканчивая далеко за полночь. Оперативный отдел, к руководству которым приступил Зимянин, занимался проблемами отношений Советского Союза с восемью социалистическими европейскими странами и Грецией.

Изменения во внутриполитической жизни Советской страны после кончины Сталина неизбежно влекли за собой определенный пересмотр внешнеполитического курса. Мидовцы упорно искали развязки конфликтных ситуаций, порожденных «холодной войной», в отношениях с капиталистическими странами, участвовали в разработке новой внешнеполитической стратегии, которая в середине 1950-х годов получит свое выражение в «принципах мирного сосуществования». Не менее напряженно и кропотливо велась работа по налаживанию политического, экономического, военного сотрудничества с теми европейскими и азиатскими государствами, в которых победили народно-демократические революции. С укреплением военного механизма Варшавского Договора и совершенствованием Совета Экономической Взаимопомощи формировалось новое геополитическое образование — мировая социалистическая система.

Зимянин знал, что Андропова намечают направить советником в Посольство СССР в Венгрии с прицелом на более высокую должность. Жаль было расставаться. Каждодневная напряженная работа в отделе сблизила их. Они понимали друг друга с полуслова. Умный, воспитанный, внешне всегда доброжелательный — таким запомнился Михаилу Васильевичу Андропов.

Андропов уехал в Венгрию советником и уже через год возглавил Советское посольство.

А Хрущев продолжал сводить счеты с Пономаренко. На очередном партийном съезде Пантелеймона Кондратьевича вывели из состава кандидатов в члены Президиума ЦК и отправили послом сначала в Польшу, а затем в Индию. Зимянина в 1956 году «разжаловали» из членов ЦК в члены Ревизионной комиссии и услали подальше от Москвы — послом в Демократическую Республику Вьетнам, только что с победой вышедшую из войны с французскими колонизаторами.

Вскоре после приезда в Ханой советский посол на основе информации, собранной дипломатами посольства и полученной по каналам военной и политической разведок, подготовил и направил в Москву шифротелеграмму. В ней сообщалось о том, что в результате деятельности направленных из Китая советников и находившихся под их влиянием некоторых членов вьетнамского руководства страна находится на грани гражданской войны. Кампания по «упорядочению» состава правящей Партии трудящихся Вьетнама и ускоренно проводимая по китайским рецептам аграрная реформа пришли к массовым репрессиям. В тюрьмах и лагерях оказались десятки тысяч «направленных на перевоспитание» вьетнамцев, среди которых было немало коммунистов.

Прочитав подготовленную Зимяниным телеграмму, Хрущев пришел в ярость: «Что за ерунду пишет этот мальчишка?!» Находившемуся с официальным визитом в Индии Микояну было дано указание посетить Ханой и разобраться в ситуации на месте.

Микоян прилетел во Вьетнам. Как вспоминал Зимянин, «был спор, даже ругань», но послу удалось доказать свою правоту в оценке ситуации. После переговоров с Микояном Председатель Компартии ДРВ Хо Ши Мин, по выражению Зимянина, «заблокированный реформаторами», настоял на прибытии в Ханой одного из китайских лидеров, члена Политбюро ЦК Компартии Китая Чень Юня, ведавшего экономическими вопросами. В результате двухдневных дискуссий с участием советских представителей была достигнута договоренность об отзыве китайских инструкторов. На срочно созванном Пленуме был избран новый Гене-

ральный секретарь Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуан, до этого работавший в подполье в Южном Вьетнаме. Аграрную реформу приостановили до «ликвидации перегибов». Были прекращены репрессии, затронувшие каждого второго коммуниста. Освобождены из заключения безвинно осужденные.

Хо Ши Мин высоко оценил поддержку советской стороны в сложной для него ситуации. К послу он относился с особым расположением, часто приглашал в свою резиденцию, советовался, откровенно говорил о наболевшем, расспрашивал о белорусских партизанах, вспоминал о своей работе в Коминтерне. Зимянин испытывал к Хо Ши Мину огромное уважение, почитая его как одного из самых выдающихся политических деятелей современности. Чем-то они даже были похожи внешне: оба малорослые, худощавые, подтянутые, приветливо улыбающиеся.

Через многие годы вьетнамские друзья отметят с Михаилом Васильевичем его 70-летие, наградив Золотым орденом Хо Ши Мина за особые заслуги в деле укрепления советско-вьетнамской дружбы.

Хрущев был чрезвычайно обрадован тем, что советским дипломатам удалось помочь вьетнамцам в преодолении тяжелого политического кризиса. Авторитет и влияние СССР возросли не только во Вьетнаме, но и во всем регионе Юго-Восточной Азии. Напротив, позиции китайцев в ДРВ заметно ослабли.

После вьетнамского эпизода Хрущев изменил отношение к Зимянину. По возвращении в Москву в 1958 году Михаил Васильевич был назначен заведующим Дальневосточным отделом МИДа и вновь введен в Коллегию министерства.

Зимянин сопровождал Хрущева в его поездке в Китай в 1959 году. Переговоры с Мао Цзэдуном и другими пекинскими лидерами Никита Сергеевич оценивал как «дружеские, но безрезультатные». Работой Зимянина он остался доволен, о чем и сказал своим помощникам.

Руководитель Секретариата Хрущева Григорий Шуйский, помощники Хрущева Владимир Лебедев, Олег Трояновский относились к Михаилу Васильевичу с симпатией, ценили его за профессиональные, да и за человеческие качества — надежность и порядочность. Их дружеское участие помогло Зимянину выстоять в годы «опалы» и в определенной степени переломить настороженность к нему со стороны Хрущева.

Место посла в Чехословакии считалось в МИДе одним из наиболее престижных благодаря особому характеру советско-чехословацких связей, как по государственной, так и по партийной линии. К началу 1960-х годов руководители Советского Союза рассматривали Чехословакию как наиболее верного и надежного союзника. «С Советским Союзом на вечные времена!» — эти слова Клемента Готвальда, первого коммунистического президента страны, стали главным лозунгом, надолго определившим ее политический курс.

По планам Хрущева, на пост посла в Праге, который прежде занимали такие профессиональные дипломаты, как В. А. Зорин и Н. П. Фирюбин, следовало подобрать крупного партийного работника, желательно с опытом дипломатической деятельности. Эту идею поддержали министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко и заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Андропов, занявший этот пост после венгерских событий 1956 года. По их рекомендации, одобренной Хрущевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Чехословакии был назначен в феврале 1960 года Зимянин.

Он провел в Праге пять лет. С самого начала установил добрые отношения с президентом страны Антонином Новотным, с министром иностранных дел Вацлавом Давидом. Часто бывал в Братиславе, где обязательно встречался с Александром Степановичем, или Сашей, как любил называть себя в кругу русских друзей первый секретарь компартии Словакии Александр Дубчек.

Дубчек, который провел детские и юношеские годы в Советском Союзе, в совершенстве владел русским языком и в беседах с Михаилом Васильевичем

обходился без переводчика. А беседы эти зачастую носили весьма доверительный характер. Дубчек не скрывал своей неприязни к Новотному, воплощавшему, по его мнению, наихудшие черты партийного функционера.

Зимянин знал, что президент платил Дубчеку той же монетой, считая словацкого лидера выскочкой, карьеристом, незаслуженно пользующимся расположением Кремля.

До поры до времени послу удавалось смягчать напряженность в отношениях между Новотным и Дубчеком. Зимянину приходилось часто защищать Дубчека от незаслуженных обвинений и надуманных претензий со стороны президента и его ближайшего окружения. Естественно, он регулярно информировал Москву обо всех перипетиях внешне благополучной политической жизни Чехословакии, о ее экономическом развитии, социальных проблемах и, не в последнюю очередь, о скрытом, но жестком противостоянии «просоветской» и «прозападной» группировок в высшем партийном и государственном руководстве.

Чехословацкая компартия, ее лидеры, докладывал в Москву Зимянин, все больше отгораживаются от реальной жизни и, следовательно, от народных масс. Чрезмерно бюрократизирован административный аппарат, что вызывает всеобщее недовольство. В стране с развитой промышленностью явно недооценивается научно-технический прогресс. Налицо серьезные трения в политических отношениях между чехами и словаками. Антонин Новотный, по мнению Зимянина, «человек политически честный, но недостаточно подготовленный и дальновидный», не желает замечать им же допущенные просчеты и ошибки, а иногда даже усугубляет их непродуманными административно-командными мерами.

Зимянин неоднократно говорил об этом с Новотным, и отнюдь не всегда по поручению Москвы. Он с большой симпатией относился к братским славянским народам — чехам и словакам — и по мере возможностей искренне пытался им помочь.

Покидая Прагу в 1965 году, Зимянин поделился своими тревогами со сменявшим его на посту посла С. В. Червоненко: «Обстановка ухудшается!»

Новотный в силу своей ограниченности проигрывал сражение с усиливавшейся в партии оппозицией прозападного мелкобуржуазного толка. Неожиданную для него отставку Хрущева в октябре 1964 года, которого искренне считал своим близким другом, Новотный воспринял как личное оскорбление, поскольку Хрущев был отстранен от власти через считанные дни после визита в Чехословакию.

В ходе первой же встречи в Москве с новыми советскими руководителями Л. И. Брежневым и А. Н. Косыгиным Новотный обвинил Зимянина в утаивании важной информации из Москвы и одновременно выразил сомнение в объективности передаваемых советским послом сообщений.

В такой довольно напряженной ситуации Брежнев, будучи человеком азартным, решил рискнуть. Когда все аргументы в защиту советского посла в Праге, казалось, были исчерпаны, Брежнев прибег к довольно рискованному средству. «Пожалуйста, не горячитесь, товарищ Новотный, — миролюбиво сказал он. — Если Вы хотите, мы покажем Вам все шифротелеграммы Зимянина». Новотный смущенно отказался.

Здесь, по-видимому, уместно напомнить о том, что зашифрованные телеграммы из посольств, содержащие, как правило, важнейшую и срочную информацию, всегда были и, думается, еще долго будут наиболее секретными и потому весьма тщательно оберегаемыми дипломатическими государственными документами.

Зимянин возвратился в Москву. Около полугода проработал в МИДе в качестве заместителя министра иностранных дел, а в сентябре 1965 года по предложению Брежнева и главного идеолога партии Суслова был назначен на пост главного редактора центрального печатного органа КПСС, первой газеты страны — «Правды».

За политической обстановкой в Праге, с которой он свыкся за пять лет, Зимянин продолжал внимательно следить и с горечью и тревогой убеждался, что его худшие предчувствия сбываются. В Чехословакии наступали смутные времена.

В декабре 1967 года Брежнев в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС посетил Прагу с официальным визитом. Вернувшись, он делился с ближайшим окружением своими впечатлениями от поездки:

— С первых минут, еще в аэропорту, почувствовал что-то не то. Первый секретарь Новотный жалуется на своих членов Президиума. Те норовят отозвать меня в сторонку, а то и напрашиваются на разговор чуть ли не ночью, кроют первого секретаря, который, мол, доведет дело совсем до ручки, если его не убрать. Ребята мои рассказывают, что и им со всех сторон шепчут всякое. Думаю: ну, заварушка тут у них начинается, и каждый тянет на свою сторону, завлекает в союзники. И зачем мне это? Говорю своим: «Готовьте самолет, завтра улетаем. Еще не хватало влипнуть в их внутреннюю склоку. Пусть сами разбираются. Пошли они к такой-то матери!»

Правда, поначалу Брежнев, уверовавший в действенность «личной дипломатии», предпринял попытку сблизить почти в открытую противоборствующие группировки, предотвратить политический кризис и сохранить Новотного если не на партийном, то хотя бы на высшем государственном посту. В течение восемнадцати часов он без перерыва вел переговоры один на один со всеми наиболее влиятельными представителями чехословацкого руководства. Большинство собеседников требовали отставки Антонина Новотного, жаловались на его нетерпимость и самоуправство.

Помощник Брежнева А. М. Александров-Агентов в 1990-е годы вспоминал, как Александр Дубчек со слезами на глазах говорил Брежневу о том, что его, первого секретаря ЦК Компартии Словакии, много лет прожившего в СССР, Новотный отказался включить в состав делегации на празднование пятидесятой годовщины Октября в Москве.

Когда Брежнев спросил секретаря Президиума ЦК КПЧ Иржи Гендриха, считавшегося ближайшим другом Новотного, кого он видит на высших постах — партийном и государственном, Гендрих, не задумываясь, назвал себя. «Когда он вышел, — рассказывал Александров-Агентов, — Брежнев только покачал головой и сплюнул».

Брежнев покинул Прагу со словами: «Поступайте как хотите!», которые и предрешили дальнейшее развитие событий в Чехословакии. В январе 1968 года партию возглавил Дубчек, искренне веривший в идею социализма «с человеческим лицом». Через несколько месяцев Брежнев спросит Дубчека: «Если у вас социализм с человеческим лицом, то с каким же он у нас?»

Наступила «Пражская весна» с ее бурными дискуссиями по вопросам демократизации партии и страны, многочисленными митингами с требованиями очищения от тоталитарного прошлого, попытками проведения рыночных реформ, отменой цензуры и «либерализацией» средств массовой информации. Летом в Праге уже звучали призывы к выходу Чехословакии из Варшавского Договора. В газетах, по радио и телевидению обсуждались перспективы обретения статуса нейтральной страны и даже вступления в НАТО.

В конце июня 1968 года Зимянин посетил Прагу по поручению руководства ЦК КПСС «для дополнительного изучения ситуации». Его визит носил, скажем так, неофициальный характер.

Второго июля на заседании Политбюро Михаил Васильевич доложил о результатах своей поездки:

— Положение в Компартии Чехословакии очень острое и сложное. Партия по существу расколота. Решения Президиума не выполняются даже его членами. Гонение на активных, стоящих на правильных позициях партийных работников проводится с беспощадной силой. Более двухсот секретарей обкомов и горкомов оказались выброшены на улицу без какого-либо материального обеспечения.

У меня был длительный и обстоятельный разговор с Дубчеком. Он весьма агрессивно отвечал на мои вопросы, касающиеся возможных мер по стабилизации обстановки в партии и стране. Отрицал, что в стране нагнетается антисоветизм. Я приглашал его приехать в Москву — поговорить, посоветоваться, но он не ответил на приглашение...

— Вы рисуете довольно мрачную картину, — в голосе Брежнева прозвучало недовольство. — Ну и что же нам делать, по вашему мнению?

После секундной паузы Зимянин ответил:

— Мы много говорим, совещаемся, но до сих пор не помогли здоровым силам в чехословацкой компартии выработать программу их борьбы против правых. Надо срочно созвать совещание братских партий и обсудить положение в Чехословакии.

Перечислив меры, которые следует предпринять в целях политического выхода из кризиса, Зимянин выступил против предложения оставить советские воинские части на территории Чехословакии после окончания маневров войск стран-участниц Варшавского Договора, на чем настаивали Н. В. Подгорный, А. Я. Пельше, П. Е. Шелест, Ю. В. Андропов.

В ходе обсуждения выступил Громыко, который заявил: «Теперь уже ясно, что нам не обойтись без вооруженного вмешательства». Министра иностранных дел поддержал Косыгин.

Склонявшийся к политическим методам давления на чехословацкое руководство Брежнев осторожничал: «Нам важно четко уяснить сейчас, не ошибаемся ли мы в оценке событий в Чехословакии. От этого будут зависеть все наши меры». Своим приближенным Брежнев объявил, что в случае потери Чехословакии он оставит пост Генерального секретаря.

Длительные и сложные переговоры советских и чехословацких руководителей, в том числе беспрецедентная пятидневная встреча всех членов Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ в Чиерне-над-Тисой, совещания лидеров стран-участниц Варшавского Договора в Дрездене, Варшаве, Братиславе не принесли желаемых результатов ни одной из сторон.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вошли войска Советского Союза, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии.

Брежнев, Косыгин и Подгорный провели всю ночь в здании Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, заслушивая доклады военных о ходе операции.

В военно-техническом плане она была осуществлена безупречно. Неожиданно для разведок НАТО за считанные часы по воздуху и по суше в центр Европы были переброшены сотни тысяч солдат, без кровопролития захвачены аэродромы, другие важные военные объекты. Советская Армия, как и войска союзников, имела строжайший приказ: «Огня по братскому чехословацкому народу не открывать!»

Надо отдать должное и чехословацким солдатам, которые, стиснув зубы, выполнили приказ президента Людвика Свободы и министра обороны М. Дзура не оказывать сопротивления вторгшимся на их родину войскам.

Очевидцы, правда, свидетельствуют о том, что за несколько часов до начала операции министр обороны СССР Гречко позвонил Дзуру и по-свойски предупредил его: «Если с вашей стороны при нашем вступлении прозвучит хоть один выстрел, ответишь за это головой. Будешь висеть на первом дереве!»

Брежнев был удовлетворен тем, как завершилась «чехословацкая эпопея». По его убеждению, сравнительно недорогой ценой удалось отстоять высшие интересы СССР и всего социалистического содружества, сохранить стабильность в Европе.

Дубчек же оставался у власти до апреля 1969 года, постепенно сдавая свои позиции более лояльным к Москве деятелям. Из политического небытия он вернулся в конце 1980-х годов в результате «бархатной революции», возглавив Национальное собрание Чехословакии, но таких вершин популярности на родине и

за рубежом, как во времена «пражской весны», уже не достигнет. Много толков породит его неожиданная и нелепая гибель в автокатастрофе.

Зимянину довелось еще не раз побывать в Чехословакии. Так, он прилетел в Прагу сразу после ее занятия советскими войсками, чтобы помочь «восстановить нормальную работу партийной печати». Здесь судьба снова свела его со старым боевым другом Мазуровым, который под псевдонимом «генерал Трофимов» осуществлял по поручению Кремля политическое руководство операцией в Чехословакии.

Хотя обстановка в Праге августа 1968 года явно не располагала к сомнениям, Зимянин не мог не размышлять по поводу того, насколько были необходимы и правомерны предпринятые СССР и его верными союзниками действия по «защите завоеваний социализма в Чехословакии». Делиться своими мыслями было не с кем да и незачем, и он доверил их дневнику, который с перерывами вел с начала 1950-х годов.

«Наше вмешательство, ввод советских войск — крупная принципиальная ошибка, — записал тогда в дневнике Зимянин. — Но происшедшее нельзя рассматривать изолированно, вне контекста многосторонних отношений внутри Варшавского Договора, во всем социалистическом лагере. Чехословакия тянется, как говорят железнодорожники, по направлению главного хода с запада на восток почти на тысячу километров, а с севера на юг — в четыре-пять раз короче. Чехословакия огибает Польшу и Восточную Германию, вплотную подходя к Германии Западной, с другой стороны — к Венгрии. Переход Чехословакии на антисоветские позиции с провозглашением политики нейтралитета, к чему вели ее поборники «социализма с человеческим лицом», создавал опасность сокращения на сотни километров расстояния между Советским Союзом и его потенциальными противниками.

Такая прямая стратегическая угроза на фоне жесткого непрекращающегося противостояния двух систем стала решающим фактором при принятии военного решения. Политические мотивы, несмотря на всю их серьезность, оказались вторичными...»

Вернувшись к этой теме в 1990-е годы, Михаил Васильевич сделал такую запись: «Все-таки эта операция в политическом отношении была ошибочной. По своим методам она напоминала традиционные методы великих, в прошлом, колониальных держав, которые теперь претендуют на главенствующую роль в международных делах».

При чтении этих дневниковых записей вспомним о том, что Михаил Васильевич в 1968 году выступал за политическое урегулирование кризиса в советско-чехословацких отношениях и не поддерживал сторонников вооруженного вмешательства во внутренние дела Чехословакии.

* * *

Без малого 11 лет, дольше любого своего предшественника, он занимал пост главного редактора «Правды». Работал истово с утра до ночи. Его стараниями газета стала выходить ежедневно на шести полосах.

Борис Стукалин, один из самых близких товарищей Зимянина, долгие годы — от «Правды» до ЦК — прослуживший с ним, вспоминал:

«Мне необычайно повезло, что работать пришлось вместе с Михаилом Васильевичем Зимяниным, человеком кристальной чистоты, искренним, добрым и отзывчивым, непоколебимым в своих убеждениях. Для меня он был и остается воплощением всего лучшего, что есть в белорусском народе».

В одной из доверительных бесед при обсуждении позиции редакции газеты по вопросу о возможности предотвращения нового культа личности Зимянин сказал своему первому заместителю: «Вот что, Борис, давай условимся: пока нам доверено работать здесь, будем держаться до конца. Если «Правда» дрогнет,

прогнется под давлением политиканов- временщиков, подхалимов и карьеристов или сама не устоит перед соблазном угодить высокому начальству, плотина будет прорвана и все вернется на круги своя, да еще в самом худшем варианте. Будем служить не лицам, а делу — пусть это станет нашим девизом, если хочешь, клятвой, хотя, как ты знаешь, страшно не люблю громких слов».

Не раз и раньше мы говорили об опасности возрождения культа личности и ответственности «Правды», но впервые Михаил Васильевич высказывался на эту тему так резко и убежденно и как о своей глубоко личной позиции, о своем моральном долге. Всякий раз, когда некоторые авторы допускали в своих статьях и очерках неумеренно восторженные характеристики Брежнева и других наших лидеров, Михаил Васильевич решительно правил такие места. По его примеру это делали и другие правдисты. Какое-то время «Правда» оставалась неким островком партийной строгости, придерживаясь своей принципиальной линии. И это продолжалось до тех пор, пока ее позицию не расценили как прямой вызов высшему руководству.

«Не думаю, — заключает Стукалин, — что кто-либо из предшественников Михаила Васильевича так много работал непосредственно над каждым номером, каждой статьей. Основные материалы для очередного номера он успевал прочитывать в машинописном варианте, затем после правки набора — в гранках и на контрольных оттисках полос. Если учесть, что «Правда» выходила тогда ежедневно, а в каждом номере помещалось примерно шесть печатных листов, то можно себе представить, какой огромный объем работы ложился на главного редактора. И речь идет не только об ознакомлении с содержанием материалов, а чаще всего об редактировании, иногда серьезных переделках.

Кроме работы над текущими номерами газеты Михвас, как его за глаза звали в редакции, проводил ежедневные заседания редколлегии, успевал поработать с отделами редакции, принимать авторов, посетителей, участвовать в различных собраниях, заседаниях и т. п. Надо иметь в виду также, что он был руководителем Союза журналистов СССР. Нагрузка прямо-таки немыслимая!»

«Я многим обязан ему по-человечески, — вспоминает работавший под началом Зимянина в 1960-х годах в газете «Правда» Е. М. Примаков. — Например, хотя бы тем, что он категорически воспротивился уже подготовленной редакцией моей командировке на юг Аравии, в партизанский отряд в Дофаре, который вел вооруженную борьбу против англичан, все еще правивших в Адене. «Это слишком опасно, я дорожу тобой», — такие слова Михаила Васильевича меня тронули до глубины души, хотя по-журналистски, ох, как хотелось дать материал в «Правду» с места боев».

А вот воспоминания под заголовком «Четвертая власть и четыре генсека», казалось бы, близкого к Зимянину Виктора Афанасьева, академика, многолетнего зимянинского заместителя по «Правде», преемника на посту главного редактора этой газеты.

Работа Афанасьева в «Правде» началась, как он пишет, «с довольно забавного эпизода. Однажды в приемной меня остановил помощник главного редактора Попов. Он спросил: «Вы играете в шахматы?» Ответил, что играю, и довольно сносно. И тут Попов перешел на шепот: «Не говорите главному, что вы шахматист, иначе он вас шахматами замучает».

Зимянин действительно оказался заядлым шахматистом, он мог играть после рабочего дня хоть до самого утра. Играл слабовато, проигрыш переживал болезненно, быстро «заводился» и сражался до тех пор, пока не выигрывал. И только после победы спокойно уезжал домой.

«Проигрывая, злился», — рассказывал о Зимянине один из ближайших сотрудников Горбачева Г. Х. Шахназаров. Члены советской делегации на международном съезде журналистов в Гаване за спиной своего руководителя М. В. Зимянина умоляли Шахназарова проиграть, «иначе он всем задаст жару». Шахназаров «проигрывал», а потом как-то на совещании на вопрос Зимянина, удавалось

ли кому-нибудь выиграть у него, отвечал: «Где им, это только вы можете, хотя и нечасто».

Очевидец запечатлел один из характерных эпизодов рабочего дня главного редактора.

Раздается звонок телефона кремлевской связи — «вертушки». Зимянин снимает трубку:

— Слушаю, Леонид Ильич.

— Михаил Васильевич, мы с тобой договаривались о том, что ты покажешь мне статью по Китаю, а она уже опубликована, причем без учета моих замечаний. Как же так?

— Мне позвонил товарищ Суслов и сказал, что ее можно публиковать. Он знал о ваших замечаниях, и я понял, что все вопросы с вами согласованы.

— В таком случае упрек снимаю, — заключает Брежнев.

Зимянин подходит к столу с широкой наклонной крышкой и показывает невольному свидетелю его разговора с Генеральным секретарем разложенные на столе газетные полосы:

— Эти гранки статьи по Китаю рассылались всем членам, кандидатам в члены Политбюро, секретарям ЦК КПСС. Статья вернулась с завизированными правками, причем, правки сплошь и рядом исключают одна другую. От каждого руководителя получаем истину в последней инстанции, да еще с претензией на теоретические постулаты. Попробуй сведи все это к общему знаменателю. С одной стороны, надо ухитриться не перессорить членов политического руководства, а с другой, не вызвать их обид на меня, на газету.

Сетует не без лукавства: «Эх, горек наш журналистский хлеб!»

* * *

В 60 лет Михаил Васильевич Зимянин получил одну из высших наград государства — Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Спустя полтора года был избран на один из высших постов в правящей Коммунистической партии Советского Союза — секретарем ее Центрального Комитета.

Известный дипломат и ученый-африканист Анатолий Андреевич Громыко рассказал о своей встрече с Зиманиным уже в качестве секретаря ЦК КПСС в своей книге «Андрей Громыко. Лабиринты Кремля».

Весной 1984 года Громыко-младший, в то время директор Института Африки АН СССР, обратился к тогдашнему руководителю партии и страны К. У. Черненко с просьбой помочь создать в Академии наук отделение мировой экономики и международных отношений. Черненко направил просителя к Зимянину.

«Михаил Васильевич встретил меня в своей обычной строгой манере. Как у многих кабинетных работников, лицо его было пепельно-серым. Этот невысокий человек обладал, однако, характером сильным, неспокойным и колючим. В прошлом, в годы борьбы с фашизмом, Зимянин, проявляя храбрость, был партизаном, не раз глядел в лицо смерти. Очевидно, считал, что одно это делает его непогрешимым. В секретариате он курировал науку и общественные организации. Руководил этим важным участком советской жизни жестко и бескомпромиссно, будучи особо непримиримым к любым отклонениям на практике от теории марксизма-ленинизма, в тех рамках, разумеется, как он ее сам принимал.

Собственных научных трудов не имел. Больше увлекался работой с советскими писателями, вопросами искусства и литературы, но не наукой.

— Пишут тут всякое про писателя Проскурина, — сказал он мне, — не гнушаются даже подметными письмами, а ведь он один из наших лучших художников слова, русский патриот.

Руководители, подобные Зимянину, искренне болели за интересы государства. Они с утра до вечера работали, были перегружены текучкой и нередко упускали из виду вопросы принципиального плана — необходимость демокра-

тизации политической системы Советского Союза, с тем чтобы ее противники действовали легально, а не находились в опале, не выглядели мучениками и гонимыми. Гонимым советская, да и российская общественность всегда сочувствовала.

Как бы там ни было, но последнее слово в отношении Академии наук оставалось за Зимяниным. Я был готов к любому разговору об упомянутом выше международном отделении, но, к сожалению, до этого дело не дошло. Михаил Васильевич любил ошеломлять и даже морально распинать своих собеседников, если считал, что они идут «не в ту степь». Он их спасал от только ему ведомых врагов. В подобном положении «спасаемого» оказался и я.

— Анатолий Андреевич, что это вы наговорили Константину Устиновичу? Расскажите.

Я сделал это очень кратко.

Как известно, камни сверху бросать легче, чем снизу. Я услышал грозное обвинение в адрес людей, которые ищут брод там, где его нет. Меня эта византийская манера говорить, откровенно говоря, раздражала. В конце концов, не подаяния просил я у Черненко, а теперь у Зимянина, а высказывал точку зрения как ученый и член Академии.

В целом Зимянин мне нравился. Он искренне болел за Советскую власть и за социализм. И безусловно, многое сделал. Из разговоров с ним у меня сложилось твердое впечатление, что Михаил Васильевич особенно переживал за русский народ, считал, что его нужды в государстве удовлетворяются крайне недостаточно. Зимянин в составе советского руководства был настоящим русофилом». Но он, так же как и Громыко, работал в системе, которая была пропитана духом вождизма. Эта ситуация сковывала всех без исключения, в том числе и его.

Очевидно, вид у меня был грустный. Я не ожидал, что со мной будут разговаривать, как в детском саду. Несколько смягчившись, Зимянин предложил мне чай с сушками, обычное цековское угощение, и сказал: «Как это, Анатолий Андреевич, не понимаете простых вещей? Предлагать Арбатова на руководство отделением? Учтите, жизнь гораздо сложнее, чем вы думаете. Вы еще многого не знаете, сами должны осознать, что к чему».

— Есть еще академик Примаков, разве он не смог бы возглавить новое отделение? — постарался выправить я положение.

Я знал, что Зимянин и Арбатов были «на ножах», но Евгений Примаков, считал я, вне «всяких подозрений». Зимянин посмотрел на меня с сожалением. Я понял, что, как и с Черненко, разговора с ним по делу не получится».

Остается добавить, что позднее, уже при Горбачеве, в 1988 году, когда Зимянин был отправлен на пенсию, а Яковлев как член Политбюро и секретарь ЦК получил в свое ведение весь идеологический сектор деятельности КПСС, упомянутое отделение создали. Его секретарем-академиком стал Примаков.

А вот неожиданное свидетельство о Зимянине известного джазового музыканта Алексея Козлова. «Это был суровый, прямолинейный и убежденный человек, чрезвычайно честный и неприхотливый. Он держал свою семью в относительно скромных рамках в смысле быта, сильно отличаясь от представителей высшей партийной элиты, хапавших все что было можно, для себя и своих родных. Во время войны он был одним из руководителей партизанского движения в Белоруссии. Чем-то даже он сильно напоминал мне моего отца. Его принципиальность в борьбе за чистоту советской культуры иногда больно била по левой творческой интеллигенции, и его имя частенько ассоциировали с Геббельсом».

Приведем еще один отрывок из книги Афанасьева уже о «секретарском периоде» Зимянина: «За него и от его имени (Брежнева. — *М. Б.*) давали нам указания Суслов (идеолог № 1) и Зимянин (идеолог № 2). Секретарь ЦК КПСС, которого я сменил на посту главного редактора «Правды», как-то упрекнул меня, что в трех передовых статьях газеты не упомянута фамилия Брежнева. Я, конечно же, обещал исправиться».

Десять дней провел с Зимяниным в поездке по Бразилии в 1983 году Владимир Медведев, генерал КГБ, бывший «прикрепленный» Брежнева, а затем начальник охраны Горбачева. «Зимянин оказался чрезвычайно прост в общении, я был даже поражен: подобного товарищеского отношения к себе я прежде не испытывал. Веселый, остроумный... На встречах с губернаторами городов шла речь о развитии культурных связей между двумя странами. Зимянин без особого напора, деликатно, но убежденно отстаивал социалистический строй, социалистический реализм и все прочее социалистическое. Отстаивал, но не навязывал. Таким, мне казалось, и должен быть нормальный политик».

* * *

Известный литературный критик, публицист, автор замечательных книг о С. Аксакове и А. Островском Михаил Лобанов сначала в журнальной публикации, а затем в своей книге «В сражении и любви. Опыт духовной биографии», изданной в 2003 году, поведал такой сюжет о Зимянине.

«Уже во времена «перестройки», находясь на пенсии, Михаил Васильевич просил сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище над моей статьей, потому что «все шло от Юры», как называл он по старой комсомольской привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу). Как-то неожиданно для меня было узнать об этом «покаянии», видно, осталось в этом высокопоставленном партийце нечто живое, казалось бы, немыслимое после тех идеологических медных труб, сквозь которые он прошел».

История со статьей Лобанова «Освобождение», опубликованной в десятом номере «провинциального» литературного журнала «Волга» в 1982 году, наделала немало шума в столичных литературных, да и не только литературных, кругах, вызвав в писательской среде очередной взрыв эмоций патриотов (или, как их еще именовали, — славянофилов, почвенников, традиционалистов, деревенщиков и т. д.) и космополитов (или западников, либералов, демократов, шестидесятников).

Лобановская статья была посвящена новому роману Михаила Алексеева «Драчуны», в котором писатель рассказал о пережитом в детстве страшном голоде в Поволжье в 1933 году. Тема народной трагедии 1933 года замалчивалась в течение многих лет, и лишь Алексееву удалось нарушить это молчание, уступив в чем-то, подобно Шолохову с его эпическим повествованием о коллективизации «Поднятой целиной», требованиям идеологической политики КПСС и соответственно партийной цензуры.

Взволнованный прочитанным Лобанов, сам в детстве переживший голод 1933 года, не мог не упомянуть главную причину этой трагедии — сталинскую коллективизацию. По утверждению Михаила Петровича, он и не собирался замахиваться на эту сложнейшую и болезненную тему, посвятив ей в статье буквально три фразы. Одна из них звучала так: «Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев — это не просто герой-«двадцатипятитысячник», но и некий символ нового, волевого отношения к людям».

«Доброхоты», а их у прямодушного и резкого Лобанова было немало, постарались привлечь внимание к статье утверждавшегося в новой для него роли руководителя страны Андропова, который не замедлил с обвинительным заключением: «Автор статьи поднимает руку на то, что для нас священно», то есть на коллективизацию и на Шолохова. Предпринята попытка ревизии мер партии в тридцатые годы, несмотря на то, что жизнь полностью доказала их правоту».

«Проработка» Лобанова началась с совещания в ЦК главных редакторов всех столичных изданий, которое проводил ответственный за идеологическую деятельность КПСС секретарь ЦК Зимянин.

Осмелившегося напечатать крамольную статью главного редактора саратовского журнала «Волга» сняли с работы. Автора «Драчунов» Алексеева вычеркнули из списков соискателей Ленинской премии. «Замахнувшегося на святое» Лобанова было велено подвергнуть жесткой критике в основных средствах массовой информации.

Михаила Петровича осудили в один голос «Правда», «Литературная газета», «Литературная Россия», Секретариат правления Союза писателей, Ученый совет Литературного института, преподавателем которого он все-таки оставался, хотя Краснопресненский райком партии требовал исключения Лобанова из партии и увольнения с работы. Тяжко пришлось Михаилу Петровичу!

Позднее, вспоминая весну 1983 года, Зимянин записал в дневнике: «Тогда Андропов сказал, что намеревается ввести меня в Политбюро ЦК, но при условии определенных изменений в моем поведении. Он говорил об этом не раз... Я отклонил его предложение». Упорство Зимянина «прекратило их многолетнюю бескорыстную дружбу». Правда, дружбу эту иногда омрачали эпизоды, которые Зимянин заставлял себя расценивать как неизбежные из-за характера работы Андропова на посту руководителя КГБ.

Однажды во время очередной встречи в ЦК Андропов вдруг спросил Зимянина, известно ли ему о том, что первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Машеров, удостоенный звания Героя Советского Союза, находился в немецком плену.

Сразу почувствовав, к чему клонит Андропов, Зимянин четко изложил все, что он знал о злоключениях Машерова.

В 1943 году Зимянин поддержал кандидатуру «очень хорошо проявившего себя» 25-летнего комиссара партизанской бригады Петра Машерова, выдвинутого на должность первого секретаря Вилейского подпольного обкома комсомола. Через полгода Белорусский штаб партизанского движения совместно с ЦК комсомола представил Машерова к званию Героя Советского Союза.

— После решения о высокой награде, — рассказывал Зимянин Андропову, — мы получили сообщение контрразведки о том, что Машеров был в плену у немцев. Я немедленно обратился к Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко. Тот сразу меня спросил: «Будем защищать его? Миша, ведь я, как и ты, в глаза его не видел». Я сослался на мнение очень надежных людей, которые высоко оценивали Машерова как партизанского командира и отзывались о нем как о хорошем и верном товарище. Дополнительно проверили и выяснили, что свою беду Машеров не утаивал. Я сказал Пономаренко, что его слово будет во всей этой истории решающим. «Хорошо, — согласился Пономаренко, — но имей в виду, ты лично отвечаешь за своего Машерова». Через некоторое время чекисты доложили нам, что дело Машерова закрыто. Напомню, Юрий Владимирович, — заключил Зимянин, — о том, что высшей инстанцией тогда же было принято решение не возвращаться больше к этому делу.

Андропов безучастно выслушал Зимянина, ничего не сказал, сухо кивнув на прощание. У Михаила Васильевича в душе долго сохранялся неприятный осадок от этой встречи: словно его хотели вовлечь в какие-то недобрые дела.

Машеров так никогда и не узнал об этом разговоре, хотя Зимянину при встречах с ним иногда казалось, что белорусского лидера что-то тяготило. Но Петр Миронович даже в дружеских беседах не позволял себе лишних откровений о прошлом.

В апреле 1983 года состоялась последняя с глазу на глаз беседа двух старых друзей Михаила Васильевича и Юрия Владимировича.

Поначалу Андропов был настроен благодушно.

— Готовься, Миша. После Пленума ЦК получишь сусловское наследство. Поработаем вместе. Хочу тебе сказать, что можешь рассчитывать на поддержку Алиева. Ты знаешь, он ведет в Совмине транспорт и социальную сферу, следовательно, на нем и вопросы культуры...

— Юрий Владимирович, — не сдержавшись, прервал Генерального секретаря Зимянин, — при всем моем уважении к Гейдару Алиевичу... Скажи мне, разумно ли было поручать ему, выходцу из Закавказья, вопросы русской культуры?!

Наступила гнетущая пауза, которую нарушил Андропов.

— Поговорим о другом, Михаил Васильевич, — тихо произнес он, глядя куда-то в сторону. — Вы отвечаете за идеологию, за ее чистоту. Не пора ли призвать к порядку наших зарвавшихся русистов?

— Русистами, Юрий Владимирович, как я понимаю, называют на Западе специалистов по русскому языку и литературе, — негромко, но твердо сказал Зимянин. — Если Вы имеете в виду известных историков и литераторов патриотического направления, «славянофилов», как их весьма условно именуют некоторые наши коллеги, то хочу Вам доложить, что заниматься их перевоспитанием и уж тем более подвергать их преследованиям или каким-либо наказаниям я не намерен. И Вам искренне не советую этим заниматься.

Испытующе глянув на Зимянина, Андропов молча поднялся из-за стола, давая понять, что разговор закончен.

Избрание Михаила Васильевича в Политбюро не состоялось. На протяжении следующих месяцев Андропов и Зимянин поддерживали подчеркнуто официальные отношения.

Вечером 21 ноября 1983 года на служебной даче Зимянина раздался звонок телефона кремлевской связи.

— Миша, — услышал Зимянин тихий тонкий голос Андропова, — звоню, чтобы поздравить тебя с днем рождения. Здоровья тебе, пожить подольше.

Андропов говорил медленно, с трудом, тяжело дыша: «Миша, если сможешь, прости меня...» В трубке послышались частые гудки.

«До избрания Андропова Генсеком, — писал Михаил Васильевич в своих незавершенных воспоминаниях, — нас связывала давняя дружба. Меня привлекали в нем живой ум, тактичность, доброжелательность. Но годы работы в Комитете госбезопасности резко изменили его. Он стал более жестким, настороженным, непримиримым. Особых репрессий, правда, не допускал. Не было у него репутации карателя.

Андропов хорошо понимал, что в атмосфере брежневского благодушия дисциплина в стране упала, и потребовал срочного принятия соответствующих мер. Однако предпринятые по его настоянию действия зачастую приобретали анекдотический характер. Чего стоила, к примеру, дневная охота на нарушителей трудовой дисциплины в магазинах и кинотеатрах?

К сожалению, работа в КГБ, с одной стороны, давала ему полную информацию обо всех негативных явлениях в стране, а с другой, лишала его возможности приобрести необходимый административно-хозяйственный опыт. Андропов пришел к руководству страной, не имея для этого качеств, которыми обладали такие видные управленцы, как А. Н. Косыгин или Д. Ф. Устинов.

Не хочу говорить о нем худого, но я не мог примириться с некоторыми его принципиальными взглядами и воззрениями, что и определило наш окончательный разрыв».

Примечательно, что Михаил Васильевич воздерживался от высказываний по поводу распространившейся после кончины Андропова версии о его причастности к уходу из жизни таких крупных политических деятелей, как Кулаков, Гречко, Устинов, Суслов и, наконец, Брежнев.

Известно, что в ноябре 1982 года должен был состояться Пленум ЦК, на котором руководство партией и страной переходило бы к Владимиру Щербицкому, первому секретарю ЦК Компартии Украины. Брежневу был уготован почетный пост Председателя КПСС. Поговаривали, что на этом Пленуме Андропов уйдет в отставку по состоянию здоровья. Серьезность брежневских намерений подтвердил Иван Капитонов, долгие годы занимавший пост Секретаря ЦК КПСС

по вопросам кадровой политики партии. За две недели до кончины Брежнев пригласил его в свой кабинет и сказал: «Видишь это кресло? Через месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого». Эту версию подтвердил в своих воспоминаниях бывший первый секретарь Московского горкома партии Гришин. В гараже особого назначения Девятого управления КГБ, который обслуживал высших лиц партии и государства, готовилась машина для Щербицкого. Но этим планам, как известно, не суждено было осуществиться. После внезапной кончины Брежнева 10 ноября 1982 года Генсеком избрали Андропова. За все месяцы его нахождения у власти Щербицкий ни разу не переступил порог андроповского кабинета.

Судя по всему, об этой истории знал Горбачев и справедливо видел в Щербицком сильного соперника. Под благовидным предлогом самолет, на котором Владимир Васильевич должен был прилететь из США, где он находился с официальным визитом, был задержан. Щербицкий, единственный из членов Политбюро, не присутствовал на Пленуме ЦК, на котором обсуждался вопрос о новом Генеральном секретаре.

Выступление Зимянина на заседании Политбюро 11 марта 1985 года при обсуждении кандидатуры Горбачева мало чем отличалось от остальных. Кандидат в Генсеки, по его словам, «активен, глубок и эрудирован», «умеет выделить главное». «Я всегда находил и нахожу, когда обращаюсь к М. С. Горбачеву, быстрое решение при самом точном знании предмета» и тому подобное. Как и вся «старая гвардия» во главе с Громыко, первым призвавшим поддержать Горбачева, Зимянин искренне надеялся, что с приходом к руководству партией и страной сравнительно молодого энергичного и образованного политика наступят перемены к лучшему.

На январском Пленуме ЦК КПСС 1987 года Зимянин был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС с классической формулировкой — «по состоянию здоровья». В данном случае формулировка полностью соответствовала действительности. У Михаила Васильевича была тяжелая форма астмы.

Домой с Пленума Зимянин вернулся растроганным. Товарищи тепло поблагодарили за работу. Горбачев даже обнял его на прощание.

В течение двух лет Зимянин оставался в составе Центрального Комитета, пока Горбачев не решился избавиться от большой группы старых коммунистов, которые оказывали определенное сдерживающее влияние на политику, проводимую им и его ближайшими сподвижниками Яковлевым, Шеварднадзе.

В апреле 1989 года Михаила Васильевича пригласили на Старую площадь к Горбачеву. В приемной секретариата встречи с Генсеком дожидались еще десять пенсионеров — членов ЦК.

Старики в течение полутора часов внимательно слушали обтекаемые рассуждения Горбачева о ситуации в стране, мире, о необходимости обновления партийного руководства.

Первым не выдержал Зимянин: «Михаил Сергеевич, ты прямо скажи, что от нас нужно Политбюро? Ввести в ЦК молодых? Пожалуйста. Многие из нас вышли на пенсию, просьбы об освобождении напишем. Этого ты хочешь?»

Горбачев был доволен: «Ну, в общем-то, вы мою мысль поняли правильно».

На следующий день у Горбачева собралось уже более сотни человек. Генеральный секретарь, показывая на Зимянина и других участников вчерашней встречи, провозгласил: «Вот, одиннадцать уважаемых членов ЦК проявили инициативу, так сказать, для привлечения к управлению партией молодых энергичных кадров. Для перестройки это важно. А как вы считаете, товарищи?» «Товарищи» все поняли правильно, сдали свои мандаты на ближайшем Пленуме ЦК. Таким образом из ЦК были выведены сто десять опытнейших, заслуженных коммунистов. Только один член ЦК, крепкий оборонщик, министр среднего машиностроения Ефим Павлович Славский жестко заявил Горбачеву: «Съезд меня избрал, съезд и освободит!»

«Заявление ста десяти» о сложении полномочий членов ЦК, по просьбе Генерального секретаря, написал Зимянин. После Пленума Горбачев пригласил к себе Михаила Васильевича и поблагодарил его за поддержку.

— Одно бы Вам хотел сказать напоследок, Михаил Сергеевич, — теперь на «вы» обратился к Горбачеву Зимянин. — Больше надо думать о русском народе, беречь его. В нем вся мощь государства. Поболейте за него...

— Погоди, погоди, Михал Васильич, — заулыбался Горбачев, — да ты, оказывается, державный...

На том разговор и закончился.

Громыко рассказывал в своей книге о том, как Зимянин говорил с Горбачевым об отношении к русскому народу.

Как-то, гуляя в сквере у Патриарших прудов, Громыко увидел сидевших на лавочке Зимянина и Капитонова. Он подошел к ним, поздоровался: «Анатолий, присаживайся, — сказал Михаил Васильевич. — Что это за газетенку ты держишь?»

Этим утром я купил в киоске прибалтийскую газету. Как это Зимянин ее узрел? Он мне тут же дал указание:

— И не читай, выброси в мусорную корзину.

— Здесь много пишут о событиях в Прибалтике, — сказал я. — Надо знать тамошние настроения, чтобы понять, что там происходит.

— Я говорил Горбачеву, когда уходил на пенсию, что если он будет обижать русских, ему несдобровать».

Видимо, были серьезные основания причислить Зимянина к скрытым защитникам так называемой «Русской партии» у Николая Митрохина, автора книги «Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953—1985 годы». Думается, что название «Русская партия», как и понятие «русисты», как истории с царским сервизом на свадьбе дочери Романова, с золотым перстнем Брежнева, с бесчисленными бриллиантами его дочери и многие другие, вызывающие праведный гражданский гнев сюжеты сотворили птенцы гнезда Андропова из Пятого «идеологического» управления КГБ СССР.

Для них таинственная «Русская партия» была очень удобной и вместительной корзиной, куда сваливались без разбора все патриотически настроенные группы или отдельные лица.

Осенью 1995 года увидел свет двухтомник Горбачева «Жизнь и реформы», в котором первый и последний Президент СССР подводил итоги своей деятельности в советский период.

Вспоминая о пленуме ЦК КПСС по идеологическим вопросам 1983 года, на котором Андропов намеревался «повысить» Зимянина, Горбачев рассказывает о том, как готовился основной доклад для К. У. Черненко, в тот период второго партийного лидера. «Поскольку сведения о состоянии здоровья генсека (Андропова. — *М. Б.*) уже перестали быть тайной, «идеологическая братия» Зимянина, примыкавшая к Черненко, воспрянула духом, держалась сплоченней и увереннейи, видимо, стала рассматривать это выступление чуть ли не как официальное реанимирование «брежневизма».

Когда Горбачев прочитал проект доклада, он с возмущением заявил Андропову:

— Этого просто нельзя допустить! Не проводили пленумов по идеологии четверть века. (Точнее, два десятилетия. Пленум по вопросам идеологической работы КПСС проводился при Хрущеве в 1963 году. — *М. Б.*) И выходим с подобным докладом?!

Естественно, проект доклада содержал цитаты и ссылки на Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Тем самым доказывал Андропову Горбачев, его имя и его курс связывались с этим сводом застойных правил и запретов, сочиненных бригадой Зимянина. Открытый вызов — вот что, по моему мнению, означал данный доклад».

С согласия Генсека Горбачев изложил Черненко свои соображения по проекту доклада:

«В нем, безусловно, собран богатый материал. Но при чтении возникает такое чувство, что нет внутренней логики, связывающей текст с тем, что мы делаем в последние месяцы. Главное — пропадает глубокая и острая постановка вопросов. Мне думается, если сделать доклад на треть короче, сконцентрировать мысли на принципиальных положениях, он от этого только выиграет».

«Уф! Тактичнее сказать было просто невозможно, — поясняет Горбачев, — и я надеялся, что Черненко предложит мне, как минимум, принять участие в окончательной доработке его выступления. Не тут-то было». Черненко обещал подумать над горбачевскими замечаниями, но в конечном итоге в докладе ничего не поменял. Визит же к нему Горбачева воспринял как проявление нескромности, стремление всех поучать.

По наблюдению Горбачева, на пленуме Черненко, читая доклад, «с большим трудом продирался сквозь зимянинскую схоластику».

В 1984 году было решено провести Всесоюзную научно-практическую конференцию по идеологическим проблемам, на которой предполагалось обсудить выполнение решений прошлогоднего пленума. Теперь уже Горбачеву, как второму лицу в партии, готовят основное выступление. «Материалы к докладу... полностью меня разочаровали: «зимянинская жвачка», идеологическая рутина, набор прописных истин, пустословие. Такое впечатление, что меня просто хотели скомпрометировать». Выручили Горбачева Яковлев, Медведев, Болдин, которые подготовили «содержательный и серьезный» материал. Зимянин же «был недоволен, капризничал». «Я дал ему подготовленный доклад. Мне он особых замечаний не сделал, лишь попросил дать более выпукло тезис о руководящей роли партии на нынешнем этапе, а вот в беседе с Медведевым прямо сказал, что доклад не получился».

Виталий Воротников, бывший Председатель Совета Министров РСФСР и Председатель Президиума Верховного Совета республики, с 1983 по 1990 гг. — член Политбюро ЦК КПСС, так характеризует Зимянина: «Опытный газетчик, поработавший и на дипломатическом поприще. Человек эрудированный, открытый, скромный, контактный, несколько эмоциональный. К нему относились с уважением».

Врублевский, помощник руководителя коммунистов Украины, члена Политбюро ЦК КПСС Щербицкого, написал после поездки в Болгарию: «В состав делегации входил Зимянин, секретарь ЦК КПСС по идеологии. Человек холерического темперамента, бывший партизан и ужасный матерщинник, он вообще-то был незлобивым человеком, открытым и простым. Но сама мысль о том, что он представляет руководство Советского Союза, великой сверхдержавы, превращала его в сноба и шовиниста».

О том, что Зимянин не чурался крепких слов и выражений, упоминает и долголетний сотрудник Международного отдела ЦК, помощник Горбачева А. С. Черняев. 11 ноября 1982 года в 11 часов утра, как пишет Черняев в своих дневниках, опубликованных в 1995 году и озаглавленных «Моя жизнь и мое время», его срочно вызвал Зимянин. «Вхожу в кабинет. Протягивает руку, в другой держит телефонную трубку. Говорит Щелокову (министр внутренних дел СССР. — *М. Б.*): «Отмени концерт по случаю Дня милиции». Потом тут же Лапину (председатель Гостелерадио СССР. — *М. Б.*): «Отмени все легкие передачи». Звонит телефон. Спрашивают: заделывать ли подпись Брежнева под посланием английскому премьеру? М. В. ответил многословным матом».

В книге «Шесть лет с Горбачевым» Черняев привел еще один занятный эпизод. «Рассказал мне А. Н. (Яковлев. — *М.Б.*) о таком своем разговоре с Зимяниным. Тот стал ему пенять: мол, смотри, что делается в литературных журналах — евреи нападают на русскую классику и вообще на «несвоих» писателей. Надо бы поправить. На это Саша ему будто бы ответствовал: нападают не только евреи и

не только на русских писателей, а на почвенническую тенденцию, на современное славянофильство».

* * *

Сам Михаил Васильевич больше гордился, что по мере сил и возможностей пытался противостоять тем, кого он презрительно называл «манипуляторами», политическим перевертышам типа Яковлева, а тем, что во многом благодаря его усилиям удалось наконец решить вопрос, затрагивавший судьбы сотен тысяч людей.

В 1970-е годы в ЦК КПСС буквально хлынул поток писем, в которых участники подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны жаловались на несправедливое к ним отношение властей, которые не признавали их заслуг в борьбе с фашистскими оккупантами. Особенно много жалоб приходило с Украины. Имена многих подпольщиков по соображениям конспирации не заносились в партизанские списки, и это служило поводом для отказа в выдаче ветеранских удостоверений.

В течение трех дней представители партийных органов Украины, Белоруссии, ряда областей России, а также военные и чекисты обсуждали эту проблему. Участники совещания, созванного по инициативе Зимянина, единогласно решили: когда участие в партизанских операциях и в подполье подтверждается свидетелями, участник получает соответствующие документы. Зимянин предложил приравнять подпольщиков к партизанам. Этого не было сделано, несмотря на многочисленные обращения, ни при Сталине, ни при Хрущеве. А ведь борьба в подполье была не менее рискованной, чем сражения в партизанских отрядах, и часто заканчивалась гибелью подпольщиков в фашистских застенках в полной безвестности.

Первоначально Суслов воспринял это предложение с сомнением: «Миша, а не получим ли мы в результате тысяч сто липовых партизан?»

— Исключить такую вероятность нельзя, зато миллионы, наконец, почувствуют справедливое к себе отношение. Им будет чем гордиться, будет что рассказать внукам, — ответил Зимянин.

К чести Суслова, он колебался недолго. Доложил Брежневу, а тот сразу дал согласие.

За два года напряженной работы партийцев, военных, чекистов число участников партизанского движения на Украине увеличилось на миллион и составило полтора миллиона человек. К радости своей получили удостоверения сотни тысяч борцов с фашизмом в России и многострадальной Белоруссии, которая потеряла в войне более трех с половиной миллионов своих граждан, каждого третьего...

* * *

Особенно остро сознавая быстротечность отведенного ему времени, Зимянин спешил изложить на бумаге самое важное из того, что он, мучаясь ночами от переполнявших его беспокойных размышлений, твердо определил для себя в конце жизни:

«Я во многом грешен. Многого не сделал. О многом не подумал. Во многом заблуждался. Допустил много ошибок. Утешает лишь то, что всегда старался честно служить Родине. С этим и умру!

Люблю мое поколение, некогда могучее, а теперь напоминающее вырубленный лес. Нам выпала честь трудиться и сражаться на протяжении большей части уходящего двадцатого века, по моему разумению, одного из самых противоречивых периодов в жизни всего человечества».

Такова последняя запись в рукописи. Он уходил из жизни с верой в непобедимость народа, частицей которого он себя ощущал, в торжество идеи славянского братства, возрождение многонационального Отечества.

Он ушел непобежденным.

ВИТАЛИЙ КИРПИЧЕНКО

Отдельная вертолетная, или ДОРОГАМИ СЛАВЫ

Когда мне предложили написать о преемственности поколений в 181-й боевой вертолетной базе, я с радостью согласился, так как в моей военной биографии это воинское подразделение занимает особое место.

Это было недавно, это было давно…

Служил я в Среднеазиатском военном округе, в городе Фрунзе (ныне Бишкек). После двух лет службы в должности начальника ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть) получил новую должность в инженерно-авиационной службе 73-й Воздушной армии и ждал команды на переезд. И вот однажды позвонили из штаба армии командиру моего полка и передали приказ срочно направить меня в город Темиртау, который был, по сути, окраиной Караганды. Там базировалась только что созданная отдельная вертолетная эскадрилья. Цель командировки: участие в расследовании летного происшествия, а точнее, катастрофы вертолета Ми-8т. Погибли четыре человека — экипаж и инструктор. За мной «зашел» из Алма-Аты самолет Ан-12, и я, захватив свой «тревожный чемоданчик», который всегда был под рукой, присоединился к членам комиссии, летевшим в этом же самолете.

Атмосфера молчаливо-мрачная. Угрюмые лица. Не слышно не только смеха или веселого говорка, но и на мое приветствие, по-моему, никто не ответил.

После краткого доклада командира эскадрильи о происшествии вылетели вертолетом к месту катастрофы. Это была моя первая катастрофа, и она меня поразила. Разбросанные по полю части вертолета, обгоревшие тела летчиков, выжженные плешины не успевшего зазеленеть после зимы пригорка… Сильно пахло гарью, пеплом и еще чем-то приторным…

Сказали, что у погибшего лейтенанта, бортового техника, той ночью родился сын. Род продолжится...

Так я познакомился с праматерью 181-го ОВП ПСС (отдельного вертолетного полка поисково-спасательной службы) — эскадрильей и ее составом. Это было весной 1971 года. И до ноября 1978 года я был тесно связан с этой эскадрильей, переросшей в скором времени в полк. И хорошее, и плохое, происходившее там, стало и моею радостью и болью.

Катастрофа Ми-6, за ней вторая, и тоже Ми-6. В первой погибли три человека, во второй — семь. Один из них — молодой летчик-казах, летевший на площадку, где должен был руководить прилетающими вертолетами. Он мне запомнился рассказами о своем отце и его фронтовом друге-украинце:

«…В кои годы собрался друг и приехал с Украины, да не с пустыми руками, а привез три саженца яблонек. Высадили они их перед юртой в степи, посидели, попили крепкого душистого чаю, погоревали, вспомнив тех, кто не дожил до победы, и уехал друг на свою Украину, а казах запечалился пуще прежнего.

— Что случилось, ата? Почему ты такой мрачный? — спросил его сын-летчик.

— Эти деревья мне всю степь загородили, — ответил отец. — Если бы не друг посадил, я бы их выдернул».

— Видите ли, ему степи мало, — смеялся сын, успевший повидать кроме степи и лес, и горы, и сутолоку больших городов.

В ходе расследования причин второй катастрофы выяснилось, что летчики пожертвовали собой, чтобы спасти тех, кто был на земле.

Летели они над каким-то водоемом под Джамбулом, к которому стекались в конце дня изнывающие от жары жители города. Вдруг вертолет бешено затрясло, и он тут же перестал слушаться рулей. Надо срочно садиться, а внизу люди. Бортмеханик, отстрелив аварийную дверь, стал размахивать курткой от комбинезона, стараясь таким образом привлечь внимание отдыхающих, но те понять ничего не могли: кружится, снижаясь, вертолет, и кто-то зачем-то машет тряпкой. Развлекаются, наверное, так летчики... Кое-как перелетев озерцо, вертолет рухнул на горячий песок и взорвался.

Почти весь город вышел проводить героев в последний путь.

Третья катастрофа, и снова Ми-6. Вертолет рухнул на несжатое поле, выжег несколько гектаров. Изуродованное тело командира нашли недалеко от вертолета. Штурмана, лейтенанта, — в метрах пятидесяти, с парашютом, превратившимся в спекшийся жгут: пытался летчик выпрыгнуть или парашют раскрылся случайно, кто теперь узнает?

Причина катастрофы осталась не выясненной до конца. «Черные ящики» (на самом деле — оранжевые) не показали отказа техники, но были запредельные отклонения рулей. Очевидно, экипаж допустил ошибку в пилотировании, об этом говорит и то, что ими ни слова не было сказано по радио о случившемся. Уже известно, что, попав в критические условия по своей вине, летчики в эфир об этом не передают, а пытаются молча исправить положение.

В мои обязанности входило выяснение обстоятельств таких драматических эпизодов в нелегкой профессии вертолетчиков. Я о них вспоминаю еще и потому, чтобы рассказать читателю, что эта работа не из легких: в небе могут случиться всякие непредвиденные обстоятельства. Это профессия для смелых и мужественных.

На последней катастрофе я близко познакомился с будущим Героем Советского Союза белорусом Василием Васильевичем Щербаковым. Был он тогда лейтенантом. Симпатичный, крепко сложенный, улыбчивый. Не заискивал перед старшими, смело отстаивал свою точку зрения.

Участвовали мы с ним в одном авантюрном эксперименте. В авантюрном — не совсем верно, скорее испытательном.

Из Главного штаба ВВС пришла команда готовить летчиков к полетам в горах. Знающие вертолетчики понимают, насколько трудно взлетать и садиться в горах, да еще при высокой температуре воздуха. Вертолет перестает быть вертолетом. Он не висит даже с пустыми баками. На наше счастье, по соседству с нами, в Алма-Ате, находился вертолетный полк пограничников — в горах они летали постоянно. Наши летчики попросили выделить одного опытного инструктора, который дал бы несколько уроков нашим летчикам. И вот с подполковником-пограничником мы полетели в Пржевальск, где нашли площадку на высоте 3500 метров. До того никто из нас не знал, что есть такой способ взлета — с переднего колеса. На это лучше не смотреть со стороны — зрелище не для слабонервных. Так и кажется, что вот сейчас вертолет споткнется и перекинется на спину. Слава Богу, обошлось без этого.

«Авантюру» мы провернули одновременно с полетами в горах, решив проверить качества и возможности наших вертолетов. Запаслись кислородными масками и баллонами и пошли «покорять» высоту. За штурвалом — инспектор 73-й Воздушной армии подполковник Терентьев Константин Николаевич, на правом сиденье — майор Кондратьев Николай Васильевич, между ними, на одном сиденье с борттехником, пристроился я, майор Кирпиченко Виталий Яковлевич; в руках у меня, как у всякого инженера, блокнот и карандаш. За моей спиной дышит кислородом Василий Щербаков, в то время уже капитан.

Вот мы «доскребли до потолка», обозначенного всеми документами, поднимаемся выше. Получается. Вот уже 500 метров сверху. Идет. Слегка потряхивает. 1000 метров. «Ползет» с трудом, уже хорошо потряхивает, временами как по булыжникам на железных колесах… Я списываю показания приборов, доволен, что параметры в норме. Смотреть с высоты на нагромождения скал как-то неуютно. Посовещавшись, выше не стали взлетать.

Прилетев в Алма-Ату, сразу же засел за таблицы и графики, чтобы порадовать руководство ВВС нашими успехами в испытании вертолета. Дело близилось к концу, и тут ко мне прибежал Терентьев и предложил срочно все сжечь, ибо из Москвы пригрозили приехать и наказать нас примерно за «партизанщину».

Эскадрилья, а затем и полк, создавались в основном для поиска КЛА (космических летательных аппаратов), одновременно экипажи дежурили в летных полках во время полетов. Там тоже было достаточно сложностей.

…В истребительном полку разбился на ночных полетах самолет. К месту катастрофы вылетел дежурный вертолет, на борту которого были командир полка, доктор, члены поисковой группы и еще несколько человек. При посадке возле догорающего самолета вертолет попал в «вихревое кольцо» (своего рода безвоздушный колодец), потерял тягу и управление, упал и сгорел рядом с самолетом, похоронив под обломками всех пассажиров и экипаж.

Однажды зимой, а зимы в Казахстане такие, что Сибирь «позавидует», в степи приземлился необитаемый КЛА — его быстро нашли вертолетчики. Ми-6 сел рядом, чтобы забрать аппарат на внешнюю подвеску, и тут случилось непредвиденное: одна из лопастей не стала на упор. Застыло масло в шарнире. Мороз тогда был -47° по Цельсию.

Восстановить вертолет, эвакуировать КЛА было приказано мне. Гражданским самолетом прилетел я в Караганду в полночь. В номере гостиницы аэропорта переночевал, а с рассветом, все с тем же Николаем Кондратьевым, уже подполковником и командиром эскадрильи, взлетели, окутанные снежным вихрем, и полетели к окончательно замороженному вертолету. По пути видели недвижимые «гусеницы» из тракторов и автомобилей, отрезанные спереди и сзади снежными заносами. Люди у дымных костров ждали освободителей из снежного плена.

Вертолет обреченно свесил лопасти, заиндевел, и надежд у него на благополучный исход никаких не было.

Летчики и спецохрана КЛА были чумазые как черти. Они всю ночь жгли автомобильные покрышки, тряпки, смоченные в керосине, и какие-то смолистые шпалы, что им привезли по распоряжению председателя ближайшего села, они же, селяне, утром привезли термос с горячей пищей, пирожки и чай. Приехал и подъемный кран, чтобы поднять провалившуюся лопасть.

Долго мы грели вертолет маленькими подогревателями, взятыми для такого случая. Потом крановщику удалось поставить лопасть как надо, на упор.

Работая по космосу, многие экипажи прекрасно выполняли задачи по поиску и эвакуации космонавтов. Нашли и вывезли космонавтов А. Леонова и В. Кубасова, работавших по программе «Аполлон»—«Союз». Отличились при этом экипажи подполковника Кондратьева, майоров Васильева, Ульянова, капитанов Ильина, Нюнина, старшего лейтенанта Коряковского и известного уже нам лейтенанта Щербакова.

На борту одного вертолета Ми-8 было около десятка росписей космонавтов. И Родина отмечала вертолетчиков, награждая их орденами и медалями.

Рассказывали случай, произошедший якобы со Щербаковым, ставшим уже Героем.

В Москве, в военном универмаге, раньше сидел в кабинке мастер и клеил орденские планки. Оказался среди заказчиков и наш Василий Васильевич.

— Орден Ленина, орден Красной Звезды… — диктует он мастеру.

— Звезду Героя не надо? — приняв за шутку слова молодого офицера, спросил мастер.

— Надо. Но я не все еще ордена перечислил, — услышал он в ответ, а увидев все награды на кителе, стал извиняться.

Рождение полка

Формированию полка командование 73-й Воздушной армии и Главный штаб ВВС придавали особое значение: полк не рядовой, и задачи у него сложные и

важные. Распоряжение было — набирать наиболее подготовленных, грамотных и дисциплинированных офицеров и прапорщиков.

Аэродром Темиртау на территории брошенного по причине нерентабельности кирпичного завода (глину надо было завозить из дальних стран) если кое-как устраивал эскадрилью, то для полка был абсолютно непригоден. И группа офицеров штаба 73-й ВА, в их числе и я, полетела по Округу, а это три немаленьких республики (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) в поисках подходящего места базирования. Условия просты: достаточность территории, жилья и отсутствие свирепых ветров. Последнее самое сложное, потому что, куда бы мы ни заглянули, везде этого ветра с избытком. По этой причине отказались от гарнизона Аягуз. Там огромная бетонная полоса, есть где жить офицерам с семьями, но… бывают сильные ветры.

Наш прилет туда совпал с грандиозными учениями десантников, с большим количеством людей и техники. Ранним утром я шел по пустынной взлетной полосе в сторону самолетов Ан-12, — там должен был оценить условия для размещения наших вертолетов. На полпути догнал меня уазик, остановился, пожилой человек в военной форме позвал меня: «Садись!»

Поблагодарив, сел на заднее сиденье, за спиной пригласившего меня человека. Что-то было знакомое в облике генерала (определил по фуражке). Подъехали к первому самолету, оттуда вышел офицер и доложил о происшествии спокойным, ровным голосом. Они вошли в самолет, заглянул туда и я. На полу, на расстеленном брезенте, прикрытые таким же брезентом, лежали тела десантников. После я узнал, что погибли тогда при выброске пять человек. Причина: внезапный сильный порыв ветра побил десантников о бетон, а один лейтенант погиб от удушения стропой парашюта.

А пожилой человек был не кем иным, как главнокомандующим Воздушно-десантными войсками СССР Василием Маргеловым.

Меня удивила простота взаимоотношений между главкомом и командиром взвода. Они были просты по-человечески и больше походили на мирную беседу отца с сыном, объединенных одним делом, одной бедой. Не зря, наверное, души не чаяли в своем «дяде Васе» командиры ВДВ всех рангов.

Прилетели еще в один молодой гарнизон, там уже расположился полк истребителей МиГ-21. Полоса протянута сбоку возвышенности и отличалась от других излишней кривизной. Летчики говорили, что взлетают и садятся они, лежа на боку. Для вертолетов такая полоса совсем не пригодна.

Остановились на Джамбуле. И поле огромное, и аэродром гражданский по соседству, а погода — благодать! Солнышко, тишина.

Не знали мы тогда, что весной следующего года это благодатное тихое место достигнет ураган силой свыше 50 метров в секунду (прибор рассчитан на эту шкалу) и растреплет весь наш полк. Будут вырываться с корнем вековые деревья, валиться бетонные опоры электропередач, опрокидываться контейнеры и самолеты Ан-2 гражданской авиации.

На вертолетах тогда вывернуло все лопасти несущих винтов, побило законцовки о землю. Насколько сильны были порывы ветра, можно судить по тому, как изгибались эти лопасти на длинноногих вертолетах-кранах Ми-10. Они бились концами о землю. Попытки удержать их были безуспешны: гроздьями мотались люди на фалах (страховочный трос) под угрозой опасности попасть под удар силой не менее стопудового молота.

Потом в спешном порядке восстанавливали боеготовность полка. За этим тогда строго следили, не дай бог снизиться исправности ниже 90 процентов! ЧП государственного масштаба!

Полки были в постоянной боевой готовности, летчики совершенствовали свое мастерство, техники содержали самолеты и вертолеты в высокой степени исправности и готовы были восстанавливать их в случае боевых повреждений в кратчайшие сроки. Постоянными тренировками сокращалось время подготовки самолетов и вертолетов по боевой тревоге, и полки взлетали, снаряженные боекомплектами, в течение 20—25 минут.

Офицерам штаба ВА вменялось в обязанность обучать и летчиков, и техников. Применялись различные формы обучения, в том числе и зачеты, семинары, лекции.

Я всегда, при любом случае, говорил летчикам, что их действия должны быть разумными, грамотными, единственно правильными в данной ситуации. Приводил в пример слова известного летчика-испытателя полковника Анохина: «Если летчик идет на полеты как на подвиг, значит, он не готов к полетам». Летчик должен знать, как ему поступать в любом экстремальном случае, действия его должны быть выверены и отработаны до автоматизма.

Надеюсь, мои советы кому-то пригодились. Ведь скоро полк ушел в Афганистан. Там выживали те, кто действовал дерзко, нестандартно, непривычно для врага.

Под небом афганским

Афганистан вписал в историю полка как славные, так и трагические страницы.

Вошел он туда 22 декабря 1979 года, и многое стало для него первым. Первый полет над территорией воюющего Афганистана в этот же день совершил летчик первого класса капитан Владимир Мурманцев. 30 декабря впервые в ходе боевых действий был подбит вертолет Ми-8, пилотируемый заместителем командира полка по летной подготовке майором Гайнутдиновым. 6 января 1980 года впервые командиром экипажа капитаном Корсаковым был спасен экипаж капитана Ушакова, вертолет которого был подбит и сел вынужденно на площадку, окруженную моджахедами. 11 февраля первое ранение, и получил его бортовой техник-воздушный стрелок прапорщик Карпов. 12 февраля впервые участвовал в уничтожении банд летчик афганских ВВС майор Нияз, в паре с капитаном Мацкевичем. 3 марта впервые в армейской авиации на вертолетах Ми-6 с высокогорной площадки — 2500 м — экипажами майоров Лапшина, Овчинникова, Осадчего, капитана Лескова и Адаева перебазированы установки «град».

28 апреля 1980 года первый заместитель Министра обороны СССР маршал Советского Союза С. Л. Соколов вручил первые золотые звезды Героев Советского Союза майорам Гайнутдинову Вячеславу Карибуловичу и Щербакову Василию Васильевичу.

Героические дела летчиков полка можно перечислять бесконечно. Тут и тяжело раненный летчик-штурман лейтенант Останин, который потерял сознание только после того, как им был уничтожен расчет ДШК (десантно-штурмовой комплекс). Тут и спасение в центре минометного огня экипажем капитана Адырова экипажа со сбитого вертолета Ми-24. Тут и эвакуация вертолетчиками раненых с поля боя, днем и ночью, в любых метеоусловиях. Ночью, при неблагоприятной погоде, с ограниченной площадки, на высоте 3950 метров, трижды вывозил раненых летчиков со сбитых вертолетов капитан Мартыненко...

Честь и Слава им, героям, не всегда осознающим свой героизм, а чаще принимающим его за повседневный рядовой труд солдата!

Вывели 181-й ОВП из ДРА 6 августа 1988 года, и к моему удивлению, оказался он не в Джамбуле, откуда уходил в Афганистан, а в Пружанах. Я встречал его. Волнения переполняли меня, и было сложно скрывать их. Даже не предполагал, что способен на такие чувства. Родной, близкий мне полк. Как всякий полк, объединял он большой коллектив не только военными задачами, но и житейскими. Все у всех на виду. Беда одного — беда всех, счастье одного — радость на всех. Это большая семья, где командир — отец. Он пожурит нерадивого сына, похвалит любимого и всем поможет — плохим и хорошим. Это его отеческий долг.

Выключились двигатели, остановились винты последнего приземлившегося вертолета, раскрылась дверь, опустилась лесенка, показался молодой, невысокого роста, с крепким загаром (на руках, лице и шее) бортовой техник, доложил, что техника работала без замечаний.

В полку из старых знакомых — никого. Знаю, что в этом полку служил в Афганистане Гайнутдинов. Это бывший алмаатинец, летал на вертолетах Ми-8.

Если рассуждать: герои рождаются или воспитываются, то для него подходит первое. Он определен Богом и Природой в герои. Бурлив, непоседлив, активен — в лучшем смысле этого слова — и в то же время скромен, интеллигентен, красив лицом и статью.

Обучаясь в Сызранском военном авиационном училище летчиков, параллельно занимался боксом, увлекался музыкой, любил поэзию. Наизусть читал стихи Александра Блока, Мусы Джалиля.

В декабре 1979 года в составе 181-го ОВП майор Гайнутдинов В. К., летчик 1-го класса, активно включился в работу по оказанию помощи афганскому народу. Обеспечивал охрану кишлаков и дорог, перевозил крестьян на поля, вывозил больных и раненых. Однажды в сложную погоду, практически при нулевой видимости, вывез он из дальнего кишлака афганского мальчишку, которого ранил ножом бандит. Владея языком народностей Афганистана, часто беседовал со старейшинами, популярно объясняя им цели присутствия войск Советского Союза на их территории.

Был отчаянно смел. Дорожил боевой дружбой. Под огнем противника неоднократно спасал экипажи со сбитых вертолетов и сам был сбит. За короткое пребывание в Афганистане совершил 398 боевых вылетов. 17 августа 1980 г. погиб при выполнении боевого задания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.4.1980 г. майору Гайнутдинову В. К. за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра обороны СССР № 0182 от 4 сентября 1980 г. майор Гайнутдинов В. К. навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи 181-го ОВП.

На Героя представляли не только Щербакова и Гайнутдинова, но и других летчиков этого полка, но не все были удостоены этого высокого звания. Радует одно: выполняли свой воинский долг офицеры-вертолетчики добросовестно, геройски. Все они заслуживают этого высокого звания! Посудите сами, разве это не героизм — лететь на виду у хорошо вооруженного противника и знать, что этот полет может быть последним? Если сравнивать с летчиками-штурмовиками, то расклад не в пользу вертолетчиков: и скорости поменьше, и размеры побольше, в горах не развернуться, всегда на виду у противника, а у него «стингеры», крупнокалиберные пулеметы, и ты как на ладони… и везде фронт, везде стреляют.

Да и наземному техническому составу хватало тревог и волнений, и не только этого. Аэродромы и площадки нередко обстреливались минометным огнем и снайперами. Была реальная возможность превратиться в «груз-200» и у них.

Всем погибшим — светлая память!

Высокого звания Героя Советского Союза в полку удостоены пять человек: подполковник Ковалев Николай Иванович, командир вертолетной эскадрильи (посмертно); подполковник Малышев Николай Иванович, заместитель командира вертолетной эскадрильи по политической части; подполковник Письменный Вячеслав Михайлович, командир полка, выполнивший более 800 (!) боевых вылетов; майор Гайнутдинов Вячеслав Карибулович, заместитель командира полка по летной подготовке. Погиб при выполнении боевого задания; майор Щербаков Василий Васильевич, командир вертолетной эскадрильи. Кроме многих героических дел ему посчастливилось спасти экипаж сбитого вертолета Ми-8, командиром которого был его свояк капитан Копчиков В. Ф. Уверен, будь на месте свояка любой другой, Щербаков, не задумываясь, сделал бы то же самое, потому что в крови настоящего военного человека живет суворовский постулат: «Сам погибай, а товарища выручай!» Да любой настоящий человек поступает так. От природы. Известны случаи, когда не умеющий плавать кидается в воду спасать утопающего.

Боевые потери полка — к сожалению, без них не обходится ни одна, даже маленькая, война — составляют: 51 человек, 33 вертолета.

Навечно в памяти

Слившись с 65-м ОВП, 181-й ОВП превратился в 181-ю ОВБ (отдельную вертолетную базу), впоследствии переименованную в 181-ю БВБ (боевую вертолетную базу).

В 65-м ОВП начинал службу летчик Водолажский Василий Александрович, выпускник 1959 года 160-го военного авиационного училища. От лейтенанта до подполковника был его карьерный рост в этом полку, и то, что был назначен на должность заместителя корпуса по авиации, — заслуга его и тех командиров, что воспитали в нем необходимые качества защитника Родины.

Так получилось, что в трудное для человечества время, когда вопрос жизни и смерти касался миллионов людей, не стал он прятаться за спины подчиненных. В течение трех долгих месяцев гасил он смертоносные нуклиды, 120 вылетов, 300 тонн специальной жидкости сбросил в районе ЧАЭС. Выбрав «свои», допустимые, рентгены в первые 15 дней, он не оставил это поле битвы, хотя имел на это полное право, а продолжал выполнять опасную для своей жизни задачу.

Троекратно допустимой дозы облучения хватило на очень короткую жизнь. Указом Президента Российской Федерации от 17.2.1995 г. № 149 за мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, полковнику Водолажскому В. А. присвоено звание Героя Российской Федерации. Его именем названа улица в военном городке Уручье города Минска, установлена мемориальная доска на фасаде дома, где жил последние годы герой, ценой своей жизни спасший тысячи людей. 12 августа 1999 г. Приказом Министра обороны Республики Беларусь полковник Водолажский В. А. навечно зачислен в списки личного состава 65-й транспортно-боевой вертолетной базы. Впоследствии, в связи с реформированием этой части было принято решение о зачислении его в списки 181-й БВБ.

Не один раз встречались мы с ним в 76-м ОВП, который ему подчинялся напрямую, и я там был не редким гостем. Часто беседовали в гостинице серыми зимними вечерами за чашкой чая. Запомнился его рассказ, как он мальчишкой видел эсэсовцев, входивших в захваченный Харьков.

— Черная форма, белые рубашки, блестящие сапоги, четкий шаг, — тихо говорил он. — А тут у стены наш умирающий боец возле искореженного пулемета. Из строя вышел офицер и вонзил кортик в сердце солдата, и не стал его вынимать…

Да, судьба, не спрашивая нас, вонзает нам в сердца кортики.

* * *

Командир базы полковник Желткевич Иван Вацлавович, его заместитель — полковник Патеюк Юрий Михайлович тоже прошли через Афганистан, имеют боевые награды, в авиации не случайные люди. Начинали службу лейтенантами в пугающем многих Забайкалье (знаменитая Могоча), после холодной Сибири «грелись» в Афгане, потом Нерчинск, Аягуз, Уч-Арал… Кому, как не им, передавать свой богатый и боевой, и жизненный опыт молодому поколению? И они стремятся сделать из молодых, не оперившихся еще птенцов настоящих асов, настоящих мужчин.

Готовить летчика — дело не простое. Прежде всего, летчик должен летать, а чтобы летать, надо иметь вертолеты, причем, надежные и с запасом ресурса. Вертолеты в части не новые, но инженерно-технический состав поддерживает их в хорошем, исправном состоянии, и ресурса достаточно. «Вот бы топлива побольше, — говорят командиры, — тогда бы мы увеличили налет на каждого летчика, ведь от этого зависит мастерство.

Летчиков готовят на авиационном факультете Минской военной академии. Будучи курсантами, они проходят стажировку в 181-й БВБ, где им обеспечен необходимый налет, а по окончании Академии большинство, уже летчиками третьего класса, приходят служить сюда. Через два-три года многие пересаживаются с правого сиденья (помощника) на левое (командира).

Многие из молодых летчиков пошли по пути своих родителей, это вселяет большую надежду, что из них выйдут настоящие, преданные авиации люди, спо-

собные на героические подвиги, подобные тем, что совершали их отцы. Капитаны Гнып, Балабушко, Зубарев, Аракчеев сменили своих отцов, и, не вдаваясь глубоко в философию развития общества, можно сказать, не подведут они отцов и дедов, Родину будут защищать достойно.

— Отличаются ли нынешние лейтенанты от нас, тех давних лет лейтенантов? — спросил я у командиров. И они ответили, что большой разницы нет, хотя многое в современном мире могло бы повлиять на их характер и поведение. Может быть, мы были, говорят они, чуточку общительней и менее прагматичны.

— Молодежи нужна помощь, — говорит заместитель командира по идеологической работе подполковник Сухорабский Сергей Витальевич (летчик, поменявший не по своей воле высокое небо истребителя и сверхзвуковые скорости на тихоходный вертолет), — и мы этому придаем большое значение, пожалуй, большее, чем воспитанию молодых офицеров. Иначе и нельзя, ведь мы должны свое дело передать в надежные руки. Школы Пружанского района, а теперь и Волковыска, Кобрина, Бреста, под нашим патронажем: мы у них желанные гости и они у нас частые. Пик общения приходится на ноябрь—апрель. Видели бы вы, как светятся лица у ребят, когда подержатся они за ручку управления боевого вертолета или просто посидят на месте летчика. Экскурсия за экскурсией, и заявки все растут...

Всем известно, что спорт объединяет людей. Наши молодые офицеры свободное время отдают спорту, а с появлением Ледового дворца многие увлеклись хоккеем. Капитан Скращук, командир экипажа, и капитан Кишкович, офицер боевого управления, играют в сборной команде Пружан. Постоянные турниры с участием команд Литвы, Польши, Киева, Львова и команд Беларуси воспитывают у спортсменов и зрителей здоровый дух патриотизма.

В гарнизоне достаточно объемная библиотека, и самое главное, прекрасная заведующая — Васюк Наталья Ивановна. 40% военнослужащих — читатели библиотеки, а вместе с ними дети, жены… Согласитесь, совсем неплохо обстоят дела и на этом немаловажном фронте воспитания человека и гражданина. Очень большая заслуга в этом уважаемой жителями гарнизона Натальи Ивановны. Она посоветует новичку, после краткой с ним беседы, что ему почитать, завсегдатаю предложит интересную новинку… На читательскую конференцию не побоится пригласить знаменитость…

И получается в комплексе, что живет коллектив гарнизона гармоничной полноценной жизнью, живет на окраине, но хорошо чувствует биение пульса всей страны.

Идеологическая работа только со стороны может показаться пустяковой и малоэффективной. На самом же деле в наш бешеный век, напитанный ложью, надо много знать, чтобы если не разбивать наголову любителей искажать историю, то хотя бы достойно защищать ее. Желающих поупражняться в клевете не убывает, а прибывает. Клеветники плодятся, как грибы в ненастную погоду, противодействовать им смогут только подготовленные, грамотные идеологи.

Зачисленные навечно в список 181-й БВБ Герои Советского Союза майор Гайнутдинов Вячеслав Карибулович и Герой Российской Федерации полковник Водолажский Василий Александрович тоже в строю. Об их подвигах узнают все, кто приходит сюда служить. Их мужество и самоотверженность, верность долгу и клятве — пример для молодежи.

А идейно убежденный воин — непобедимый воин. Его можно уничтожить, но нельзя победить. Доказательность, неопровержимые факты должны быть в основе идеологической борьбы, а не голое утверждение. Это хорошо понимают помощники подполковника Сухорабского и под его руководством совершенствуют свое мастерство идеолога и воспитателя, а это ежедневный кропотливый, напряженный труд.

В заключение, как бы мне ни хотелось сказать в упрек молодому поколению словами поэта: «Да, были люди в наше время…», я этого не сделаю. У меня нет таких прав, как и оснований. Я знаю, если понадобится стране, и «нынешнее племя» защитит ее, не жалея жизни. Единственного я им пожелаю: дожить до глубокой старости, чтобы на их веку не было причин и повода стать героями посмертно. Пусть не взрываются атомные электростанции, не затирают льды пароходы, и самое главное, пусть войны останутся в прошлом.

ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

МУЗЫКА ДУХОВНОСТИ

Сегодня передо мной книга, которая не притворяется поэзией. Не претендует на то, чтобы удивлять и потрясать. Она стыдится ярких одежд, натужной громкости и надуманной значительности. Но глубина в ней есть. Глубина непраздного постижения основ бытия и несуетной жизни, плавно перетекающей не только из прошлого в настоящее, но и обратно, в те памятные только нашему подсознанию времена, когда мы и природа были одним нерасторжимым целым.

Эта книга называется так, что даже читатель с филологической подготовкой непременно полезет в словари и ощутит пробел в своем образовании: «Анадыямэна» (по-белорусски). Сознаюсь, что эту процедуру пришлось проделать и мне. И не буду Вас томить, читатель: Анадиомена — это второе имя древнегреческой богини любви Афродиты, которая, как утверждает мифология, возникла из морской пены.

И сама автор книги Галина Дубенецкая возникает из литературного моря наших дней столь же неизвестная широкому читателю, словно второе имя любимой ею персоны древнего мифа, так как это первая ее книга и автор не принадлежит к юной поросли, а уже представляет собой человека на определенном этапе его возрастной и творческой зрелости.

В названии книги почти всегда таится намек или отгадка содержания, тот смысловой ключ, который открывает двери в покои, где живут мысли и чувства автора. Каким случаем занесло это солнцелюбивое создание древней Аттики, Анадиомену, в средние широты белорусской поэзии?

…з глыбіні краявіду ўзыходзіць Анадыямэна
беспрытомнаю зоркай між явы блукаць давідна

Что нам предвещает в книге этот пленительный образ? Ответ — вот он:

...будзе музыка правіць палёт у празрыстыя змены
будзе млосьць і пустэча і ледзьве адолены крок
і тады прашапоча мне рэха што ліст атрыманы
і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок

Похоже, что от Анадиомены-Афродиты автор полета над обманчиво доступной современностью ожидает музыки и только музыки во всем: и в душе, и в отношениях между людьми, и в природе. И музыка действительно правит и дыханием строки, и ее согласным звучанием, и всей ее певучей орфографией с получившим особые права мягким знаком.

імгненьні музыкі стагодзьдзі паўз
вартуе вартае разгубленая муза
агню ў крышталях жудасны запас
у іншасьвеце парасткам прымуся

И поэт подстерегает эти удительные мгновения рождения музыки в жизни человека и природы, не только слыша ее, но и воссоздавая ее словами, связанными почти мелодической гармонией.

...тую музыку мармытаньнем
заглушае рака
яе не чутно за граньнем
гарэзы-красавіка

і ўсё-ткі калі струною
напружыцца слых
кране яго нотай раптоўнай самоты
нібы плач званочкаў малых

то — ільдзінкі ільдзінкі ільдзінкі
сьненьняў зімовых лушпінкі
ціха-ціха ля берага цінькаюць
кінутыя калядой

нізак елачных крышталінкі
дажываюць свае хвілінкі
і дрыжаць галасочкі ценькія
над абуджанаю вадой

і цішэй — і цішэй — і расталі
толькі лёгка ўсхліпваюць хвалі
наскрозь крыштальныя хвалі...

(Каюсь, хотел процитировать не больше трех строф, да рука не остановилась, подвластная этой апрельской мелодии таянья.)

Поневоле соглашаешься с Пушкиным: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает...» Музыкальная основа восприятия жизни чувствуется без исключения во всех стихах Галины Дубенецкой. Ни одного глухого к мелодии стиха и труднопроизносимого сочетания слов в книге нет. Открываю ее наугад:

...заблукаць і згубіцца ў табе
затануць у жамчужнай затоцы
і ня чуць як вецер штомоцы
шкуматае гальлё на вярбе

і аб тым не гадаць і ня ведаць
што вакол заляглі халады
і замглілася ўлоньне вады
і адстала ад выраю лебедзь

колькі вырояў праміне
колькі перлін затояць глыбіні
столькі зім па табе яна стыне
столькі зім ён галосіць па мне

Готовый текст для романса, своеобразная интерпретация пушкинского: «Я вас любил. Любовь еще, быть может...» Хотя само заветное слово в стихотворении и не названо.

Но музыкально воплощенная тема любви в книге «Анадыямэна» — не главная. Эта книга возвращает нас к истокам народной духовности, если духовность понимать широко, вне рамок христианского вероучения или высших достижений человеческого духа в области искусства и литературы. Мы как-то забыли, педалируя уместно, а порой и без надобности, слово «духовность», что жизнь народа издревле, еще с праславянских времен, всегда создавала и вновь возрождала после опустошительных войн и разорений нерукотворный храм устной народной поэзии, неотъемлемой от верований и обрядов, которые ныне с позиции христианства принято считать языческими и как бы примитивными и даже вредными для человеческого сознания и души.

Книга Галины Дубенецкой возвращает нас в тот таинственный и удивительный мир, который населяли на равных правах с людьми домовые, лешие, русал-

ки и прочие существа народной фантазии и такие вот «Багоньнікі», которых Галина своим творческим воображением сумела распознать в зарослях аира и тростника:

там у цэнтры сусьвету сспляліся хмызы
атуліўшы сабой балацінку
у высокім трысьці там Багоньнік сядзіць
і задумліва дзьме ў чарацінку

расьцякуцца наўкол між лазовых кустоў
тыя звабна-самотныя клічы
павыходзяць істоты з патайных кутоў
і дзівосныя зьявяць абліччы

павылазяць насельнікі рэк ды пяскоў
духі нетраў разлогаў ды вышаў
хтосьці зьзяе-мігціць пераліўнай луской
хтосьці пер'ем ядвабным калыша...

И проваливаются сразу куда-то перед мощным напором родной славянской мифологии заграничные Гефесты и Анадиомены и Зевс-громовержец ретируется перед Перуном, чье имя и поныне живет в белорусском языке, обозначая гром и молнию. Так глубоко зачерпнула Галина Дубенецкая из криниц народной праславянской духовности, что вся книга задышала очистительным послегрозовым озоном:

...схаваюся ад перуна
на дне звана
а звон спакою не дае
грыміць пяе

...адбранюся ад стралы
крылом пчалы
а пчолку як што апякло:
пусьці крыло!

...няма ратунку хоць крычы
наўпроць начы

— ці можаш, вір, у каламуць
мяне ўхінуць?

— магу, ды ўсё тут у віры
відно згары

— дык памажы мне схоў знайсьці
ў густым трысьці
— ад той вуды цябе й трысьнёг
не абярог

...куды ж то кінуцца куды
з такой бяды
няма ратунку хоць гукай
за небакрай

...нашто дзяруся на гару?
— гукаць зару!

Наверно, так же или очень близко к тому чувствовал себя под грозой древний полешук, кривич или дрегович, не зная, куда от нее спрятаться. Поэт сумел проникнуть в его мироощущение, побыть в его обличье хотя бы на время создания стихотворения, в его звериной шкуре или самотканой одежде, стряхнуть с себя всю синтетику цивилизации и иззябнуть до первобытной дрожи под еще дохристианским дождем.

Может, я что-то пропустил в разноплановом и не плавном течении современной поэзии, но что-то я не припомню, чтобы в какой-либо стихотворной книге со дна нашего языка пробилась на поверхность мощная и привлекательная языческая струя.

Сто лет назад в жажде обновления и познания русского национального характера припал к этой струе и такой неутомимый и чуткий исследователь старины, как Александр Блок. Вот что он писал в письме к матери 27 ноября 1907 года:

«Место умершего бога Пана заменил униженный, гонимый маг и знахарь, которого уже не открыто, но втихомолку посещают люди, прося его заступничества перед силами природы… Обряды, песни, хороводы, заговоры сближают людей с природой, заставляют понимать ее ночной язык, подражают ее движению. Тесная связь с природой становится новой религией, где нет границ вере в силу слова, в могущество песни, в очарование пляски…

Но человек — сам-друг с природой. Он может привыкнуть к ее маленьким зловредным бесенятам, которые вертятся тут же, в избе, у ног, в борозде, оставленной сохой на ближней опушке. Он заговаривает их так же легко, как легкую болезнь или домашнюю удачу…

В заговоре как бы растут и расправляются какие-то крылья, от него веет широким и туманным полем, дремучим лесом… Тот, кто узнал любовь, помнит о смерти. Душа его расцветает, она способна впивать в себя все цвета и звуки, дышать многообразием мира, причаститься к мировому Причастию… Это душа кудесника, и влюбленный сам становится кудесником. Вот почему любовь, как высшая тайна, — родная стихия заклинаний…»

Самому Блоку «груз» европейской культуры и дворянского воспитания помешал полностью окунуться в стихию народной обрядовой и магической поэзии, тем более писать в системе ее образности. Хотя непреднамеренные, но вполне осознанные шаги в этом направлении он делал, воспевая Русь, в которой

…ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Однако общее движение эстетически рафинированной, оторванной от народа культуры в глубину народного духа было таково, что его ощущали наиболее чуткие представители этой культуры, вовлекая в свой художественный опыт темы и образы из многовекового народного творчества. В музыке — это Стравинский, в живописи — Врубель, в скульптуре — Коненков. В русской поэзии — это вовсе не Есенин, как могло бы показаться на первый взгляд, напитавший городскую поэзию соками родной земли, но утративший в погоне за славой крестьянское миросозерцание. В русской поэзии — это Николай Клюев, который творил вот именно в лоне сказочно-суеверной, мифологически-религиозной стилистики народной поэзии с самого начала и до конца своей трагической судьбы.

Всепоглощающая страсть к заземлению всего идеального, духовного сводит в поэзии Клюева архангелов и святых с горных высот в олонецкую избу, в теплый хлев, где все эти Спасы, Митрии и Миколы помогали мужику в его земных нелегких трудах. Даже шестикрылый серафим у Клюева — не постороннее существо, а скорее «хозяин», «домовой»:

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Идеи возврата к народным истокам словесного творчеста носились в самом воздухе начала прошлого столетия, и не уловить их не могли даже декаденты.

В духе народных заговоров писала даже Зинаида Гиппиус:

Угодила я тебе травой,
зеленями да кашками,
ширью моей луговой,
сердцами золотыми — ромашками...

...Нет, люби ядовитый туман,
что встает с болотца поганого,
подзаборный сухой бурьян,
мужичка моего пьяного...

«Поэту родины»

В этой общественной атмосфере обращения к народным истокам формировался и мужал талант Максима Богдановича, который решал задачу создания поэзии высокого духовного достоинства на базе языка, считавшегося мужицким и непригодным для выражения тонких движений человеческой души. Мог ли он пройти мимо того богатства, которое хранил народ в своих песнях, легендах и мифах?

Он имитирует в своем творчестве дух народной песни, создавая так называемые «Вершы беларускага складу» и «Песні беларускага мужыка», а в цикле стихов «В зачарованном царстве» рисует, правда, только пунктирно, как бы промельком, образы народного суеверия: лешего, русалок, водяного, змеиного царя. Беря у народа пригоршней, он возвращает ему охапкой, создавая такие шедевры, которые невозможно отличить от истинно народной поэзии. Такова песня «Лявоніха», зазвучавшая через полсотни лет в исполнении ансамбля «Песняры», таковы рифмованная сказка «Мушка-зелянушка і камарык — насаты тварык», баллады «Максім і Магдалена», «Вераніка», «Русалка», «Страцім-лебедзь» и другие произведения, написанные на основе народных преданий.

В числе загадочных творений Богдановича и такие, в которых он делает прививку христианства к живому телу народной мифологии, словно бы игнорируя отрицательное отношение церкви к суеверным фантазиям славян.

Бор шумеў, навяваў зводны сон,
А у ім ціха гул раздаваўся, —
Гэта ў небе лясун калыхаўся
На вяршынах вялізных сасон.
Яму месяц маркотны свяціў,
Падымалі крыжы ў неба елі, —
І ў сіняй нябеснай купелі
Душу дзікую ён ахрысціў.

Леший, ставший христианином, — что стоит за этим? Несогласие с церковной догматикой, ограничивающей область чуда рамками православного учения? Стремление придать мифическому выдуманному персонажу черты реального бытования? Или та лирическая дерзость, которая подталкивала некогда и Сергея Есенина к созданию несовместимого хотя бы в рамках поэзии?

...Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Может быть, с легкой руки Максима Богдановича дерзко и опрометчиво смешала в своей поэзии Галина Дубенецкая две противоположные направляющие духовного самоопределения современного человека. Один вектор уводит в языческое прошлое народа с его идолопоклонством и мирным соседством с домашними добрыми божками, другой ориентирует человека на христианское единобожие, на единый универсальный Абсолют, в котором находят разрешение и личная судьба всякого человека, и смысл истории.

Первый вектор позволяет автору придвинуть к нам наше языческое прошлое на расстояние еще не совсем убитого цивилизацией воображения. И вот они

царственно восседают на своих мистических тронах, и уже упомянутый мной Багоннік, и Гаспадарыня Дрыгва Матухна, и Уладар Гары, и пляшут вокруг купальского костра дзеці Ярылы, и зовет их в ночную сырость Белая Кветка, и в извечном круговороте природы пляшут и поют духи недр, рек, озер и болот, наводя страх на человека и наделяя его одновременно поэтическим мироощущением. Как можно со всеми ними справиться, умилостивить или приручить? Только просьбой, заговором, заклятием!

лозы гострыя перавіцеся
сьцежкі простыя закруціцеся
зварухніцеся лёхі вогкія
адгукніцеся ўздыхі дрогкія

разьвіні туман зрэб'е рванае
агарні красу непадманную
ад зьвярыных лап ад быдлячых ног
затулі яе дрыгвяны трысьнёг
ад вужачых джал ад назольных пчол
ясны сон яе сьцеражы анёл

падымайся чмур па-над багнаю
адвядзі далей вочы прагныя
адвядзі далей крокі сьмелыя
прэч ад хораму Кветкі Белае

зоркі зводныя разбрыдзіцеся
страхі сподныя абудзіцеся
падарожнага замарочвайце
на абходны шлях заварочвайце

С подобными увещеваниями, похожими на повеления, поэт (или его лирическая героиня) обращается к любой сказочной нечисти, безусловно веря в магическую силу произнесенного слова, как верили в него наши мудрые предки, скрывшиеся за далью столетий. Вроде бы явных заговоров, обращенных к нечистой силе, в книге и немного, но в той же стилистике написаны и обращения к сестре и брату, родителям (вместе и в отдельности), к некоему Сергею, к поклоннику в состоянии похмелья, к Любови Турбиной, к таинственному И. Б. По одному стихотворению посвящено Адаму Мальдису, Алесю Рязанову и Наталье Арсеньевой.

Из этого факта широкой адресности поэзии Галины Дубенецкой можно сделать вывод как о том, что ее книга была многими ожидаема и теперь многими востребована, что у нее уже априори был свой круг почитателей, и, естественно, после выхода книги он еще более увеличится.

Перечитываю сейчас Зинаиду Гиппиус. Поэтам и культурным читателям это имя говорит о многом. И вдруг, перелистывя ее том и выборочно останавливаясь на тех или иных строках, натыкаюсь на стихотворение, которое мне странным образом напоминает что-то из недавно читанного:

...разъединяя нас, легло
Меж нами темное стекло.
Разбить стекла я не умею,
Молить о помощи не смею,
Приникнув к темному стеклу,
Смотрю в безрадужную мглу,
И страшен мне стеклянный холод...

«Стекло»

Кидаюсь к книге Галины Дубенецкой. Боже мой! Я ошеломлен: у нашей поэтессы есть стихотворение с таким же названием — «Шкло».

...ты ні словам не дапаможаш
назіраючы з вежы ўгары
як у пошуках брамы абходжу
этыкету шкляныя муры

узіраецца ў зьвівы блуканьняў
навакольная плыўкая ймгла
я цябе празрыстаю зданьню
абдымаю праз холад шкла

Поражает и сходство основного образа — стеклянный холод между возлюбленными. Только поэтесса серебряного века русской поэзии надеется разбить эту преграду с помощью Бога, а современница метафизически обнимает любимого сквозь холод стекла. Совпадение более чем странное!

Но о чем оно говорит? То ли о том, что Галина Дубенецкая строит замок своей поэзии на прочном фундаменте предшествующей поэзии (как отечественной, так и русской), то ли о том, что идеи и темы для стихов носятся в околоземном пространстве с незапамятных времен, а всякий истинный поэт — это чувствительный радар для их уловления и воплощения в своем творчестве.

Трогает и побуждает Галину к стихотворчеству не только славянская мифология, но и древнегреческая. Стало хорошей манерой для поэтов демонстрировать свой добротный вкус и высокую образованность аллюзиями из этой последней. Кроме названия сборника к детству европейской культуры в сборнике «Анадыямэна» нас отсылают также упоминания других персонажей древней Аттики: Доротеи, Гефеста, птицы Феникс. Это не больше чем игра с масками, которые примеряются на современных горожан. Ну почему бы не назвать дорогую сестричку Доротеей и «вар’яткай», и не увидеть Гефеста в бородатом незнакомце, лепящем снежную бабу?

Свидетельствуют о крепком культурном фундаменте поэзии Галины Дубенецкой и два эпиграфа из Ветхого Завета (вопрошания бога Яхве, в православной традиции обретшего имя Саваоф). И было бы очень удивительно, если бы подобного фундамента не было у поэтессы, долгое время работавшей в Институте литературы Академии наук, в Скорининском центре и журнале «Крыніца», писавшей стихи всю сознательную жизнь и только перевалив за сорок, «вышедшей» к читателю с книгой.

Явно симпатизируя дохристианской устной словесности своего народа, Галина Дубенецкая, между тем, всем мироощущением остается в лоне привычного вероучения. И об этом свидетельствуют такие ее стихи, как «Балада часу», «Сьцякалі ў сон», «Пасярод вятроў», «Чуеш», «Веру» і особенно «Малітва»:

у капліцы Тваёй
запалі мяне ціхаю сьвечкай
прад аблiччам Тваім
у сутоньні мяне запалі
на зьмярканьні сьвятла
блаславі мой самотны вагеньчык
на зьмярканьні душы і любові
на гэтай зямлі

прад аблiччам Тваім
дай гарэць трапятліва і ясна
чысьціню Тваіх рысаў
на хвілю замгліць не дазволь
а як чэзнуць начну
загасі мяне воляю ўласнай
у бажніцы Тваёй
дзе зьліваюцца міласьць і боль

Это словно выдох самой христианской души, обладательница которой знает, что такое высочайшая добродетель — смирение перед волей Божьей. Замечательна здесь параллель образа: сумерки света и сумерки души и любви.

Но опять же, в этом признании покорности высшему решению, как искра в наэлектризованной среде, вспыхивает элемент языческой дерзости, и просьба к Господу звучит как повеление: загаси меня собственной волей!

Вообще же прописная буква, которой удостаиваются в поэзии Галины Дубенецкой кроме Бога еще и существа народной фантазии и персоналии греческих мифов, иногда и обманывает. Вот в нижеследующем стихотворении с заглавной буквы величается явно не умозрительный образ:

...ноч несвітальная
мроівам чорных пялёсткаў
крые шапоча
зашэптвае мёртвыя раны

...дай абудзіцца
й расьцепліць кавалачак воску
новаю сьвечкай гарэць
да Цябе мой абраны

...ведаю: сонца глыбокага ўтоены ўздым
зрушыцца Імем Тваім

В этой интересной, многонаселенной и самобытной поэзии есть главный образ, который стягивает нити всех сюжетов и поводья всех событий, так или иначе вплетенных в стихотворные гобелены Галины Дубенецкой. Яркая зримость нарисованных ею картин и легких зарисовок побуждает говорить о наличии у автора именно поэтического зрения, весьма отличного от обыденного. И главный образ ее стихов — это трепетное лирическое Я, через которое мы воспринимаем все, что ему, этому Я, угодно было представить нам.

Это образ пленительный, тонко чувствующий не только нашу пышную, а порой и убогую реальность, но и миры иные, отделенные от нас веками минувшего или непроницаемой стеной потусторонности. Это наш проводник в иллюзорном, мифическом и одновременно реальном мире бытия этого одаренного человека — Галины Дубенецкой.

И мироощущение ее резко индивидуально, а значит, редко совпадает с общим и повседневным. И тем оно и привлекательно для нас. Ибо открывает в нашем сиюминутном и обыденном новые грани, новые горизонты, которых мы сами без подсказки со стороны не видим. В данном контексте наша поэтесса не только наш проводник, но в большой мере и вожатый, не только хорошо ориентирующийся в местности своей поэзии, но и знающий, куда вести читателя за ее пределами.

И все же любое самое оригинальное и самобытное Я всегда ищет опору в МЫ, пусть этот круг единомышленников весьма ограничен:

хто мы ў тваім дыханьні
ласкай спасланы вечар
хто мы бязьмежных выспаў
ціхія ўладары
не дазавецца голас
дотык не дакранецца
толькі вагонь трапеча
толькі сьвятло гарыць

болем уцелясьненьня
мовай таёмных знакаў
і асалодай скону
злучаныя маўчым

і не крануцца вусны
белых пялёсткаў маку
і не кранем нічога
і не кранемся нічым

толькі бяссоньне ў кельлі
толькі вагонь на выспе
толькі між зораў зорка
між абразоў абраз
...і ў цішыні дасьпелай
і ў вызваленьні існым
сьвята сустрэчы нашай
спраўдзіць нарэшце нас

Ну и каковы же эти МЫ, к которым причисляет себя автор этих строк? Тихие, скромные властители безграничных островов (поэзии. — *Г. К.*), владеющие, словно маги, тайным знанием, оберегающие все живое, греющиеся у костров, творящие бессонными ночами в тиши келий, то есть весьма немногочисленное племя посвященных. Позиция этого самоопределения в общекультурном пространстве очень напоминает зафиксированную в стихах и декларациях идейную установку русских поэтов-декадентов начала прошлого века: волхвование и чудодейство в творческом уединении, в вознесении над толпой в башне из слоновой кости.

я мечтою ловил уходящие тени,
уходящие тени погасавшего дня.
я на башню всходил, и дрожали ступени,
і дрожали ступени под ногой у меня...

...чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
тем светлее сверкали выси дремлющих гор.
і сияньем прощальным как будто ласкали,
словно нежно ласкали отуманенный взор.

Константин Бальмонт

Кстати, поэт Вячеслав Иванов жил в доме с вполне реальной, в романтическом стиле, мансардой в форме башни, где любили собираться на ночные посиделки авторы и поклонники декаданса в петербургской поэзии.

Эту творческую позицию разделяли с К. Д. Бальмонтом — В. Я. Брюсов, В. И. Иванов, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, М. А. Кузмин, М. А. Волошин и даже в какой-то мере — Александр Блок, пока он находился в плену рыцарского служения средневековому образу Прекрасной Дамы.

На первый взгляд может показаться, что подход Галины Дубенецкой к смыслу и тайне творческого Я решительно иной, чем у ее далеких предшественников — русских символистов. Но чем же островное пустынножительство в компании единомышленников кардинально расходится с уединением в башне, вознесенной над толпой? Практически ничем, если во главу угла поставлено преднамеренное отделение от толпы с ее усредненным, а порой и неразвитым художественным вкусом, с ее чисто обывательскими заботами только лишь о хлебе насущном. Поэтому позиции авторов, разделенных по меньшей мере столетием, практически идентичны.

Но современны ли теперь эти позиции, не отдают ли они эстетикой чистого незаземленного искусства или искусства для искусства? Хочется надеяться, что нет. Потому что лирическая героиня поэзии Галины Дубенецкой не отрывается от ближайших и отдаленных родовых корней, а всматривается в их разветвления и переплетения до той чувствуемой, пусть только интуитивно, глубины, где и происходит их подключение к древнейшей праславянской мифологии. Может быть, на новом витке национального и общеславянского самосознания мы скоро начнем снова поэтизировать нашу родную лесо-озерно-речную при-

роду, наделив душой все, что в ней течет, произрастает и колеблется ветром. Тогда стыдно будет перед лешим-лесовиком разбрасывать по лесу пластиковые бутылки и обертки от чипсов. И не решится рыбак перегораживать речку сетями, опасаясь нарушить покой водяного. От такого возврата к верованиям наших предков только польза.

И Галина Дубенецкая не одинока в своей оглядке на старину. Похожие процессы происходят и в русской поэзии.

в час серебряной ночи в логу соловьином лечь
словно листья в лесу голоса повисают с губ
там русалочьи дочери ночью заводят речь
о сынах человечьих которой который люб

вот забытыми снами всплывают они со дна
лунной плоти заря за столетье не обагрит
этот будет моим навсегда говорит одна
этот суженый мой та что слева ей говорит...

...в деревушке за логом сыны человечьи спят
каждый крестик нательный спросонок стиснул в горсти
а в углу где лампада спасительный образ свят
но из спящих ему никого уже не спасти...

Автор этих строк Алексей Цветков в 1975 году эмигрировал в США и ныне работает на радиостанции «Голос Америки». Но постоянно печатается в российской периодике и, стало быть, активный участник российского литературного процесса и в определенной степени отражает общие тенденции, в данном случае — тягу к народному мифологическому сознанию.

Не знаю, преднамеренно или чисто интуитивно, но автор процитированного стихотворения, так же, как и Максим Богданович, столкнул буквально в четырех последних строчках два типа миросозерцания: христианское и языческое, с явным эмоциональным перевесом последнего — надо же, так сильна нечистая сила, что даже ни крестик, ни лампада не в силах от нее спасти!

Время как категория вечности постоянно перетекает из будущего в настоящее, а из настоящего в прошлое. Это аксиома, с которой не поспоришь, которая наделяет наше сознание печалью, а душу — отчаяньем. Никому не дано остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни было, даже Фаусту с помощью всесильного беса. Это дано только художнику с помощью присущих его роду мастерства инструментов и материалов.

Наш инструмент и материал — слово, графический и звуковой символ объективного мира. Мы ищем новые или обновляем старые взаимосвязи между словами, которые изначально принадлежат вроде бы прошлому. Ведь язык — многовековое создание народа, он дан нам уже готовым априори.

Галине Дубенецкой счастливо удалось обновить современную поэзию своей осознанной оглядкой в праславянское языческое прошлое, проследить свои духовные корни в тех глубинных слоях народного самосознания, которое и поныне определяют наши мысли, чаянья и надежды. И когда мы сжигаем на Масленицу чучело зимы или ищем в Купальскую ночь заветную «папороть-кветку», мы чувствуем, как вместе с нами кружатся в хороводе или бродят по лесам наши неисчислимые предки, мы поем или шепчем их голосами, в нас бьются их сердца и обмирают от наваждений их таинственные души.



АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

РАДУГА НАД ЗИМНИМ ЛЕСОМ

Федор Гуринович. Год — как жизнь, жизнь — как год. Поэма. Издание 2-е, дополненное и переработанное. Мн.: Кнігазбор, 2008.

Иногда приятно освежить в памяти подзабытое. Нередко это происходит случайно. Со мной же недавно как раз такое произошло. Чем больше вчитывался в поэму Федора Гуриновича «Год — как жизнь, жизнь — как год», тем чаще ловил себя на мысли, что с чем-то подобным встречаться уже приходилось. Только где? У какого писателя? Поначалу и вспомнить не мог. Но напряг еще немного память и вздохнул с облегчением. Конечно же, произведение Ф. Гуриновича внутренне перекликается с известными «Порами года» Кристионаса Донелайтиса. С той только разницей, что известный литовский поэт в своей поэме правдиво отразил труд, быт, народные обычаи, прекрасную природу Литвы, а Ф. Гуринович с не меньшим поэтическим мастерством рассказал о том, чем живут белорусы. Во всяком случае, жители деревни Кривичи, что на Солигорщине, откуда Ф. Гуринович родом.

Однако я не берусь утверждать, что автор поэмы «Год — как жизнь, жизнь — как год», взявшись за перо, помнил «Поры года» К. Донелайтиса. Могу допустить также, что с поэмой своего литовского предшественника он и вовсе не знаком. Но внутренняя связь между этими двумя произведениями все же присутствует, ибо в обоих из них незримой нитью проходит любовь к отчему краю, к земле детства. И это лишний раз подтверждает правильность той мысли, что истинный поэт, неизменно оставаясь самим собой, все же не может находиться в изолированном пространстве. В пространстве временном в том числе. Он живет и пишет в какой-то степени не только за себя, но и как бы за других, тех, кто испытывает похожие чувства.

Поэма Ф. Гуриновича — тому хороший и убедительный пример. Написанная в традиционной манере — той самой, которая, как известно, еще называется и классической, она сегодня, когда все больше находится желающих утверждать, что традиционная литература устарела, живительным бальзамом ложится на сердце истинных почитателей поэзии. Все же остальное, что нынче подделывается под нее, не что иное, как, с одной стороны, стремление авторов как-то нивелировать убогость своего таланта, а с другой (это касается критики, поддерживающей подобное творчество) — хотя бы чем-то обратить на себя внимание. По принципу: и в мутной воде иногда можно поймать карася. Глядишь — и будешь замечен. Да бог с ними, всеми этими экспериментаторами, и теми, кто их поддерживает. Читателю все же по-прежнему ближе (и к счастью!) поэзия, позволяющая ощущать жизнь во всем ее многообразии и, прикасаясь к знакомым реалиям, продолжать удивляться, как много на земле прекрасного, притом, и в самом обычном, знакомом тебе.

Бывают же на свете чудеса!
Сияли елки весело в квадратах
Оконных рам.
Звенели голоса,
И гром хлопушек воздух сотрясал.
И первый снег пошел за полчаса
До боя новогоднего курантов.

Так начинается поэма Ф. Гуриновича. Читая ее, мы еще много и много раз будем видеть эти чудеса в большом и малом, в знакомом и непривычном, в обыденном и возвышенном. Ибо «Год — как жизнь, жизнь — как год» написана так, что нельзя не восхищаться тем, что автор, казалось бы, знакомый «материал» подал неожиданно, ново. Впрочем, для этого одного таланта мало, ко всему, нужно еще, чтобы и читатель имел душевную потребность соприкоснуться с прекрасным.

Не сомневаюсь, что у Ф. Гуриновича — именно такой читатель, который всегда с радостью откладывает в сторону газету или журнал, выключает телевизор и радиоприемник, когда есть возможность прочитать новую книгу поэзии. Впрочем, это даже не просто книга. Книгой было первое издание поэмы, вышедшее в 2007 году. Новое же не только дополнено и доработано автором, но и чудесно оформлено, а также исполнено на высоком полиграфическом уровне. Получился своего рода альбом, в котором иллюстрации Владимира Трухана, помещенные в начале каждого раздела, а он соответственно посвящен одному из месяцев года, не просто дополняют его, а словно представляют собой некую композиционную целостность.

Двенадцать месяцев — своего рода двенадцать мини-поэм. Каждая иллюстрация создает определенное настроение, приглашая сначала восхититься впечатляющей картинкой, отображающей особенности того или иного месяца, а потом уже перейти к тексту. Замысел произведения («вдруг в душе проклюнулась поэма») родился не в обычную новогоднюю ночь, а в ту, когда происходил переход «и в новое столетье».

У Ф. Гуриновича появилась возможность, осмысливая определенный отрезок собственной жизни, в чем-то подвести черту и под всем прошедшим столетием. Однако все, даже наиболее важное и существенное, происшедшее в нем, поэт, конечно, охватить не пытался, хотя, при желании, наверное, мог бы ввести в канву произведения то, что стало судьбоносным для всей страны, для белорусского народа. Перед ним, как видно из содержания, стояла другая задача: через собственную судьбу осмыслить жизнь всего послевоенного поколения, а это те, кто родился в конце 40-х — начале 50-х годов прошлого столетия. Но, безусловно, на фоне тех жизненных реалий, с которыми оно соприкасалось. А еще в поэме, что также примечательно, правдиво отражена жизнь деревни до той поры, когда иждивенческое отношение к земле не привело к ее деградации, а человек-труженик превратился в человека-потребителя. Хотя нельзя не отметить и иное: на первом плане все же жизнь самого лирического героя, его детство и юность, которые прошли в деревне, уже в названии которой чувствуются истинно белорусские корни — Кривичи.

«Год — как жизнь, жизнь — как год», ко всему, и своеобразный «быт» души, когда мимо взгляда поэта не проходит ничто, связанное с традиционным деревенским укладом — от крестьянской работы до домашних дел и отдыха. Обо всем этом рассказывается настолько искренне и правдиво, что, не сомневаюсь, читатели, родившиеся на селе, узнают много близкого и знакомого. В одном только им не потягаться с автором поэмы: в его любви к охоте и знании ее секретов. Те страницы, где поэт рассказывает о своем увлечении, пришедшем к нему с малых лет, пронизаны особым лиризмом. Они свежи, как пороша, на которую еще не успела ступить нога человека, и чисты, как воздух, настоянный на запахах леса и пашни.

Иначе и быть не может: настоящая «поэзия — когда болит душа», а душа Ф. Гуриновича болит за все. Правда, резонно появление вопроса: как же быть тогда с охотой, если она оканчивается, как правило, убийством зверя или птицы. На этот вопрос ответил сам автор, рассказав о том, как некогда отец преподал

ему настоящий урок нравственности, убедив, что и на охоте неизменным должно оставаться правило: «Не навреди». Произошло это тогда, когда начинающий охотник весной нечаянно сбил утку: «Иди сюда, сынок! — // Позвал отец, и протянул мне утку, — // Бери свою добычу, да изволь // Ее освежевать, // Вот ножик, ну-тка…». Когда разрезал он птицу, то…

— Смотри, вот видишь — это все утята, —
И на желтки рукою указал.
И я стоял, как на кресте распятый,
И прятал от родителя глаза.

Желтки лежали золотой цепочкой.
Десяток ровно, хоть ты зареви…
Я самок не стрелок, уж это точно.

Поэма Федора Гуриновича блещет яркими метафорами и неожиданными сравнениями. В этом отношении его поэтическое мастерство очень высоко, что уже само по себе заслуживает восхищения. Те или иные тропы — не просто плод авторской фантазии, пусть и щедрой, а умение видеть окружающую жизнь в образах. Точные, но вместе с тем и неординарные сравнения подсказывают ему жизненные наблюдения. А это и ведет к появлению образов, которых ни у кого другого из поэтов не встретишь, ибо они не затасканные, не повторение уже знакомого, другими открытого, пусть и в несколько ином варианте, а плод собственного творчества. Поэтому и такие впечатляющие.

Хотя бы такой пример — свежевание убитого хряка:

Как белый флаг
Распластанное сало
Уверенно испытанным ножом
Кроил отец.
И сало попадало
Под град из крупной соли.

Вообще, Ф. Гуринович достигает особого успеха, рассказывая об охоте, а еще тогда, когда возобновляет в памяти незабываемые картины детства, связанные со всем тем, чем еще недавно жила патриархальная белорусская деревня. Тогда даже обычное занятие превращалось в настоящий праздник. Как, к примеру, выпечка хлеба:

О тот ноздреватый мамин хлеб!
В деже,
Себе облюбовавшей место
У теплой печки,
Бунтовало тесто.
Ему там было и темно, и тесно,
Как птице, что попала ночью в склеп
И бьется в стены каменные слепо.

А кто из родившихся в деревне не помнит, как по весне собирали березовый сок: «Ведерок двадцать в бочку — чтоб закис. // А с ячменем-то да с вощиной если…// Какие «колы» там, какие «пепси». // Березовик — вот это сок! —// Как песня, // В которой и мелодия, и смысл».

Подобных примеров, когда слово слушается Ф. Гуриновича, как скрипка мастера-виртуоза, можно привести немало. Однако нужно быть справедливым: иногда (к счастью, редко) он позволяет себе послабление и тогда появляется то, что вряд ли вызовет восхищение. Вроде бы и сказано неплохо, и мысль правильная, тем не менее за живое, как говорится, не берет. Как в этом случае: «В том и

вопрос преемственности вечный: // Что б ты ни сеял — просо, гречу, рожь, // То, что посеешь — и пожнешь, конечно, // Да и посеешь то же, что пожнешь». Только не стоит забывать, что книга получилась объемной, потому и трудно всегда выдерживать нужную высоту.

Начавшись разделом «Январь» (не считая «Вступления»), поэма постепенно приходит к своему логическому завершению. Уже и декабрь настал, чтобы через некоторое опять уступить место январю. И снова зима, но … «И вдруг — не чудо разве ж? — погляди, // Как засияла радуга над лесом». Как этим не восхититься, а восхищаясь, как не попытаться точнее передать всю эту божественную красоту?! Что поэт и делает, когда пишет строки, исходящие из самой души:

В лучах не по-декабрьски смелых, ярких,
Снежинкам золотым теряя счет,
Божественною триумфальной аркой
Над грешным миром радуга цветет

Редчайшая, тройная!
Посмотрите!
Хоть раз такое видели, друзья?
И для меня поистине открытье
Явленье это дивное.
В нем я
Увидел явь, наполненную смыслом…

Эта явь такова: «Упершись в величавые снега, // Качается широким коромыслом // Тройная чудо-радуга-дуга», вытаскивает из глубин памяти народное поверье, «что будет тот счастливым весь свой век, // Кто это чудо зимнее увидит». Образ радуги над зимним заснеженным лесом обретает глубокий смысл. Поэма, начавшись светло, воистину поэтически, заканчивается на такой же чистой и оптимистической ноте. Поэтому и на душе после прочтения ее точно так же светло и чисто. Радуешься за Ф. Гуриновича, что к нему пришла такая творческая удача. Впрочем, и не могла не прийти, поскольку помимо поэтического таланта он обладает и другим, не менее значимым: глубоко чувствовать и любить природу, которая во все времена была и как бы частью человека, а человек, впитавший в себя всю ее красоту, не может не быть духовно богатым.



Францішак Багушэвіч.
ДУДКА БЕЛАРУСКАЯ.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

Эта книга интересна уже тем, что под одной обложкой представлены, по сути, два сборника: факсимильное издание поэтического первенца Франтишка Богушевича «Дудка беларуская», увидевшего свет осенью 1891 года в краковской типографии В. Анчица и, как известно, напечатанного латинкой, а также современный, кириллический вариант. Трудно не согласиться с автором предисловия «Чароўная дудка» Язепом Янушкевичем: «У гісторыі станаўлення славянскіх літаратур зборнік «Дудка беларуская»... не меў (дый да сёння не мае) аналагаў. Ні... еўрапейскім сучаснікам Багушэвіча — Байрану, Гётэ з Шылерам, Міцкевічу з Славацкім, Пушкіну з Цютчавым і нават Шаўчэнку з Франко, ні потым у XX ст. ягоным наступнікам Купалу, Коласу, Багдановічу — не давялося пісаць да паэтычных слоў уступу, гэтак пафаснага і лёсавызначальнага». Так вслушаемся в призыв Ф. Богушевича, актуальный и сегодня: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмерлі!» Эта книга — совместный проект издательства «Мастацкая літаратура» и Национальной библиотеки Беларуси.

БЕЛАРУСКІЯ АЛЕКСАНДРЫЯ, ТРОЯ, ТРЫШЧАН...
Перакладная белетрыстыка Беларусі XV—XVII стст.
Укладанне, расчытанне, пераклад са старабеларускай мовы, прадмова, каментар Алеся Бразгунова.
Мн.: Беларуская навука, 2009.

Это сорок седьмой том книжного проекта «Беларускі кнігазбор», издание которого осуществляется с 1996 года. Книга «Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан...», несомненно, — чудесный подарок ценителя национальной изящной словесности. Это не оговорка. Произведения, названия которых обозначены на обложке, а также такие, как «Гісторыя пра Атылу, караля угоскага», «Казанне пра Пятра Нядзведку, маскаля», хотя и принадлежат к переводным, органически вписываются в историю белорусской литературы, являются ее составной частью. Они, как видно из названия вступительной статьи, — «ізмарагды ў кароне нашага пісьменства». Да и не надо забывать, что «мастацкая проза разгляданай эпохі існавала пераважна ў форме перакладаў». Тем более отрадно, что этот пласт литературы, по сути, возвращается из забвения, поскольку до недавнего времени если кто и мог познакомиться с этими произведениями, так только студенты-филологи да ученые-словесники.

БЛАКІТНАЯ КНІГА Ў ТВОРАХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ.
Укладанне Алены Масла.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

РИУ «Литература и Искусство» продолжает выпуск своеобразной художественной библиотечки о природе. В ней уже вышли такие издания, как «Чырвоная кніга для дзяцей» (2003) и «Чырвоная кніга ў казках і вершах» (2007) — составителем обоих сборников была Раиса Боровикова, а также «Лясная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў» (2008), подготовленная Алесем Бадаком. И вот «Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў». Ее и полистать приятно (художник Тамара Шелест), а когда начинаешь читать, то не оторваться. Открывается же сборник стихотворением Виктора Гордея «Незабудкі азёр». Среди авторов книги — Раиса Боровикова, Людмила Рублевская, Василь Ширко, Генадь Авласенко, Анатоль Бутевич, Владимир Липский, Алесь Бадак, Катерина Ходасевич-Лисовая и другие. Алесь Карлюкевич выступает с познавательными очерками «Цёплыя назвы Яе Вялікасці Вады», «Скубу не пер’е, ем не мяса», «Падарожжа без межаў», «У блакітным полі», в которых немало интересных фактов о жизни обитателей рек и озер. Особо уверенно чувствует себя

на страницах книги жанр сказки, о чем свидетельствуют сказки составительницы книги Алены Масла «Споведзь мёртвай ракі» и «Крыўды старога Вадзяніка». Вслушиваешься в исповедь мертвой реки и будто слышишь голос самой писательницы: «Хто сказаў вам, што за грошы можна купляць чысціню? За грошы нічога вартае не купляецца: ні сумленне, ні сяброўства, ні каханне, ні вера. За грошы ўсё гэта толькі прадаецца. І чыстая вада — таксама. Нават не вада, а кавалачак бяспекі на вашай кухні, калі справіў той-сёй з вас дарагія ачышчальныя сістэмы». «Блакітная кніга…», как и предыдущие из этой серии, учит детей любить природу, рачительно относиться к ее богатствам.

Канстанцін Вераніцын.
ТАРАС НА ПАРНАСЕ. Паэмы.
Укладанне з тэксталагічнай падрыхтоўкай і каментарыі Юрыя Пацюпы.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

Снова есть возможность прикоснуться к блистательной поэме «Тарас на Парнасе» и почувствовать классическую простоту бессмертных строк: «Ці знаў з вас, братцы, хто Тараса, // Што у палесаўніках быў? // На Пуцявішчы, ля Панаса, // Ён там ля лазні блізка жыў». А также познакомиться, как поэма звучит на русском языке — в переводе Михаила Лозинского. Ну, а тот, кто знает язык английский, может познакомиться и с английским переводом, выполненным Верой Рич. В этой же книге помещена поэма «Два д'яўлы», в которой в юмористической форме отражена проблема пьянства. Предисловие «Твор, які не павінен быў нарадзіцца» написал Язеп Янушкевич. В нем прослеживается история появления поэмы «Тарас на Парнасе», а также рассказывается о том, как благодаря известному исследователю белорусской литературы Геннадию Киселеву было установлено авторство этого произведения, которое не одно десятилетие считалось анонимным. Выпуск книги приурочен к 175-летию со дня рождения Константина Вереницына.

Вінцэсь Каратынскі.
ТВОРЫ.
Укладанне, прадмова і каментарыі Уладзіміра Мархеля.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

«Літаратурная спадчына Вінцэся Каратынскага багатая сваёй чалавечнасцю, духоўнай пульсацыяй думкі, памкненнем да сацыяльнай раўнавагі ў людскіх стасунках. І ў нас, яго нашчадкаў-землякоў, людзей канца XX стагоддзя (в основу положено издание 1994 года. — *А. Б.*), няма аніякага маральнага права адмаўляцца ад гэтага багацця», — так завершает вступительную статью к этой книге Владимир Мархель. Исходя из этого и становится понятным, почему избранные произведения В. Коротынского не просто переизданы, а вышли именно в «Школьнай бібліятэцы»: хотя и писал В. Коротынский на польском языке (за исключением трех стихотворений, а также «Гутаркі старога дзеда» и «Гутаркі двух суседзяў», которые приписываются ему), его творчество является и частью белорусской литературы. В однотомнике «Творы» помещены поэтические произведения В. Коротынского, его статьи, очерки, а также часть эпистолярного наследия.

Вадзім Лакіза.
СТАРАЖЫТНАСЦІ ПОЗНЯГА НЕАЛІТУ І РАННЯГА ПЕРЫЯДУ БРОНЗАВАГА ВЕКУ БЕЛАРУСКАГА ПАНЯМОННЯ.
Мн.: Беларуская навука, 2008.

Казалось бы, поскольку монография кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Вадима Лакизы «Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага панямоння» — издание научное, то она рассчитана только на узкий круг специалистов. Однако любой читатель, желающий побольше узнать о самом далеком прошлом данного региона, независимо от того, кто он по профессии, почерпнет для себя из этой книги немало интересного. Ибо

автор обобщил богатый археологический материал, полученный белорусскими учеными почти за двухсотлетний период исследований, и изложил его в доступной форме. Издание хорошо иллюстрировано: многочисленные рисунки показывают, как выглядели каменные топоры, кремневые ножи, наконечники стрел, изделия из кости и другие предметы, которыми пользовались наши предки.

Ніна Мацяш.
У ПРЫГАРШЧАХ ВЕТРУ.
Вершы, пераклады, эсэ.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Так получилась, что книга «У прыгаршчах ветру» для Нины Матяш стала посмертной, хотя и готовилась к печати еще при ее жизни. Четырнадцатая по счету. Автор предисловия «Трымацца скалы любовi...» Генадь Праневич видит в этом даже какую-то мистичность: «… нязначная дэталь: лічбавая сімволіка зборніка — чатырнаццаты — як апошні, заключны радок у санеце...». Также он приводит примеры того, что сама поэтесса словно чувствовала свой скорый уход в вечность. Возможно. Хотя теперь это уже не так и существенно. Главное другое: в белорусской литературе работала интересная писательница, талант которой хорошо раскрылся в различных жанрах. Сознательно не пишу «была». Ибо Н. Матяш в национальной литературе осталась навсегда. В том числе и произведениями, вошедшими в эту книгу. А это лирика последних лет, венок сонетов «Бабіна лета ў Белаазерску», переводы с французского, польского, украинского языков, эссе.

СМАРГОНЬ.
Фотаальбом.
Укладальнік Святлана Норык.
На беларускай, рускай, англійскай мовах. Мн.: Беларусь, 2009.

Альбом этот — увлекательный рассказ об одном из самых красивых белорусских городов, отметившем в 2003 году свое 500-летие, о чем, кстати, напоминает гранитный памятный знак, установленный в центре Сморгони, автором которого является уроженец этого района известный скульптор Владимир Теребун. На мемориальной доске слова не менее известного поэта Марьяна Дуксы, который, правда, родился на Мядельщине, но связал свою жизнь со Сморгонщиной: «Твае сляды ў стагоддзях засталіся, // Змагла прайсці праз буры і агонь. // Плыві, квітней і велічна свяціся // На хвалях часу, родная Смаргонь». Эти слова приводит в обращении «Да чытача» председатель Сморгонского районного исполнительного комитета Мечислав Гой. Выпуск альбома приурочен ко Дню белорусской письменности и печати, центром проведения в первое воскресенье сентября в прошлом году была Сморгонь. Очерк «Гісторыі Смаргоні» знакомит с вчерашним и сегодняшним днем города. Безусловно, подобные альбомы достойно пополняют документально-художественную летопись нашей страны.

Антон Базылевич

Мікола Шабовіч.
ХОР БОЛЕЙ НЕ СПЯВАЕ.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2008.

Смех — это божественный дар, полученный человеком, врачеватель души и тела. Энергия смеха огромна. Организм в это время насыщается эндорфинами — гормонами счастья, удовольствия.

А вот мы, белорусы, народ очень серьезный. Нет у нас той простодушной веселости и шумности, что отличает южан. Нам присуще серьезное отношение к жизни, к своему месту в ней. Мы — люди занятые, и веселиться нам некогда, посмеяться можно лишь чуть-чуть, если есть веский повод. Себя мы почитаем особенно. Смеяться над собой у нас не принято. Смеяться же над другими опасно. Могут не так понять. Но существует определенный пласт литературы, где смешное созда-

ется профессионально. Не будем сейчас вспоминать комедии или анекдоты, речь пойдет о пародиях на литературные произведения и об эпиграммах.

«Хор болей не спявае» — новая книга поэта и пародиста Миколы Шабовича. Дружескими шаржами ее населил художник Олег Карпович. Надо признать, что она оказалась не просто удачной, а удивительно гармоничной в созвучии слова и образа, созданных талантливыми поэтом и карикатуристом.

М. Шабович — виртуоз-пародист, он смело создает пародии на стихи, ловко жонглируя строками из них и вплетая их в свои произведения. Не остались обделенными его вниманием не только начинающие поэты, но и маститые авторы: В. Шнип, Р. Боровикова, Л. Дранько-Майсюк, М. Метлицкий, В. Марук и другие. Стоит обратить внимание на пародии: «Свавольны цень» и «Просьба інтымнага лірыка» на Л. Дранько-Майсюка, «Малайчына, Віця!» на В. Шнипа, «Песня пра карову» на А. Зекова, «Дачнікі» на Л. Голубовича.

Или вот, к примеру, пародия «Чорны трохкутнік, альбо Каб трохі, дык і Малевіч» на стихи Н. Гальперовича:

Чатыры ночы працаваў,
Як раб-пакутнік.
Чарнюткі-чорны маляваў
Я свой трохкутнік.

……………………

Хацеў я ўнесці на вякі
Імя ў аналы,
Ды не шанцуе мне, браткі,
Бо славы мала.

З фігурай, кажуць, не ўгадаў,
На вугал меней.
Зямляк квадрат намаляваў —
Адразу геній!..

Многочисленные посвящения трогают своей искренностью, доброжелательностью, юмором и теплым дружеским словом, с которым поэт обращается к своим коллегам, друзьям или просто известным людям: М. Финбергу, А. Ярмоленко, Алесе, М. Шамякиной, М. Захаревич, М. Бущику и даже целому издательству «Мастацкая літаратура».

Огромный живописный хор знаменитостей предстал перед нами на страницах книги благодаря художнику-карикатуристу Олегу Карповичу. Дружеские шаржи на целую когорту творцов, в том числе на себя (автошарж) и на М. Шабовича, сделаны им умело, мастерски, остроумно. Рисунки О. Карповича обладают экспрессией, они живые и запоминающиеся.

Если вы хотите снять стресс, поднять настроение, скрасить однообразные будни и от души посмеяться, — подарите себе несколько часов общения с этой книгой. Получите истинное удовольствие.

Надежда Сенаторова



Над прочитанной книгой

Не покидает желание назвать книгу Натальи Голубевой, объединившую в себе две повести «Радимичи» и «Земля непокоренная», вышедшую в 2008 году в издательстве «Мастацкая літаратура», одним словом — роман; словом, которое, на мой взгляд, более точно определяет жанр этого удивительно цельного, самим сердцем спетого, да, не написанного, а именно спетого, глубоко поэтического, художественно-исторического произведения.

Каждая глава — новая тайна, и вместе с тем — открытие. Открытие чего-то знакомого, где-то глубоко в душе дремлющего чувства, знания, узнавание даже… Вот так же в далеком детстве, в начале марта, на «Сороки» мы зазывали весну, воздевая к небу руки, в которых держали выпеченные из ржаной и пшеничной муки куличи в форме жаворонков, и так же кричали: «Гу, весна! Гу, весна!», будучи абсолютно уверенными, что призываем весну в свою деревню, на свои леса и поля, а еще и в том, что без нас, без наших похожих больше на пухлых утят, чем на жаворонков, куличей, никакой весны не будет! Не будет ни тепла, ни солнца… А потом, собрав по деревне полную плетушку яиц, пекли на огромной сковороде, на углях костров, под ивами, яичницу, и ели ее всей деревней, деля на доли тут же, на берегу речушки, на пятачке, заедая разделенными на всех куличами….

На всех! Это условие всегда было главным во всех деревенских игрищах и гульбищах. Оно не пришло из ниоткуда. Оно — из нашей истории, донесшей до нас все самое светлое, лучшее, объединяющее.

Дилогию прочла на одном дыхании. Сколько же надо знать, чтобы описать, как древние люди разделывали и заготавливали впрок мясо, коренья, соленья, каким образом и где их хранили, как выглядели сами хранилища, жилища, утварь, одежда. А лекарственные отвары, целебные травы, обычаи, умение все узнавать по луне и звездам, солнцу и снегу!.. Автор словно сумела оказаться в том времени, в той истории, сумела приобщиться к тем дням, к тем травам и листьям, к тому Днепру, к тем именам (Милош, Велень, Гор, Цвилик, Дара, Любуша, Ольгуша, Размыслав, Бел). Роман читался как поэма — о нашей истории, о самоотверженных битвах за свою любовь, за родную землю, за право жить свободными. Вся дилогия — замечательный учебник нравственности на примерах поступков и жизни наших прародителей.

Удивительно талантливо выписаны образы. Обаятелен предводитель племени радимичей, редкий воин, прозорливый политик, любящий сын, муж и отец, князь Велень. Как наказана коварная Рада, никого по-настоящему не любившая, жившая только страстью, которая привела ее жизнь к полному краху, и как прекрасна самоотверженная Дара, самая красивая девушка племени, принесшая себя в жертву ради спасения рода от засухи и голода.

Писательница рассказывает обо всем с такой любовью, которая свойственна, очевидно, только светлым и нравственным людям. Снежинки у нее «….грациозно занимая в определенной последовательности каждая свое место, ложились… на землю», «…снег, похрустывая под ногами, создавал ощущение присутствия огромного доброго существа, с которым Размыслав переговаривается в тишине зимнего леса». Автор знает, как разгадать «…запутанные следы зайца, спасающегося от преследований коварной и хитрой лисицы», и «…более глубокие следы… — стороной прошла волчья стая», ее герой вовремя разглядит и отличит и припорошенные следы кабана и тарпана, и следы чужака, врага, и избежит западни. Он как дома в диком лесу, все знает о нем, законы его жизни во все времена года. А значит, прежде всего, их знает она, автор. И знакомит нас со всем (и как травы найти волшебные и сделать отвары лечебные, и как со звездами говорить, и по ним путь жизненный предсказывать, и со многим другим) так непринужденно, щедро, изящно, как будто сама только что вышла из этого древнего леса, одетая в льняное платье, расшитое волшебными старинными узорами, с венчиком васильков на русых волосах…

Она знает, какую песню надо спеть, когда купаешь младенца и укладываешь его спать: «Водица-царица, всему помощница! Помоги Богдана помыть, покупать, спатечки покласть. Чтобы он крепко спал, никакой боли не знал», — поет она вместе со своей героиней Ольгушей. Знает, как можно танцем «поприветствовать весну, рассказать ей, как они

(люди) рады встрече с ней». Она спасает раненного в смертельном поединке Волоса от неминуемой гибели, исцеляет его своим заговором: «Водица-царица, красная девица! Речка Покоть! Моешь ты крутые бережки, желтые пески, сырые коренья, черные кременья — умой ты Волоса тело белое, тело белое воина смелого, смой все болести с кости. С мощи, с буйной головы, с ушей, с нутрей, из желудка, печеней, румяного лица, с иних жил, с черной крови. Умовляю, уговоряю! Неси на чарота, за болота, за крутые горы, на синее море!..» Сколько поэзии, любви и веры в этом заговоре! Поистине невозможно не поверить в его великую силу.

В юности, будучи студенткой филологического факультета Новозыбковского педагогического института, на практике по сбору местных диалектов мы ходили по деревням Брянщины и Гомельщины, записывали сохранившиеся древние тексты, встречалось тогда и много заговоров. Я, помню, переписала их, потому как были они необычайно красивы. А много позже, когда у меня появился маленький сынок, мой первенец, который сильно болел, я, в отчаянии, найдя эту тетрадь, стала читать-причитать спасительные слова. И, о чудо! Они помогали!

Читая роман Натальи Голубевой, эту песню о наших предках, об их жизни и борьбе, любви и счастье, о переданных нам обычаях, невольно думалось и о том, как на Радуницу и на Троицу мы едем на поминки на кладбища, приходим на родные могилки с цветами и крашенными яичками, куличами и, устилая расшитыми рушниками и кружевными скатертями холмики, раскладываем на них поминальную трапезу. Вот и в моем детстве, в нашей деревне Щепятино, что на Брянщине, также приходили через неделю после Великдня и праздновали на могилках Красную горку — Пасху для умерших, катали крашеные яички с могильных холмиков под удивительно пронзительные, наполненные то ли тоской, то ли неимоверной тягой к жизни, песни деревенских старух.

Герои произведений Натальи Голубевой думают и о вечном, важном во все времена: «Что же я оставляю на этой земле? — мысленно задавал себе вопрос Бел. — Дом, какие-то вещи, кузницу… Но все тленно. Тогда что? К чему я стремился в своей земной жизни? Что было главным в ней для меня?.. Смысл моей жизни, пожалуй, был в том, чтобы научить людей простой истине — оружие они ковали вовсе не для того, чтобы завоевывать чужие земли, нести людям горе и смерть, а чтобы защитить свой род, утвердить силу и славу своей земли… Как надо дорожить каждым прожитым днем, ничего не откладывая на потом. Как важно сказать близким людям о своей любви именно тогда, когда они этого так ждут, окружить их своей заботой в тот момент, когда они в этом так нуждаются! Дом, семья, добрые дела... В этих простых истинах и есть смысл человеческой жизни… Вовсе не стоит жалеть о том, что ты еще что-то недоделал, недостроил, не выковал свой лучший меч. Это сделают уже другие люди, живущие на этой земле. Им крепить род. И если поступки твои были праведными, если ты смог помочь кому-то в жизни, научить, передать свое ремесло, они сохранят о тебе вечную память…» Я невольно вспомнила прочитанные накануне в одном из литературных изданий поэтические строки:

Но паче бед, отчаяний всех паче —
мы сами, современники мои,
с чьего согласья, — и никак иначе
мы все потонем в собственной крови…

Как же это преступно — быть равнодушным! Просто нельзя! Нигде и никогда.

Ибо равнодушие это и есть предательство. Однажды ты смолчишь из страха быть наказанным в твоем раннем детстве и тем самым предашь своего друга, которого надо было защитить, просто сказав правду. Не смолчав. Потом смолчишь, не обличишь предательство на одном из представительских собраний, тем самым укрепив зло. Придет время, и ты не заметишь, что давно уже предал прежде всего самого себя. Живешь, надеясь на то, что еще придет день, когда ты, наконец, собравшись с силами, выскажешь всю правду обидчикам, расправишься со всем злом. Но нет. Не придет такой день никогда, если ты, хоть «единожды солгав», ступил на тропу зла. Добро творить можно и нужно ежеминутно, ежечасно, постоянно, каждый миг, во имя жизни, во имя ее торжества на земле. Вот об этом, на мой взгляд, дилогия Натальи Голубевой.

Тамара Краснова-Гусаченко

г. Витебск

Щедрость таланта

Природа бывает очень щедрой к отдельным людям: она одаривает их большим и многогранным талантом. К числу таковых, без сомнения, следует отнести и Ю. С. Фатнева. Он и большой поэт, и прозаик, и вдумчивый литературный критик, в его руках кисть рождает радующие глаз прекрасные картины.

В городской библиотеке имени А. С. Герцена состоялась презентация новой книги Ю. Фатнева — романа «У эха нет лица». В адрес автора его коллегами по перу было высказано много теплых, хороших слов, дана высокая оценка его работе.

Писатель переносит, даже, можно сказать, погружает нас в очень далекую эпоху — в XI—XII века. Древняя, раздробленная на удельные княжества Русь. Постоянная борьба за власть, за новые земли… Бесчисленные военные походы князей, набеги половцев, уносящие тысячи человеческих жизней... Жестокость, коварство, предательство… Раздоры, терзающие Русь… Суровое, жестокое время! Но, как говорят, из песни слова не выкинешь. Это наша история.

В романе много персонажей. Но это не просто литературные герои и исторические личности, а живые люди с присущими им страстями и слабостями. Писатель умеет несколькими яркими мазками показать особенности того или иного характера персонажа. Может быть, автору следовало несколько больше внимания уделить описанию мирных житейских будней героев.

Как и в хорошей поэзии, текст романа до предела сжат, метафоричен, каждое слово наполнено глубоким смыслом. Поэтому автору книги удается отразить такой большой исторический период с множеством событий всего лишь на 350 страницах.

В подтверждение этого хочется привести хотя бы небольшой отрывок из романа.

«Это было странное состояние — он потерял себя, будто его размыло туманом. Но зримый мир остался. Клубились кроны деревьев. Трепыхались пятна света. Мелькала какая-то птица. Вроде дятел или удод. По-прежнему звучала музыка, то становясь отчетливой, то отступая в неведомую глубь.

Он осознал себя слишком поздно. Конь оступился с невидимой струны и вместе со всадником оказался на ладони волхва. Отай усмехнулся:

— Что, испужался, князь? Ну погляди разок на то, от чего отрекся твой прадед…»

Совершенно понятно стремление Ю. Фатнева приблизить нас к описываемому им далекому прошлому, и поэтому в романе широко используется старославянский язык. Но это, возможно, даже несколько и усложняет восприятие текста, а отдельные слова, на мой взгляд, требуют и специальных постраничных пояснений.

Те, кому небезразлична история Родины, без сомнения, с большим интересом и вниманием прочитают эту книгу. Серьезность и значимость романа подтверждается и тем, что он издан в числе книг Библиотеки Союза писателей Беларуси, и довольно значительным в современных условиях тиражом — 1000 экземпляров.

В книге в высокохудожественной форме поднята и проблема религиозного плана — непростые взаимоотношения между язычеством и христианством.

Нас давно интересует: кто является автором «Слова о полку Игореве»? Ю. Фатнев определяет свое произведение как роман-гипотезу. И в нем он выдвигает предположение, что автор «Слова» — Владимир Галицкий. Это очень интересная мысль! С ней можно соглашаться или не соглашаться. Но это уже дело профессиональных литературоведов и историков.

Следует особо отметить, что написанию книги, безусловно, предшествовала значительная работа Ю. Фатнева с архивными материалами, изучение старославянского языка. Можно только приветствовать его такое завидное трудолюбие.

Ю. Фатнев щедро дарит читателям свои талантливые произведения. И его новый роман — одно из них. Роман носит название «У эха нет лица». Но при чтении его хорошо видно лицо талантливого писателя.

Борис Ковалерчик

Совместное издание архивистов Беларуси и России

Тема белорусского беженства в период Первой мировой войны пока мало изучена. Одна из причин этого — сложности с источниковой базой, отсутствие специальных источниковедческих пособий. Тем отраднее, что совсем недавно специалисты двух крупнейших архивов Беларуси и России, Национального архива Республики Беларусь и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, издали фундаментальный справочник «Белорусское общество в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны 1916—1918 гг.» (Минск, 2008). В справочнике весьма подробно описаны документы Общества, оказавшиеся волею судеб в этих двух архивах, а ряд документов даже воспроизведен факсимильно.

Как пишет в своем «Предисловии» к этому справочнику известный белорусский историк В. В. Скалабан: «Впереди — издания обобщающего междисциплинарного исследования с участием историков, этнографов, литературоведов, демографов, представителей других специальностей. Важное место в этом научном проекте могут занять архивисты как Беларуси, так и России, причем, не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и регионов, где компактно проживали белорусские беженцы. Формы сотрудничества могут быть разнообразными: выставки, подготовка архивных справочников, путеводителей и обзоров, документальных публикаций, проведение конференций, круглых столов» (С. 5).

Необходимо отметить, что с момента обнародования идеи о возможности создания данного справочника, оглашенной В. В. Скалабаном в Москве осенью 2004 г. на Международной научной конференции «Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов», до ее полной реализации прошло всего лишь чуть более трех лет. Срок, безусловно, рекордный по краткости, учитывая традиционные сложности всевозможных межведомственных, а тем паче межгосударственно-ведомственных согласований. Отчасти подобную быстроту можно объяснить и уже солидным накопленным опытом совместной работы белорусских и российских архивистов, опубликовавших за последние годы около десяти специальных изданий, подготовленных ими вместе по материалам своих собраний. Среди них, например, двухтомник «Освобожденная Беларусь» (Минск, 2004—2005), «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны» (Минск, 2006), «Чернобыль. 26 апреля 1985 г. — декабрь 1991» (Минск, 2006), «Накануне: Западный особый военный округ (конец 1939 г. — 1941 г.)» (Минск, 2007), «Беларусь в постановлениях и распоряжениях Государственного Комитета Обороны СССР. 1941—1945 гг.» (Минск, 2008) и другие. При этом с белорусской стороны несомненным лидером в инициировании, подготовке и издании подобных совместных белорусско-российских источниковедческих работ выступает Национальный архив Республики Беларусь, насчитывающий около одного миллиона единиц хранения за 1917-й — начало 2000-х годов.

Как подчеркивают сами составители изданного справочника, он раскрывает состав документального собрания — единственного из сохранившихся архивов белорусских дореволюционных общественных организаций. Впрочем, далеко не все документы архивного собрания Белорусского общества в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны сохранились до наших дней. Некоторая же их часть даже была уничтожена в начале 1950-х годов, «как не имевшая научной и практической ценности» (С. 8), самим архивистами.

Помимо концептуального «Предисловия» справочник содержит подробный «Аннотированный перечень дел» архива Общества, хранящихся в Минске и Санкт-Петербурге, общим числом в несколько десятков; «Список членов Белорусского общества в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны», составленный в 1916 году; около полусотни факсимильно воспроизведенных документов из архива Общества; аннотированный «Именной указатель».

Среди документов архива Общества множество автографов известных белорусских деятелей, в том числе литераторов Максима Богдановича, Эдуарда Будзько, Змитрока Бядули, Зоськи Верас, Антона Левицкого, Бронислава Эпимах-Шипило и других. Как всегда, такие архивные собрания содержат немало документов, вводящих в исторический контекст имена большого числа неизвестных до сих пор лиц, в том числе, как оказывается, сыгравших определенную роль в судьбах белорусского народа. Так, например, анкета литературного критика и переводчика Владислава Чержинского (1897—1974), родившегося в «селении Старо-Каменная», что ныне на востоке Подляшского воеводства Польши, подтверждает наличие в 1916 году среди здешних римско-католиков прослойки лиц белорусской национальной ориентации. Впрочем, как показывают наши многолетние экспедиционные наблюдения, в бытовом общении местные белорусские говоры тут в определенной степени продолжали использовать вплоть до последней четверти XX века.

Весьма интересны документы, приведенные в справочнике, касающиеся проблем становления белорусской школы, обеспеченности белорусскими учебниками. Вот, например, резолюция Школьной комиссии Общества от 17 ноября 1916 года, в которой, в частности, говорится: «З нарады выяснілася, што адны стаяць за тоя, каб «азбуку» вучыць па расейску, а пазней, як научуцца чытаць, дык вучыць чытаць і пісаць па беларуску. Дзьля таго, што «учебники-азбуки» расейскія уложаны добра, а беларускіх такіх німа — дык трудна будзіць пачынаць вучыць па беларуску з «Першага Беларускага Лемэнтара» » (С. 34—35).

В дальнейших планах совместной работы белорусских и российских исследователей-архивистов создание изданий, посвященных другим белорусским организациям, действовавшим на территории современной России в первой четверти XX столетия. Едва ли не самый значительный и важный из таких проектов касается архивных документов Белнацкома и его отделений. Хотелось бы, чтобы эти будущие исследования и издания были столь же значимы и успешны, как настоящий межархивный справочник, раскрывающий состав документального собрания Белорусского общества в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны.

Ю. А. Лабынцев,
Л. Л. Щавинская



Авторы номера

Короткевич Владимир Семенович. Родился в 1930 г. в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, Высшие литературные, Высшие сценарные курсы в Москве. Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, переводчик. Автор множества сборников прозы и поэзии, романов, пьес, сценариев и др. Лауреат Литературной премии СП БССР им. И. Мележа, Государственной премии БССР им. Якуба Коласа. Жил в Минске. Умер в 1984 г.

Пегасин Михаил Владимирович. Родился в 1982 году в г. Светлогорске Гомельской области. Окончил Военную академию Республики Беларусь. Поэт. Живет и работает в Минске.

Миланович (Тумилович) Жанна Владимировна. Родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный политехнический институт. Прозаик. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет и работает в Минске.

Кучмель Наталья Борисовна. Родилась в 1964 г. в Минске. Окончила филологический факультет БГУ. Поэтесса. Автор сборника стихотворений «Імгненні». Живет и работает в Минске.

Адам Глобус (Адамчик Владимир Вячеславович). Родился в 1958 г. в г. Дзержинске Минской области. Окончил Минское художественное училище и художественное отделение Белорусского государственного театрально-художественного института. Поэт, прозаик. Автор многих книг стихотворений и прозы. Живет и работает в Минске.

Медунецкий Василий Хрисонорович. Родился в 1943 г. в Борисове. Учился в Минском музыкальном училище. Художник-оформитель. Автор книг поэзии «Посох Аввакума» и «Черный хлеб». Живет в Борисове.

Вязов Андрей Сергеевич. Родился в 1987 г. в Минске. Студент Международного института трудовых и социальных отношений. Автор экзистенциального романа «Звездочет». Живет в Минске.

Лопошич Алла Васильевна. Родилась в 1938 г. в поселке Кирово Донецкой области. Окончила Минский государственный медицинский институт. Поэтесса. Автор семи сборников стихов. Живет и работает в г. Борисове.

Дегтярева Ирина Владимировна. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы. Прозаик. Автор книги «Повседневная жизнь российского спецназа», переведенной на китайский язык. Лауреат конкурса МВД «Щит и перо» и литературной премии им А. С. Грибоедова. Работает ведущим литературным редактором в журнале Министерства обороны РФ «Воин России». Награждена медалью «За верность долгу и Отечеству» и нагрудными знаками.

Голубев Владимир Михайлович. Родился в 1947 г. в Минске. Окончил Минский кулинарный техникум. Поэт. Публиковался в областной периодике. Живет в Минске.

Рапанович Георгий Михайлович. Образование незаконченное высшее. Профессия — повар. Живет в Минске.

Малиновская Мария Юрьевна. Родилась в 1994 г. в г. Гомеле. Ученица Лингвистической гимназии. Обладательница Гран-при литературного конкурса Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Поэтесса. Автор книги стихов «Луны печали».

Морозова Валентина Васильевна. Родилась в 1951 г. в Речице. Окончила Минский институт культуры. Поэтесса. Живет в г. Молодечно.

Бецко Анжела Михайловна. Родилась в 1968 году в г. Барановичи Брестской области. Окончила филфак БГУ. Поэтесса. Живет в Минске.

Дмитраков Андрей Юрьевич. Родился в 1978 г. в Дзержинске Минской области. Окончил Белорусский государственный университет культуры. Культуролог. Бард, поэт, прозаик. Живет в Дзержинске.

Тявловский Андрей Константинович. Родился в 1976 г. в Минске. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию. Кандидат технических наук. Поэт, переводчик. Стихи публиковались в журналах «Нёман», «Полымя», сборнике «День поэзии-2005», перевел две книги М. Башлакова. Стипендиат Специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Живет в Минске.

Дюген Марк. Родился в Сенегале, где работали его родители. Во Францию приехал в семь лет. Окончил Институт политических исследований в Гренобле. Прозаик. Автор романов «Палата для офицеров», «Обыкновенная экзекуция» и др. Живет во Франции.

Бодлер Шарль. Родился в 1821 г. в Париже. Окончил пансион, учился в коллеже Людовика Святого. Классик французской и мировой литературы. Автор сборника статей «Искусственный рай», сборников поэзии «Цветы зла», «Парижский сплин» и др. Умер в 1867 г. в Париже.

Козак Хенрик. Родился в 1945 г. в деревне Красна на Подляшье. Окончил Педагогический лицей в Лесной Подляске и Университет М. Кюри-Складовской в Люблине. Современный польский поэт и прозаик. Автор трех романов и девяти сборников стихотворений. Победитель многих литературных конкурсов Польши. Живет в Люблине.